М. Горький

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ
НА ДНЕ
СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ



НА ДНЕ ★ СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ ★ ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ ★ НА ДНЕ ★ СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ ★ ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

М. ГОРЬКИЙ

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

НА ДНЕ

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ



М. Горький

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ
НА ДНЕ
СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ



КУЙБЫШЕВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987

М. Горький

Дело Артамоновых. На дне. Сказки об Италии: Повесть, пьеса, сказки.— Куйбышев: Кн. изд-во, 1987.—464 с.

Печатается по изданиям:

М. Горький. Дело Артамоновых.— М.: Сов. Россия, 1979.

М. Горький. На дне.— М.: Детская литература. 1981.

М. Горький. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. Сказки об Италии.— Северо-западное книжное издательство, 1973.

Г $\frac{70302-063}{М148(03)-87}$ 33—87 4702010200



ПОВЕСТЬ

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

Ромену Роллану
человеку,
поэту

I

Года через два после воли, за обедней в день преображения господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого»,— ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, ставил богатые свечи перед иконами, наиболее чтимыми в городе Дрёмове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.

Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили — прасол, другие — бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:

— Уповательно — из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:

— Видали,— лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив

просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

— Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

— Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:

— Зовут — Илья, прозвище — Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело — не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа — в четвертом.

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился сам-четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

— Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна.



Вдов, детей зовут: старшего — Петр, горбатого — Никита, а третий — Олешка, племянник, но — усыновлен им, Ильей.

— Лен мужики наши мало сеют,— раздумчиво заметил Баймаков.

— Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у дверей; все они были очень разные: старший — похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей — кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.

— В солдаты одного?— спросил Баймаков.

— Нет, мне дети самому нужны, квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

— Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:

— Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками.

— Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть — не знаю, а ты — эко! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видел ее, не знаешь — какова... Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

— Про меня — спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого — не услышишь, вот те порука — святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, все знаю, четыре раза неприметно был, все выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел — не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:

— Ты погоди...

— Недолго — могу, а долго годить — года не годят-

ся,— строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор:

— Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:

— Господи — помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

— Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?

— Неизвестно. А где Наталья?

— За сахаром пошла в кладовку.

— За сахаром,— сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью.— Сахар. Нет, это правду говорят: от воли — большое беспокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:

— Ты — что? Опять неможется?

— Душа у меня взныла. Думается — человек этот пришел сменить меня на земле.

Жена начала утешать его.

— Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идет.

— То-то и есть, что идут. Я тебе покамест ничего не скажу, дай — подумаю...

Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через двенадцать — умер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

— Вот — с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте — отдохну.

— Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна,— приказал Артамонов и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

— Иди, Ульяна; уповательно — это судьба,— тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав — ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных, красивых ресниц:

— Что ж, Митрич, видно, и впрямь — судьба, благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах.

— Во имя отца и сына... Господи, не оставь милостью чадо мое единое!

И строго сказал Артамонову:

— Помни,— на тебе ответ богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

— Знаю.

И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери:

— Идите.

А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря:

— Будь покоен, все пойдет, как надо. Я — тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек — не бог, человек — не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

— Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!

Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно.

— Знаю я дела твои: честен ты и умен достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела,— ну — воля божья!

Ульяна жалобно крикнула:

— Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, еще...

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мертвому:

— Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла:

— Облом деревенский, нареченной сыну невесте словечка ласкового не нашел сказать!

Муж остановил ее:

— Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

— Ты — держись его: этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:

— Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помялов нашептывал:

— И Евсей, покойник, и Ульяна — люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

— Да-а, темное дело.

— Я и говорю — темное. Наверно — фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то, а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намасленные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал:

— Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило,— посерел, цыган...

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив и, видимо робок или застенчив, красавец Олешка — задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык», куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и в стороне от нее, под Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых бревен,— дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастия:

— Весною вода подтопит безобразные постройки эти.

И — пожар может быть: плотники курят табак, а везде — стружка.

Чахоточный поп Василий вторил ему:

— На песце строят.

— Нагонят фабричных — пьянство начнется, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

— Людей больше — кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками.

— Огород затевает,— догадались горожане.— Экой дурак! Разве песок удобришь?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал:

— Глядите, глядите,— стень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:

— Ой, ой — утонет!

Ей дали подзатыльник.

— Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились перед ним, и кто-то боязливо сказал:

— Ишь ты, звереныш...

— Не любят нас,— заметил Петр; отец, на ходу, взглянул в лицо ему:

— Дай срок — полюбят.

И обругал Никиту:

— Ты, чучело! Гляди под ноги, не смеши народ. Нам не насмех жить, барабан!

Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном, она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

— Монахами притворяются, разбойники...

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил эпитимью за убийство — сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его:

— Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы — люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был — знаменитый человек! А построил суконную фабрику — не пошло дело. И — что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:

— Вам жить — трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а — как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Петр?

— Слышу.

— То-то. Понимай. Живет человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да — толку мало.

Иногда он говорил час и два, все спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и не торопясь кует звено за звеном цепи слов. В большой, чистой кухне теплая темнота, за окном

посвистывает вьюга, шелково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз. Петр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щелкает косточками счет, Алексей помогает ему, Никита искусно плетет корзины из прутьев.

— Вот — воля нам дана царем-государем. Это надо понять: в каком расчете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь, а тут — весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь — с господ немного возьмешь, они сами всё проживают. Георгий, князь, еще до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа — невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не двадцать пять лет ружье таскать будет, а — иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству — конец подписан, теперь вы сами дворяне,— слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее:

— Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами.

— Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты... Али греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил ее:

— Греха я тут, сватья, не вижу. То ли еще господа делают, а бог терпит. У меня — нужда: Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у нее денег? Она ответила:

— Больше пятисот не дам за дочерью!

— Дашь и больше,— уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее. Они сидели за столом друг против друга, Артамонов — облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмурив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на ее сытом, румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

— Красивая ты, Ульяна Ивановна.

— Еще чего скажешь?— сердито и насмешливо спросила она.

— Ничего не скажу.

Он ушел неохотно, тяжко шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

— Бес бородатый. Ввязался...

Чувствуя себя в опасности пред зтим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидала дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Петр. Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

— Наталья — домой!

Петр поклонился ей.

— Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

— Она мне нареченная,— напомнил Петр.

— Все едино; у нас свои обычаи,— сказала Баймакова, но спросила себя:

«Что зто я рассердилась? Молодым, да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери».

В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

— Хоть он и благословенный тебе, да еще — либо дождик, либо снег, либо — будет, либо — нет,— сурово сказала она.

Темная тревога мутила ее мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем,— к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

— Тут гадать не о чем,— сказала Ерданская,— я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут,— я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живет, а медведем.

— То-то что медведем,— согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:

— Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь,— испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал никому неведомый и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

— Это значит: верит он силе своей,— объяснила премудрая просвирня.

Но все зто не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее из своей темной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:

— Помни: дураки только в сказках удачливы...

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась подкупленной. А вот большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская говорила иное:

— Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился...

Трудно было вдове Баймаковой, и все чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти все чаще становились против нее, затемняя жизнь тревогой.

Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

— Что, Олеша?— спрашивал Артамонов.— Видно, здесь бойцы ловчее наших?

Растирая кровоподтеки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Петр однажды сказал:

— Алексей дерется лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

— За что?

— Не любят.

— Его?

— Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:

— Что ты мне, словно девка, все про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

— Не надо бы Олеше ходить на бои.

— Это — чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты — молчи, пономарь! Сморчок.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

— Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хоро-

шая! Я хаживал с князь Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес, убил матерого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро, братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

— Ну, как твои Артамоновы живут?— спрашивали Баймакову горожане.

— Ничего, хорошо.

— Зимой свинья смирна,— заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает и ее холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело и ничего худого не приметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она убедилась, что молчаливый, коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери.

«Не ласков будет муженек».

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услыхала внизу, в сенях, голос дочери:

— Опять на медведя пойдете?

— Собираемся. А что?

— Опасно, Алешу-то задел зверь.

— Сам виноват — не горячись. Значит — думаете обо мне?

— Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма,— подумала мать, улыбаясь и вздохнув.— А он — простак».

Илья Артамонов все настойчивее говорил ей:

— Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран, дорожки выполоты, лишаи с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан; и все было сделано опытной

рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту,— горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову, в прямых, светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый среди сочно-зеленой листвы, он был похож на старичка-отшельника, самозабвенно увлеченного работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шелковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

— Бог в помощь,— неожиданно для себя умиленно сказала женщина; блеснув на нее мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

— Спаси бог.

— Это ты сад убрал?

— Я.

— Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать лет.

«Горбат, а будто не злой»,— подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невеселом лице.

— Извольте принять букет.

— Зачем это?— удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы. Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

— Вот как,— сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову:— Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица?

— Так ведь и вы тоже.

Еще более покраснев, Баймакова подумала:

«Не отец ли научил его?»

— Ну, спасибо за почет,— сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух:

— Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула.

— Видно — судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со

свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти мужа ее, но решительно заявила свату:

— Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступись от этого дела, дай мне устроить все по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно, сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

— Ну,— горделиво замычал Артамонов,— меня и без этого издали видно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

— Тебя здесь не любят.

— Ну, бояться станут.

И ухмыляясь, пожав плечами:

— Вот и Петр тоже все про любовь поет. Чудаки вы...

— Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

— Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

— Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любви...

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой: «Экой зверь».

И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчовые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжелом, серебряной парчи, сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола,— в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

По лугам, по зелены-им,
По цветам, по лазоревым,
Разлилася вода вешняя,
Студенá вода, ой, мутная...

Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

Посылают меня, дéвицу,
Посылают меня пó воду,
Меня босу, необутую,
Ой, нагую, неодетую...

Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:

— Это — смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а — кричите: нага, неодета!

Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддевка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрит на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее, Матрена Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

— Не жалобно поете, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

— Сказано: «за мужем — как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена — не проломишь, высока — не перескочишь.

Но девицы плохо слушают ее, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во вдор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шелковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается наверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

— Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу — плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом, кованом сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг нее на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца, широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

— Не порядок это — жить жениху до венца в невестином доме, надо было выехать Артамоновым...

— Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом,— ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорченное лицо, и слышит басовитый голос:

— Про тебя был слух, что ты — умная, вот я и молчала. Думала — сама догадаешься. Мне что? Мне — была бы правда сказана, люди не примут, господь зачтет.

Барская стоит, как монумент, держа голову неподвиж-

но, точно чашу, до краев полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

— Господи — помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы, Никита в двери:

— Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чем-нибудь.

— Спасибо, милый...

— На кухне Ольгунька Орлова патокой облилась.

— Да — что ты? Умненькая девчоночка,— вот бы тебе невеста...

— Кто пойдет за меня...

А в саду под липой, за круглым столом, сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

— Обычаи у вас другие,— задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

— Мы жа тут коренной народ. Велика Русь!

— И мы — не пристяжные.

— Обычаи у нас древние...

— Мордвы много, чуваш...

С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величанье:

Ой, свату великому,
Да Илье-то бы Васильевичу,
На ступень ступить — нога сломить,
На другу ступить — другá сломить,
А на третью — голова свернуть.

— Вот так честят!— удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну,— Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо.

— А ты — слушай!— советует Барский и хохочет.

Того мало свату нашему
Да похитчику девичьему...

— Еще мало?— возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо, смущенный, постукивая пальцами по столу.

А девицы яростно поют:

С хором бы тя о́ борону,
Да с горы бы тя о́ каменье,
Чтобы ты нас не обманывал,
Не хвалил бы, не нахваливал
Чужедальние стороны,
Нелюдимые слободы,—
Они горем насеяны,
Да слезами поливаны...

— Вот оно к чему!— обиженно вскричал Артамонов.— Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону все-таки похвалю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа — в Сейм текут; слава тебе, боже,— не в Оку!»

— Ты — погоди, ты еще не знаешь нас,— не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский.— Ну, одари девиц!

— Сколько ж им дать?

— Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

— Широко даешь, бахвалишься!

— Ну и трудно угодить на вас!— тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.

Девичник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

— Народ — терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй все, что теща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а — надо! Алексей пошел девок провожать? Девкам он — приятен, а парням — нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского... н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты — заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

— Всё вылакали; пьют как лошади. Что думаешь, Петр?

Перебирая в руках шелковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

— В деревне — проще, спокойнее жить.

— Ну... Чего проще, коли день проспал...

— Тянут они со свадьбой.

— Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день.

Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

— Горько!— в двадцатый раз ревут красные, волосатые рожи с оскаленными зубами.

Петр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орет:

— Не умеет парень!

— В губы цель!

— Эх, я бы вот поцеловал...

Пьяный женский голос визжит:

— Я те поцелую!

— Горько!— рычит Барский.

Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина Петр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

— Сватья, чокнемся медком! Мед у тебя — в хозяйку сладок...

Она протягивает круглую, белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьет и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет:

— Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог!

Петр смутно понимает, что отец неладно держит себя;

в пьяном реве гостей он чутко схватывает ехидные возгласы Помялова, басовитые упреки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а — суд»,— думает он и слышит:

— Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

— Быть еще свадьбе, только — без попов...

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем его теле тревожное томленье. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону.

— Скоро ли конец этому?— шепчет он, Наталья так же отвечает:

— Не знаю.

— Стыдно...

— Да,— слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей — с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и желтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы — неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

Эй, девицы-супротивницы,
Хороводницы, затейницы!
У меня ли густо денежки звенят,
Выходите, что ли, супроти меня!

Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел:

— Степка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дернув встрепанной, как помело, головою, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:

— Мы тебе не курята, а — куряне! И — еще кто кого перепляшет! Олеша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи.

— Присловья не знает!— крикнули дремовцы, и тотчас раздался отчаянный рев Артамонова:

— Олешка— убью!

Не останавливаясь, четко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

У барина, у Мокея,
Было пятеро лакеев,
Ныне барин Мокей
Сам таков же лакей!

— Нате!— победоносно рявкнул Артамонов.

— Ого!— многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головою.

— Алексей перепляшет вашего,— сказал Петр Наталье,— она робко ответила:

— Легкий.

Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они стояли плечо в плечо друг с другом, один — огромный, неуклюжий, точно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно текли слезы пьяного восторга; другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бедра свои, глаза его почти безумны. Петр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает:

«Зубами скрипит... Ударит кого-нибудь сейчас...»

— Охально пляшет артамоновский!— слышен трубный голос Матрены Барской.— Не фигурно пляшет! Бедно!

Илья Артамонов хохочет в темное, круглое, как сковородка, лицо ее, в широкий нос,— Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идет к двери, а Илья, грубо дернув руку Баймаковой, приказывает:

— Ну-тко, сватья, выходи!

Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно отбивается:

— Что ты! Али мне вместно, что ты?

Гости примолкли, ухмыляясь, Помялов переглянулся с Барской, масляно шипят его слова:

— Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши! Господь простит...

— Грех — на меня!— кричит Артамонов.

Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошел, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямясь, вскинув голову, пошла по кругу,— Петр услышал изумленный шепот:

— А, батюшки! Муж в земле еще года не лежит, а она и дочь выдала и сама пляшет!

Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:

— Не надо бы отцу плясать.

— И матушке не надо бы,— ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.

— Тише!— сказал он ласково, поддержав ее за локоть.

В открытые окна, через головы зрителей, вливались отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчина и женщина. В саду, во дворе, на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось все тише. Туго натянутая кожа бубна бухала какимто темным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц все еще, как обожженные, судорожно метались двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьезно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.

Артамонов, топнув, остановился:

— Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!

Женщина, вздрогнув, тоже вдруг стала, как пред стеною, и, поклонясь всем круговым поклоном, сказала:

— Не обессудьте.

Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская:

— Разводите молодых! Ну-ко, Петр, иди ко мне; дружки,— ведите его под руки!

Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжелые руки на плечи сына:

— Ну, иди, дай бог счастья! Обнимемся давай!

Он толкнул его, дружки подхватили Петра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплевывая во все стороны:

— Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестьица, тьфу! Огонь, вода — вовремя, не на беду, на счастье!

Когда Петр вошел вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

— Слушай, да — не забудь!— торжественно говорила она.— Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять,— ты ей не давай...

— Зачем это?— угрюмо спросил Петр.

— Не твое дело. Три раза — не дашь, а в четвертый — разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты — молчи, только в третий раз протяни ей руку,— понял? Ну, потом...

Петр изумленно взглянул в темное, широкое лицо наставницы, раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, четко выговаривала грубые, бесстыдные слова, повторив на прощанье:

— Крику — не верь, слезам — не верь.— Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева,— сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его.

— Черти болотные...

В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошел к окну, распахнул раму,— из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девичий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили черные фигуры лю-

дей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль никольской колокольни, креста на нем не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше черными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля,— просторная земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, он снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шелк лент, скрипели башмаки, кто-то, всхлипывая, плакал; звякнул крючок, вложенный в пробой. Петр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла белая фигура, мерно размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.

«Молится. А я — не молился».

Но молиться — не хотелось.

— Наталья Евсеевна,— тихонько заговорил он,— вы не бойтесь. Я сам боюсь. Замучился.

Обеими руками приглаживая волосы на голове, дергая себя за ухо, он бормотал:

— Ничего этого не надо — сапоги снимать и все. Глупости. У меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте.

Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:

— Гуляют еще.

— Да.

Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.

— Барскую не пускайте,— шепнул Петр.

— Это — матушка,— сказала Наталья, открыв дверь; Петр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая:

«Плох я, не смел, посмеется надо мной она, дождусь...»

Дверь открылась, Наталья тихо сказала:

— Матушка зовет.

Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Петр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шепот Баймаковой:

— Что ж ты делаешь, Петр Ильич, что ты — опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя — честная!

Говоря, она одною рукою держала Петра за плечо, а другой отталкивала его, возмущенно спрашивая:

— Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи...

Петр глухо сказал:

— Жалко ее. Боязно.

Он не видел лица тещи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась.

— Нет, ты иди-ка, иди, делай свое мужское дело! Христофору-мученику помолись. Иди. Дай — поцелую...

Крепко обняв его за шею, дохнув теплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светелку, заперев за собою дверь, он решительно протянул руки, девушка подалась вперед, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:

— Выпимши она немножко...

Петр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:

— Не бойся. Я — некрасивый, а — добрый...

Прижимаясь к нему все плотнее, она шепнула:

— Ноженьки не держат...

...Пировать в Дремове любили; свадьба растянулась на пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:

— Где ж это видано, чтоб парни не дрались?

Он торовато одарял девиц лентами и гостинцами, парней — деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:

— Эх, люди! Живем али нет?

Вел он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривает на нее требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и троих каменщиков, после этого к нему подшел землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:

— Теперь со мной.

Артамонов, удивленный его тоном, обвел взглядом коренастое тело землекопа.

— А ты — кто такое: силен или хвастлив?

— Не знаю,— серьезно ответил тот.

Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:

— Не хитер ты, брат, не хитер!

И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силой, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:

— Силен.

— Видим,— ответили ему насмешливо.

— Здоров,— повторил Вялов.

Илья протянул ему руку.

— Вставай!

Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошел Никита, участливо спрашивая:

— Больно? Помочь?

Землекоп усмехнулся.

— Кости страдают. Я — сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдем за ними, Никита Ильич, простец!

И, дружески взяв горбуна под руку, он пошел с ним за толпою, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.

Молодожены, истомленные бессонными ночами и усталостью, безвольно, напоказ людям плавали по улицам среди пестрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрене Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну:

— Хорошо ли научен сын-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А — зять? Павлином ходит; я — не я, жена — не моя!

Но уходя к себе, спать, Петр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой все, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:

— Ну, и пьют же у вас!— удивлялся Петр.

— А у вас — меньше?— спрашивала жена.

— Разве мужикам можно так пить?

— Не похожи вы на мужиков.

— Мы — дворовые, это вроде дворян будет.

Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали.

— Что молчишь?— тихонько спрашивала жена,— муж так же тихо отвечал:

— Неохота говорить обыкновенные слова.

Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:

— Ни лесов нет, ничего? Ой, как страшно, должно быть!

— Страхи — в лесах живут,— скучновато сказал Петр.— В степи — какой же страх? Там — земля, да небо, да — я.

И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любуясь звездной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий, гневный возглас:

— Что ты, дьявол?

Наталья испуганно вскочила.

— Это — матушка!

Петр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиною, он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает ее к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьет его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:

— Пусти, закричу!

И не своим голосом крикнула:

— Родимый — не тронь! Пожалей...

Петр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил ее на колени себе.

— Не гляди.

Она билась в руках его, вскрикивая:

— Что это, кто?

— Отец,— сказал Петр, крепко стиснув ее.— Не понимаешь, что ли...

— Ой, как же это?— шепнула она со стыдом и страхом; муж отнес ее на постель, покорно говоря:

— Мы родителям не судьи.

Схватясь руками за голову, Наталья качалась, ныла:

— Грех-то какой!

— Не наш грех,— сказал Петр и вспомнил слова отца: «господа то ли еще делают?» — Это и лучше: к тебе не полезет. Они, старики,— просты; для них это «птичий грех» — со снохой баловаться. Не плачь.

Жена сквозь слезы говорила:

— Еще когда они плясали, так я подумала... Если он — насильно, что же теперь будет у нас?

Но, утомленная волнением, она скоро заснула не раздеваясь, а Петр открыл окно, осмотрел сад,— там никого не было, вздыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лег рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе...

...Наталья проснулась скоро, ей показалось, что ее разбудили жалость к матери и обида за нее. Босая, в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это еще более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и темные волосы, разбросанные по подушке.

«Спит. Наплакалась, нагоревалась...»

Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорбленную мать. Она пошла в сад; мокрая, в росе, трава холодно щекотала ноги; только что поднялось солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть теплые. Сорвав посеребренный росою лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздья красной смородины, беззлобно думая о свекре. Тяжелой рукою он хлопал ее по спине и, ухмыляясь, спрашивал:

— Ну, что — живешь? Дышишь? Ну — живи!

Других слов для нее у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали ее: так ласкают лошадей.

«Разбойник какой»,— подумала она, заставляя себя думать о свекре враждебно.

Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шелково шуршали листья деревьев, далеко на краю города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щелкнуло; вздрогнув, Наталья подняла голову,— над нею, на сучке яблони висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.

«Кто ж это ловит? Никита?»

Где-то хрустнул сухой сучок.

Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивленно подняв брови, закинув руку за голову.

— Кто... что ты?— тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.

— Ничего, вот — смородины к чаю набрала тебе.

На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие, светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слез, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились, и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.

— Комары спать не дают, в амбаре спать буду,— говорила мать, кутая шею простыней.— Искусали. А ты что рано встала? Зачем ходишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься...

Говорила мать неласково и неохотно, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепенно заменялась неприязненным и острым любопытством женщины.

— Я проснулась — подумала о тебе... во сне тебя видела.

— Что подумала?— осведомилась мать, глядя в потолок.

— Вот — одна ты спишь, без меня...

Наталье показалось, что щеки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: «Я не боязлива»— улыбка вышла фальшивой.

— Ну, иди, милок, твой проснулся, слышишь — топает?— приказала мать, закрыв глаза.

Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:

«Ночевал он у нее, это он квас пил. Шея-то у нее в пятнах, не комары накусали, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В амбаре спать хочет. А — кричала...»

— Где была?— спросил Петр, зорко всматриваясь в лицо жены,— она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чем-то.

— Смородину собирала, к матери зашла.

— Ну, что же она?

— Ничего будто...

— Так,— сказал Петр, дернув себя за ухо,— так!

И, усмехаясь, потирая темно-рыжий подбородок, вздохнул:

— Видно,— правду говорила дура Барская: крику — не верь, слезам — не верь.

Затем он строго спросил:

— Никиту видела?

— Нет.

— Как же — нет? Вот он — птиц ловит в саду.

— Ой,— пугливо крикнула Наталья,— а я вот так, в одной рубахе ходила!

— То-то вот...

— И когда он спит?

Петр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:

— Ведь горбат, а приятный... приятнее Алексея...

Муж крякнул еще раз, но — потише.

...Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе,— за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:

— Чу, затяпали, ни свет ни заря...

— Жадность — покою лютый враг.

Илье Артамонову иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дремовцы почтительно снимали пред ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:

— У нас господа попроще, победнее, а — построже ваших!

Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дремова:

— От моего дела всем вам будет выгода.

— Давай бог,— отвечал Помялов, усмехаясь коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнет или укусит? Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудевые глаза смотрят ехидно.

— Давай бог,— повторяет он,— хотя и без тебя не плохо жили, ну, может, и с тобой так же проживем.

Артамонов хмурится:

— Двоемысленно говоришь, не дружески.

Барский хохочет, кричит:

— Он у нас — такой!

У Барского на месте лица скупо наляпаны багровые куски мяса, его огромная голова, шея, щеки, руки — весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши — не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.

— Вся моя сила в жир пошла,— говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.

К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:

— Дела делать — надо, а и божие не следует забывать. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть».

Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чем-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто и начинал говорить нечто:

— Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа...

— Ну-ну,— останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста,—куда поехал?

Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:

— Ты мое дело понимаешь?

— Это зачем?— искренно удивлялся Житейкин.— Дело — твое, тебе его и понимать, чудак! У тебя — твое, у меня — мое.

Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где в бок ей выползала из ельника, из болот, зеленой змеею фигурно изогнувшаяся Ватаракша. Там, на мысу, на золотой парче песка масляно светится щепа и стружка, краснеет кирпич, среди примятых кустов тальника вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и, точно восковой, тает желтый сруб двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила,— Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живет там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним — задорен и вспыльчив. Петр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; еще не понимает он, как много может сделать смелый человек.

По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан, это — дешевый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора — нет.

Ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В теплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землей вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в темном амбаре, из угла его встречает опасливый шепот:

— Незаметно прошел?

Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:

— Досада это мне,— прятаться! Мальчишка я, что ли?

— А не заводи полюбовницу.

— Рад бы не завел, да господь навел.

— Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против бога идем...

— Ну, ладно! Это — после. Эх, Ульяна, люди тут у вас...

— А ты — полно, не скучай,— шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умен, кто беспечен, у кого лишние деньги есть.

— Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.

— Опоздали, князь леса мне запродал.

Вокруг них, над ними непроницаемо черная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шепотом. Пахнет сеном, березовыми вениками, из погреба поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжелая, точно из свинца литая, тишина облила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы подбитый колокол бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.

— Экая ты дородная!— восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины.— Экая мощная! Что ж ты родила мало?

— Кроме Натальи — двое было, слабенькие, померли.

— Значит — муж был плох...

— Не поверишь,— шепчет она,— я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я — не верю, думаю: врут со стыда! Ведь, кроме стыда, я и не знала ничего от мужа-то, как на плаху ложилась на постель. Молюсь богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь бог ему не дал...

Ее рассказ и возбуждает и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди ее, он ворчит:

— Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.

Он чувствует себя сильнее и умнее рядом с этой женщиной, днем — всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум ее и грамотность. Однажды, растроганный ее девичьими ласками, он сказал:

— Я понимаю, на что ты пошла... Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться...

— Дети у тебя — хорошие, они и узнают про нас,— не беда, а вот если город узнает...

Она вздрогнула всем телом.

— Ну, ничего,— шепнул Илья.

Как-то она полюбопытствовала:

— Скажи-ка: вот — человека ты убил, не снится он тебе?

Равнодушно почесывая бороду, Илья ответил:

— Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему сниться? Я и не видал, каков он. Ударил меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенем по башке, потом — другого, а третий убежал.

Вздохнув, он с обидой проворчал:

— Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай богу...

Несколько минут лежали молча.

— Задремал?

— Нет.

— Иди, светать скоро начет; на стройку пойдешь? Ох, умаешься ты со мной...

— Не бойся,— на будни хватило, хватит и на праздник,— похвалился Артамонов, одеваясь.

Он идет по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом; Артамонов давит тяжелою ногой стружку, щепу, думает:

«Олешке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдет. Трудный парень, а — хорош».

Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землею павлиний хвост лучей и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распростертое, большое тело, предупреждают друг друга:

— Тут!

Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и — не решается.

Муравьиная суета людей, крики, стук не будят большого человека, лежа в небо лицом, он храпит, как тупая пила,— землекоп идет прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщовой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идет купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита еще засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берез, клена, рябины, черемухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной,— это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.

— Сады садить — дело безобидное,— говорит он.

Дергая себя за ухо, ходит Петр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют «Дубинушку», молодой голос звонко выводит:

Пришел к Марье кум Захарий,
Кулаком Марью по харе...

— Грубо поют,— сказал Петр землекопу Вялову,— тот, стоя по колено в песке, ответил:

— Все едино чего петь...

— Как это?

— В словах души нет.

«Непонятный мужик»,— подумал Петр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:

— Нет, я не гожусь на это, не умею людями распоряжаться. Ты меня в дворники возьми...

Отец крепко обругал его.

...Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные, растоптанные стружки. Каждое утро к амбару

подъезжали телеги, груженные льном, запряженные шершавыми лошадьми. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного для веса водою, не продали бы простой лен по цене «долгунца». Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась теща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином, Алексей сердито жаловался:

— Скучно тут жить, не люблю я здешних...

Этим он всегда раздражал Петра.

— Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.

— Есть чем, вот и хвастаю.

Встряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищурив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нем чего-то, говорила с ним сухо.

После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и, с шитьем в руках, садилась у окна, в кресло, искусно сделанное для нее горбуном из березы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, девичий голос звучал напряженно и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, и она, склонясь над шитьем, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой — странной улыбкой; иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной и обидной, он виновато опускает глаза.

За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рев медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы-трепальщицы дробно околачивают лен. Шумно входит Алексей; мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он все-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он

рассказывает, что Тихон Вялов отсек себе палец топором.

— Будто — невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошел, только б отсюда прочь.

И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:

— Заехали к чертям на задворки...

Потом требовательно протягивает руку:

— Дай пятиалтынный, я в город иду.

— Зачем?

— Не твое дело.

Уходя, он напевает:

Бежит девка по дорожке,
Тащит милому лепешки...

— Ох, доиграется он до нехорошего! — говорит Наталья.— Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошел, матери — нет у нее, отец — пьяница...

Никите не нравится, как она говорит это, в словах ее он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть.

Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зеленых игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками...

Входит Петр, угрюмый и усталый.

— Чай пить пора, Наталья.

— Рано еще.

— Пора, говорю! — кричит он, а когда жена уходит, садится на ее место и тоже ворчит, жалуясь:

— Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду — не знаю. Если у меня не так идет, как надо,— задаст он мне...

Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушавшись в его слова.

— Нет у меня времени девками любоваться! Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме...

И, дергая себя за ухо, он говорит осторожно:

— Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку — больше...

Илья Артамонов возвратился домой веселый, помоло-

девший, он подстриг бороду, еще шире развернул плечи, глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекованный плуг. Барином развалясь на диване, он говорил:

— Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам, и детям вашим, и внукам довольно будет. На триста лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых!

Пощупал глазами сноху и закричал:

— Пухнешь, Наталья? Родишь мальчика — хороший подарок сделаю.

Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу:

— Хорош батюшка, когда веселый.

Муж искоса взглянул на нее, неласково отозвался:

— Еще бы не хорош, подарок обещал.

Но недели через две-три Артамонов притих, задумался; Наталья спросила Никиту:

— На что батюшка сердится?

— Не знаю. Его не поймешь.

В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал отчетливо и громко:

— Батюшка,— отдай меня в солдаты.

— К-куда?— заикнувшись, спросил Илья.

— Не хочу я жить здесь...

— Ступайте вон!— приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошел к двери, он крикнул ему:

— Стой, Олешка!

Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:

— А я думал: вот у меня орел!

— Не приживусь я тут.

— Врешь. Место твое — здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю,— иди!

Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:

— Не так бы надо говорить с тобой,— со мной отец кулаком говорил. Иди.

И, еще раз окрикнув его, внушительно добавил:

— Тебе — большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слыхал...

Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребе, пошел в город. Ворота Баймаковой были уже заперты, он постучал

в окно, Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:

— Что это ты когда явился?

Не отвечая, не раздеваясь, он прошел в комнату, бросив шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.

— Чужой: сестра моя с барином играла, оно и сказывается.

Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу,— в углу, пред иконами, теплилась синяя лампада в серебряной подставе.

— Жени его скорей, вот и свяжешь,— сказала она.

— Да, так и надо. Только — это не все. В Петре — задору нет, вот горе! Без задора — ни родить, ни убить. Работает будто не свое, все еще на барина, все еще крепостной, воли не чувствует,— понимаешь? Про Никиту я не говорю: он— убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал — Алексей вгрызется в дело...

Баймакова успокаивала его:

— Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнет всех — обомнутся.

Они беседовали до полуночи, сидя бок о бок в теплой тишине комнаты,— в углу ее колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робкий цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:

— Скуподушные люди.

— Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача — бельмо на глаз.

Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:

— Я вот одного до смерти боюсь — понести от тебя...

— В Москве дела — огнем горят!— продолжал он, вставая, обняв женщину.— Эх, кабы ты мужиком была...

— Прощай, родимый, иди!

Крепко поцеловав ее, он ушел.

...На масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тертым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:

— Кто тебя — говори?

Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь, сплевывая кровь, Алексей тоже захрипел:

— Добивай...

Испуганная Наталья громко заплакала,— свекор топнул на нее, закричал:

— Цыц! Вон!

Алексей хватал голову руками, точно оторвать ее хотел, и стонал.

Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей все более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:

— Неужто — не выживет, а?

Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем; в глазах его загорелся темный угрюмый огонь, это сделало их еще более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея: так ли это?— тот ответил:

— Не знаю.

— Врешь!

— Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.

— Скрываешь ты что-то,— догадывался Артамонов, Алексей взглянув в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:

— Я — выздоровею.

— Ешь больше!— посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе:— За такое дело — красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то...

Он стал еще более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая своей цели: воодушевить детей страстью к труду.

— Вы делайте, ничем не брезгуйте!— поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость,— она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.

Беременность снохи неестественно затянулась, а когда

Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорченно сказал:

— Ну, это что...

— Благодари бога за милость,— строго посоветовала Ульяна,— сегодня день Елены Льняницы.

— Ой ли?

Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:

— Веди к дочери!

Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:

— Получи! Хоть и не парня родила, а — хорошо!

И спрашивал Петра:

— Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!

Петр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; ее усталые глаза провалились в черные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.

— Что она молчит?— спросил он тещу.

— Накричалась,— объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.

Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел ее, боялся, что она умрет, а потом, оглушенный ее криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шел, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках, горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал куда-то бесшумным бегом крота, казалось — он бегает по кругу, оттого и встречается везде.

— Не разродится, пожалуй,— сказал Петр брату,— горбун, всадив лопату в песок, спросил:

— Что повитуха говорит?

— Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?

— Зубы болят.

Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:

— Теща положила мне на руки ребенка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а какая тяжелая мука.

Почесывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:

— Все человечьи муки из-за малости.

— Как это?— строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:

— Да — так как-то...

Из дома позвали ужинать.

Ребенок родился крупный, тяжелый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.

— Ну, что ж!— утешал отец Петра на кладбище.— Родит еще. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит — якорь брошен глубоко. С тобой — твое, под тобой — твое, на земле — твое и под землей твое,— вот что крепко ставит человека!

Петр кивнул головою, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлепал лопатой. Смахивая пальцами слезы со щек так судорожно быстро, точно боялась обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:

— Господи, господи...

Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей; он похудел и казался старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим, дерзкие глаза, углубясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:

— Не понимаешь?

И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита, с упреком, сказал ему: «Зря обижаешь Наташу!»— он ответил:

— Я человек больной.

— Она смирная.

— Ну и пусть потерпит.

О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.

Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:

— Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мертвому лежать зазорно.

Артамонов усмехнулся.

— Устроим. Все будет у нас: церковь, кладбище, училище заведем, больницу,— погоди!

Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человек, в рыженьком, отрепанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки черных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил:

— Это что?

— Часовщик Орлов.

— И видно, что Орлов!

— Он — умный, — настойчиво сказал Алексей. — Его — затравили...

Артамонов покосился на племянника и промолчал.

Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днем над землею стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звезды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце кленов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди ее была теплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Петр дергал пальцами мочку уха, тихонько говоря:

— Людей дразнить — вредно, а отец дразнит.

Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею.

В городе заныл колокол.

— Набат? Пожар?— спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.

— Что ты? Звонарь часы отбивает.

Алексей встал и ушел, а Никита, помолчав, сказал тихонько:

— Всё пожары ему чудятся.

— Злой стал, — осторожно заметила Наталья. — А сколько в нем веселья было...

Внушительно, как подобает старшему, Петр упрекнул брата и жену:

— Вы оба глупо глядите на него; ему ваша жалость обидна. Идем спать, Наталья.

Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошел в беседку, где спал на сене, присел на порог ее. Беседка стояла на холме, обложенном дерном, из нее, через забор, было видно темное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи, один нес бредень, другой гремел железом ведра, третий высекал из кремня искры, пытаясь зажечь трут, закурить трубку. Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялова ударил в тишину:

— Кто идет?

Тишина была натянута над землею туго, точно кожа барабана, даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно четко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредоточивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивленные. И легко было выдумывать различные, счастливые для него события: вот он нашел богатейший клад, отдал его Петру, а Петр отдал ему Наталью. Или вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь, после нее от всего семейства остались в живых только двое: он и Наталья, и тогда бы он показал ей, что ее счастье скрыто в его душе.

Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города, из неподвижных туч садов, возникает еще одна, медленно поднимаясь в темно-серую муть неба; через минуту она, снизу, багрово осветилась, он понял, что это пожар, побежал к дому и увидал: Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара.

— Пожар! — крикнул Никита, — брат ответил, влезая выше:

— Знаю. Ну?

— Вот, — ждал ты, — вспомнил горбун и, удивленный, остановился среди двора.

— Ну, ждал! Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.

— Надо ткачей будить...

Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бежали к реке, весело покрикивая.

— Влезай ко мне,— предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши, горбун покорно полез, говоря:

— Наташа не испугалась бы.

— А ты не боишься, что Петр набьет тебе еще горб?

— За что?— тихо спросил Никита и услыхал:

— Не пяль глаз на его жену.

Горбун долго не мог ответить ни слова, ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадет, ударится о землю.

— Что ты говоришь? Подумал бы,— пробормотал он.

— Ну, ладно, ладно! Вижу я... Не бойся,— сказал Алексей весело, как давно уже не говорил, он смотрел из-под ладони, как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя ее глухо гудеть, и оживленно рассказывал:

— Это — Барские горят. У них, на дворе, бочек двадцать дегтя. До соседей огонь не дойдет, сады помешают.

«Бежать надо»,— подумал Никита, глядя вдаль, во тьму, разорванную огнем; там, в красноватом воздухе, стояли деревья, выкованные из железа, по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди, было даже видно, как они суют в огонь тонкие, длинные багры.

— Хорошо горит,— похваливал Алексей.

«В монастырь уйду»,— думал горбун.

На дворе сонно и сердито ворчал Петр, в ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова, и, точно в раме, в окне дома стояла, крестясь, Наталья.

Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожарища засверкала золотом груда углей, окружая черные колонны печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддевке.

— Куда?— необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор, и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал еще свирепей:

— Ты чего там торчишь? Слезь. Тебе, дураку, здоровье беречь надо...

Никита прошел в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услыхал, как отец, сильно хлопнув дверью, вполголоса, но глухо спросил:

— Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть, а? Убью...

Визгливо ответил Алексей:

— Сам ты меня надоумил.

— Молчать! Моли бога, что тот негодяй языка лишен...

Никита встал и тихонько, но поспешно ушел в угол сада, в беседку.

Утром, за чаем, отец рассказывал:

— Поджог; поджигатель оказался пьяница этот, часовщик. Избили его, наверно — помрет. Разорил его Барский, что ли, да и на сына его, Степку, был он сердит. Дело темное.

Алексей спокойно пил молоко, а Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал. Отец, заметив его движение, спросил:

— Ты что ежишься?

— Нездоровится.

— Всем вам нездоровится. А я вот здоров...

Сердито оттолкнув недопитый стакан чая, он ушел.

Дело Артамонова быстро обрастало людями; в двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника, выстроились маленькие, приземистые хижины, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой забыто, длинный барак, с крышей на один скат, с тремя трубами на крыше, с маленькими, ради сохранения тепла, окнами; окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его —«Жеребячий дворец».

Илья Артамонов становился все более хвастливо криклив, но заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами, они научили его посоветовать крестьянам сеять лен по старопашням и по лесным пожогам, это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нем мужика, которому судьба милостиво улыбается, учили молодежь:

— Глядите, как дела крутить надо!

А Илья Артамонов учил детей:

— Мужики, рабочие — разумнее горожан. У городских — плоть хилая, умишко трепаный, городской человек жаден, а — не смел. У него все выходит мелко, непрочно. Городские ни в чем точной меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды, он не мечется туда-сюда. И правда у него простая: бог, например, хлеб, царь. Он —

весь простой, мужик, за него и держитесь. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь и все о деле, это — не годится, надобно уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо; веселый человек лучше понятен.

— Шутить я не умею,— сказал Петр и по привычке дернул себя за ухо.

— Учись. Шутка — минутка, а заряжает на час. Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив.

— Жулики они и лентяи,— задорно отозвался Алексей.

Артамонов строго крикнул:

— Много ли ты знаешь про людей?— Но улыбнулся в бороду и, чтобы не заметили улыбку, прикрыл ее рукою; он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище: дремовцы не желали хоронить на своем погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помялова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост.

— Погост,— размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие, хилые деревья.— Не на свое место слова ставим. Называется — погост, а гостят тут века вечные. Погосты — это дома, города.

Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих темных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью. Но было ясно заметна и разница: отец за все брался с жаром, а Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он так же: немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекающе:

— Я и еще много знаю; и не то еще могу сказать.

И всегда в его словах слышались Никите какие-то намеки, возбуждавшие в нем досаду на этого человека, боязнь пред ним и — острое, тревожное любопытство к нему.

— Много ты знаешь,— сказал он Вялову, тот не спеша ответил:

— Затем живу. Я знаю — это не беда, я для себя знаю. Мое знатье спрятано у скупого в сундуке, оно никому не видимо, будь спокоен...

Не заметно было, чтоб Тихон выспрашивал людей о том, что они думают, он только назойливо присматривался к человеку птичьими, мерцающими глазами и, как

будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтоб Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец,— он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянный. Отец, Петр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него все росло смешанное чувство любопытства к Тихону и страха пред этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялов, возвращаясь с Никитой из леса, вдруг заговорил:

— А ты все сохнешь. Ты б, чудак, сказал ей, может — пожалеет, она будто добрая.

Горбун остановился; у него от испуга замерло сердце, окаменели ноги, он растерянно забормотал:

— Про что сказать, кому?

Вялов, взглянув на него, шагнул дальше, Никита схватил его за рукав рубахи, тогда Тихон пренебрежительно отвел его руку.

— Ну, зачем притворяешься?

Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу березу, Никита оглянулся, ему захотелось ударить Тихона по шершавому лицу, хотелось, чтоб он молчал, а тот, глядя вдаль, щурясь, говорил спокойно, как обыкновенное:

— А если она и не добра, так притвориться может на твой час. Бабы — любопытные, всякой хочется другого мужика попробовать, узнать — есть ли что слаще сахара? Нашему же брату — много ли надо? Раз, два — вот и сыт и здоров. А ты — сохнешь. Ты — попытайся, скажи, авось она согласится.

Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости; это было ново, неведомо для него и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его.

— Ерунду придумал ты,— сказал он.

В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своем и пошел, пристукивая по земле железной лопатой, говоря все так же спокойно:

— Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя, ты человек приятный, любопытный. Все вы, Артамоновы, страх как любопытные... Ты характером и не похож на горбатого, а ведь горбат.

Испуг Никиты растаял в горячей печали, от нее у него мутилось в глазах, он спотыкался, как пьяный, хоте-

лось лечь на землю и отдохнуть; он тихонько попросил:

— Ты молчи об этом.

— Я сказал: как в сундуке заперто.

— Забудь. Ей не проговорись.

— Я с ней не говорю... Зачем с ней говорить?

И вплоть до дома оба шли молча. Синие глаза горбуна стали больше, круглее и печальней, он смотрел мимо людей, за плечи им, он стал еще более молчалив и незаметен. Но Наталья приметила что-то:

— Ты что грустный ходишь?— спросила она, Никита ответил:

— Дела много,— и быстро отошел прочь. Это обидело женщину, она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жилось скучно. За четыре года она родила двух девочек и уже снова ходила непорожней.

— Что ты все девок родишь, куда их?— ворчал свекор, когда она родила вторую, и не подарил ей ничего, а Петру жаловался:

— Мне внучат надо, а не зятьев. Разве я для чужих людей дело затеял?

Каждое слово свекра заставляло женщину чувствовать себя виноватой; она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лежа рядом с ним, она смотрела в окно на далекие звезды и, поглаживая живот, мысленно просила:

«Господи,— сыночка бы...»

Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свекру:

«Нарочно, назло вам буду девочек родить!»

И хотелось сделать что-то удивительное, неожиданное для всех — хорошее, чтоб все люди стали ласковее к ней, или злое, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать.

Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свекра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила белье на всех, после обеда шла с детьми в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульницы, льстиво хвалили красоту девочек, Наталья улыбалась, но не верила похвалам,— дети казались ей некрасивыми.

Иногда между деревьев мелькал Никита, единственный человек, который был ласков с ней, но теперь, когда она приглашала его посидеть с нею, он виновато отвечал:

— Прости, время нет у меня.

У нее незаметно сложилась обидная мысль: горбун был фальшиво ласков с нею; муж приставил его к ней сторожем, чтоб следить за нею и Алексеем. Алексея она боялась, потому что он ей нравился; она знала: пожелай красавец деверь, и она не устоит против него. Но он — не желал, он даже не замечал ее; это было и обидно женщине и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.

В пять часов пили чай, в восемь ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать, долго молилась, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел ее, он ворчал, лежа на кровати:

— Будет. Ложись.

Торопливо крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Петр шутил:

— Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим не хватит...

Ночью, разбуженная плачем ребенка, покормив, успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свекре, муже, обо всем, что дал ей незаметно прошедший, нелегкий день. Было странно не слышать привычных голосов, веселых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики, ее пчелиного жужжания; этот непрерывный торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стеклам окон; шорох работы, заставляя слушать его, мешал думать.

А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, плененных татарами, жития святых отшельниц и великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, веселой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное.

Свекор смотрел на нее как на пустое место, и это еще было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате глаз на глаз, он бесстыдно щупал ее острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал.

Муж был сух, холоден, она чувствовала, что иногда он смотрит на нее так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за ее спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели, упираясь в перину одною рукой, а другой дергая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито,—

в такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем и лишь изредка, все реже, вспоминал о крестьянской, о помещичьей жизни, непонятной Наталье. Зимою в праздники, на святках и на масленице, он возил ее кататься по городу; запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были желтые, медные глаза, исчерченные кровавыми жилками, он сердито мотал башкой и громко фыркал,— Наталья боялась этого зверя, а Тихон Вялов еще более напугал ее, сказав:

— Дворянский конь, зол на чужую власть.

Часто приходила мать; Наталья завидовала ее свободной жизни, праздничному блеску ее глаз. Эта зависть становилась еще острее и обидней, когда женщина замечала, как молодо шутит с матерью свекор, как самодовольно он поглаживает бороду, любуясь своей сожительницей, а она ходит павой, покачивая бедрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотою. Город давно знал о ее связи со сватом и, строго осудив за это, отшатнулся от нее, солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого, темного мужика, жене надутого гордостью, угрюмого мужа; маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими.

Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людьми и фальшивит; она, видимо, боится Петра и, чтоб он не замечал этого, говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью; боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешептывается о чем-то и часто делает ему подарки; в день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами; эта красивая, искусно сделанная вещь всех удивила.

— За долг у меня остались часы, всего за три целковых, старинные они, не ходят,— объяснила мать.— Когда Алеша женится,— дом свой украсит...

«И я бы украсила»,— подумалось Наталье.

Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала:

— По будням салфеток к столу не давай, от усов, от бород салфетки сразу пачкаются.

На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чем-то нечестном, и предупреждала дочь:

— Ты смотри, не очень привечай его, горбатые — хитрые.

Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей и велел горбуну сторожить ее, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом.

Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает ее о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, неприкрыто, ее влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство ее тяжело волнует, и Наталья рада слышать вопрос свекра:

— Сватья,— лошадь запрячь?

— Я бы лучше пешечком прошлась.

— Ладно; я тебя провожу.

Муж задумчиво говорит:

— Умный человек теща; ловко она отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать да к нам перебраться.

«Не надо этого»,— хочет сказать Наталья, но — не смеет и еще больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива.

Сидя у окна в сад или в саду с шитьем в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возятся за ягодником у бани, и, сквозь мягкий шумок фабрики, просачиваются спокойные слова дворника.

— Скука — от людей; скучатся они в кучу, и начинается скука.

«Как верно!» — думает Наталья, но приятный голос Никиты увещевает:

— Заговариваешься ты. А — хороводы, игры? Без людей — веселья нет.

«И это верно»,— удивляясь, соглашается женщина.

Она видит, что все вокруг ее говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, она именно видит, как простые твердые слова, плотно пригнанные одно к другому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды, люди и отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов. У нее нет таких слов, ей не во что одеть свои думы, и, неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят ее, она тупеет от них, все чаще думая с тоской и досадой:

«Глупа я, ничего не знаю, не понимаю...»

— Медведь значит — ведун, ведает, где мед,— бормочет Тихон в кустах малины.

«Так и есть»,— думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил ее любимца: до тринадцати месяцев медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака, влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили, Никита ухаживал за ним, расчесывал комья густой, свалявшейся шерсти, водил его купать в реку, и медведь так полюбил его, что, когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая, бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стекла в окне, выламывал раму. Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой, он сам научился макать куски хлеба в чашку патоки; радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую, зубастую пасть, обсасывал липкую, сладкую лапу, его добродушные глазенки счастливо сияли, и он тыкал башкой в колени Натальи, вызывая ее играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он уже что-то понимал.

Но однажды Алексей напоил его водкой, пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз; собралась толпа рабочих и хохотала, глядя на него. С того дня почти каждый праздник Алексей, на потеху людям, стал поить медведя, и зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, от которых пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтоб не броситься к нему. Его посадили на цепь, но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом конце ее, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать, он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру. Тогда прибежал Алексей с рогатиной, он с разбега воткнул ее в живот зверя, Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами, он как бы прощения просил у людей, разъяренно кричавших вокруг его. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый, плотничный топор, припрыгивая, остробородый деверь ударил его по лапе, по другой, медведь рявкнул, опустился на изрубленные лапы, из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утоптан-

ной земле густо-красные пятна. Жалобно рыча, зверь подставил голову под новый удар топора, тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено, медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но еще более было жалко знать, что бесстрашный, ловкий, веселый озорник деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а ее, Наталью, не видит.

Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость, свекор, похлопывая его по плечу, кричал:

— А — говоришь — больной? Ах ты...

Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивленно и с досадой спросил ее:

— Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда будешь делать?

И, как на маленькую, крикнул:

— Перестань, дура!

Ей показалось, что он хочет ударить, и, сдерживая слезы, она вспомнила первую ночь с ним,— какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он еще не бил ее, как бьют жен все мужья, и сказала, сдерживая рыдания:

— Прости, жалко очень.

— Жалеть надо меня, а не медведя,— ответил он негромко и уже ласковее.

Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та, памятно, сказала ей:

— Мужик — пчела; мы для мужика — цветы, он с нас мед собирает, это надо понимать, надо учиться терпеть, милок. Мужики — всем владычат, у них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свекор-то на пустом месте настроил...

Илья Артамонов все более бешено торопился развить и укрепить свое дело, он как будто предчувствовал, что срок его — не велик. В мае, незадолго до Николина дня, прибыл для второго корпуса фабрики паровой котел, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки там, где в нее лениво втекала болотная вода зеленой Ватаракши. Предстояла трудная работа: котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный, праздничный обед с водкой, брагой; столы были накрыты на дворе,

бабы украсили его ветками елей, берез, пучками первых цветов весны и сами нарядились пестро, как цветы. Хозяин с семьей и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей, солоно шутил с дерзкими на язык шпульницами, много пил, искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбужденно:

— Эх, ребята! Али не живем?

Им, его повадкой любовались, он чувствовал это и еще более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний, солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившая запахом берез и молодых сосен, поднявших в голубое небо свои золотистые свечи,— весна в этом году была ранняя и жаркая, уже расцветала черемуха и сирень. Все было празднично, все ликовало; даже люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них.

Древний ткач Борис Морозов, маленький, хилый старичок, с восковым личиком, уютно спрятанным в седой, позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет шестидесяти, и люто кричал, размахивая костяной, без мяса, рукою:

— Глядите,— девяносто лет мне, девяносто с лишком, нате-ко! Солдат, Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, да-а! Бонапарта бил...

— А ласкал кого?— кричал Артамонов в ухо ему,— ткач был глух.

— Двух жен, кроме прочих. Гляди: семь парней, две дочери, девятнадцать внучат, пятеро правнуков,— эко наткал! Вон они, все у тебя живут, вона — сидят...

— Давай еще!— кричал Илья.

— Будут. Трех царей да царицу пережил — нате-ко! У скольких хозяев жил, все примерли, а я — жив! Версты полотен наткал. Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты — хозяин, ты дело любишь, и оно тебя. Людей не обижаешь. Ты — нашего дерева сук,— катай! Тебе удача — законная жена, а не любовница: побаловала да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...

Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича:

— Спасибо, робенок! Я тебя управляющим сделаю...

Люди орали, хохотали, а старый, пьяненький ткач, вы-

соко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо:

— У него — все по-своему, все не так...

Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щек слезы умиления.

— Сколько радости,— сказала ей дочь, она, сморкаясь, ответила:

— Такой уж человек, на радость и создан господом...

— Учись, ребята, как надо с людями жить,— кричал Артамонов детям.— Гляди, Петруха!

После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палке, боролись; Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся; пировали до рассвета, а с первым лучом солнца человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на Оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги, веревки, за ними ковылял по песку старенький ткач и бормотал Никите:

— Он своего добьется! Он? Я зна-аю...

Благополучно сгрузили с барки на берег красное тупое чудовище, похожее на безголового быка; опутали его веревками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок; котел покачивался, двигаясь вперед, и Никите казалось, что круглая, глупая пасть котла разверзлась удивленно пред веселой силою людей. Отец, хмельной, тоже помогал тащить котел, напряженно покрикивая:

— Потише, эй, потише!

И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал:

— Пошел котел, пошел!

Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой,— Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью. Люди сердито облепили тяжелую тушу, пытаясь подсунуть под нее каток, но они уже выдохлись, а котел упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался все глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая:

— Молодчики, берись дружней! О-ух...

Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шел он,

сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые; старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал:

— Земли поешь, земли...

Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнув кровью под ноги ему и сказал глухо:

— Кровь.

Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась, и все его большое, умное тело испуганно сжалось.

— Ушибся?— спросил Никита, схватив его за руку,— отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко:

— Пожалуй,— жила лопнула...

— Земли поешь, говорю...

— Отстань,— уйди!

И, снова обильно плюнув кровью, Артамонов пробормотал с недоумением:

— Текёт. Где Ульяна?

Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих.

— Что такое?— спросил он и пошел к дому, шагая осторожно, как по жердочке над глубокой рекою. Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце, Никита заметил, что, когда она взглянула на отца, ее красивое лицо странно, точно колесо, все повернулось направо, потом налево и поблекло.

— Льду давайте,— закричала она, когда отец, неумело подогнув ноги, опустился на ступень крыльца, все чаще икая и сплевывая кровь. Как сквозь сон, Никита слышал голос Тихона:

— Лед — вода; водой крови не заменить...

— Земли пожевать надо...

— Тихон, скачи за попом...

— Поднимайте, несите,— командовал Алексей; Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть еще острей, запоминая с болезненной жадностью все, что делали люди в тесноте отцовой комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом черном коне, не в силах справиться с ним; конь не шел в ворота, прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей,— его, должно быть, пугал пожар, ослепительно

зажженный в небе солнцем; вот он, наконец, выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шарахнулся в сторону, сбросив Тихона, и возвратился во двор, храпя, взмахивая хвостом.

Кто-то кричит:

— Мальчишки, бегом...

На подоконнике, покручивая темную, острую бородку, сидит Алексей, его нехорошее, немужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто, он смотрит, не мигая, через головы людей на постель, там лежит отец, говоря не своим голосом:

— Значит — ошибся. Воля божия. Ребята — приказываю: Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им, Христа ради... Эх! Вышлите чужих из горницы...

— Молчи ты,— протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая в рот ему кусочки льда.— Нет здесь чужих.

Отец глотает лед и, нерешительно вздыхая, говорит:

— Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, суров я был с тобой, ну, ничего. Мальчишек! Петруха, Олеша — дружно живите. С народом поласковей. Народ — хороший. Отборный. Ты, Олеша, женись на этой, на своей... ничего!

— Батюшка — не оставляй нас,— просит Петр, опускаясь на колени, но Алексей толкает его в спину, шепчет:

— Что ты? Не верю я...

Наталья рубит кухонным ножом лед в медном тазу, хрустящие удары сопровождает лязг меди и всхлипывания женщины. Никите видно, как ее слезы падают на лед. Желтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале и бесформенным пятном дрожит на стене, пытаясь стереть фигуры красных, длинноусых китайцев на синих, как ночное небо, обоях.

Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нем. Баймакова то расчесывает гребнем густые, курчавые волосы Ильи, то отирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ, капли пота на лбу и на висках, она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет горячо, как молитву, а он, положив одну руку на плечо ей, другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова:

— Знаю. Спаси тебя Христос. Хороните на своем, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, ну их...

И с великой кипящей тоскою он шептал:

— Эх, ошибся я, господи... Ошибся...

Пришел высокий, сутулый священник с Христовой бородкой и грустными глазами.

— Погоди, батя,— сказал Артамонов и снова обратился к детям:

— Ребята — не делитесь! Живите дружно. Дело вражды не любит. Петр,— ты старший, на тебе ответ за все, слышишь? Уходите...

— Никита,— напомнила Баймакова.

— Никиту — любите. Где он? Идите... После... И Наталья...

Он умер, истек кровью после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо, оно было озабочено, и неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди.

Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой, она молча, без слез сидела около усопшего, точно замерзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды.

Петр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец и, попеременно с Никитой, толстая монахиня выпевала жалобы псалтыря; Петр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и, минуты две-три постояв, осторожно уходил, потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет.

Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны, гонял лошадь в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках.

— Погоди,— говорила она, и Алексей исчезал, потный, усталый. Приходила Наталья, робко и жалостливо предлагала матери выпить чаю, поесть; внимательно выслушав ее, мать говорила:

— Погоди.

Никита при жизни отца не знал, любит ли его, он только боялся, хотя боязнь и не мешала ему любоваться воодушевленной работой человека, неласкового к нему и почти не замечавшего — живет ли горбатый сын? Но теперь Никите казалось, что он один по-настоящему, глубоко любил отца, он чувствовал себя налитым мутной тос-

кою, безжалостно и грубо обиженным этой внезапной смертью сильного человека; от этой тоски и обиды ему даже дышать трудно было. Он сидел в углу, на сундуке, ожидая своей очереди читать псалтырь, мысленно повторял знакомые слова псалмов и оглядывался. Теплый сумрак наполнял комнату, в нем колебались желтенькие, живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цибики чая, на каждой полосе обоев было восемнадцать китайцев по два в ряд, один ряд шел к потолку, а другой опускался вниз. На стену падал масляный свет луны, в нем китайцы были бойчее, быстрей шли и вверх, и вниз.

Вдруг сквозь однотонный поток слов псалтыря Никита услыхал негромкий настойчивый вопрос:

— Да неужто — помер? Господи?

Это спросила Ульяна, и голос ее прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновато:

— Умер, матушка, умер, по воле божией...

Стало совершенно невыносимо, Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую, тяжелую обиду на монахиню.

У ворот, на скамье, сидел Тихон; отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки, он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так, что они становились невидны. Никита сел рядом, молча глядя на его работу; она ему напоминала жуткого городского дурачка Антонушку: этот лохматый, темнолицый парень, с вывороченной в колене ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки из щепочек и прутьев, а выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирал песком, пылью и при этом пел гнусаво:

Хиристос воскиресе, воскиресе!
Кибитка потерял колесо.
Бутырма, бай, бай, бустарма,
Баю, баю, бай, Хиристос.

— Дело-то какое, а? — сказал Тихон и, хлопнув сёбя по шее, убил комара; вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившуюся за сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла.

— Рано в этом году комар родился, — спокойно продолжал он. — Да, вот комар — живет, а...

Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить, сердито напомнив:

— Да ведь ты убил комара.

И поспешно ушел прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск ее голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать или сделать нечто необыкновенное, может быть, страшное, и даже в этот час боялся, что помимо воли своей скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос, и тогда, рядом со словами девятой кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов.

— Вот — крест нательный сняла с него, буду носить.

— Мама, родная, ведь и я тоже одна.

Никита снова поднял голос, чтоб заглушить, не слышать этот влажный шепот, но все-таки вслушивался в него.

— Не стерпел господь греха...

— В чужом гнезде, одна...

— «Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?» — старательно выпевал Никита вопль страха, отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку: «Не любя жить — горе, а полюбишь — вдвое», и он смущенно чувствовал, что горе Натальи светит ему надеждой на счастье.

Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу Недожаренный, кругленький и действительно сделанный как бы из сырого теста; посетив усопшего, они поклонились ему; и каждый из них заглянул в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим, едким голосом сказал Петру:

— Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своем кладбище, так ли, нет ли? Это, Петр Ильич, нам, городу, обида будет, как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны, так ли, нет ли?

Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату:

— Гони их!

— Кума,— гудел Барский, налезая на Ульяну.— Как же это? Обидно!

Житейкин допрашивал Петра:

— Это не поп ли Глеб насоветовал вам? Нет, вы это отмените, батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела,— лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал: православные ли вы?

Он говорил непрерывно, не замечал попыток Петра прервать его речь, а когда Петр сказал, наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился.

— Так ли, нет ли — хоронить мы приедем.

И всем стало ясно, что он не за тем явился, о чем говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей, но раньше чем Житейкин успел подойти к ним, Ульяна крикнула:

— Дурак ты, кум, уйди!

У нее дрожали губы и брови, заносчиво подняв голову, она сказала Петру:

— Эти двое и Помялов с Воропоновым просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику, деньги мне дают за помощь...

— Уйдите... господа!— сказал Алексей, указывая на дверь.

Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь:

— Память о человеке хотят стереть...

Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественно и зло:

— Хуже буду, а таким, как эти — не стану жить! Лучше башку себе разобью.

— Нашли время для торговли,— проворчал Петр, тоже косясь на отца.

Подойдя к Никите, Наталья тихонько спросила его:

— А ты что молчишь?

Он был тронут тем, что о нем вспомнили, он был обрадован, что вспомнила Наталья, и, не сдержав улыбку радости, он сказал тоже тихо:

— Что же я... Мы с тобой...

Но женщина задумчиво отошла от него.

На похороны Ильи Артамонова явились почти все лучшие люди города, приехал исправник, высокий, худощавый, с голым подбородком и седыми баками, величественно прихрамывая, он шагал по песку рядом с Петром и дважды сказал ему одни и те же слова:

— Покойник был отлично рекомендован мне его сия-

тельством князем Георгием Ратским и рекомендацию эту совершенно оправдал.

Но вскоре заявил Петру:

— Носить покойников в гору — тяжело!

Сказал и, боком выбравшись из толпы, туго поджав бритые губы, встал под сосною в тень, пропуская мимо себя, как солдат на параде, толпу горожан и рабочих.

День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей; она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой, кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами, похрустывая под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов, сзади всех шел, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачок Антонушка; круглыми глазами без бровей он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел:

Хиристос воскиресе, воскиресе,
Кибитка потерял колесо...

Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул:

— Цыц, дурак...

В городе Антонушку не любили, он был мордвин или чуваш, и поэтому нельзя было думать, что он юродивый Христа ради, но его боялись, считая предвозвестником несчастий, и когда, в час поминок, он явился на двор Артамоновых и пошел среди поминальных столов, выкрикивая нелепые слова: «Куятыр, куятыр,— черт на колокольню, ай-яй, дождик будет, мокро будет, каямас черненько плачет!» — некоторые из догадливых людей перешепнулись:

— Ну, значит, Артамоновым счастья не будет!

Петр уловил этот шепот. А через некоторое время он увидал, что Тихон Вялов прижал дурачка в углу двора, и услышал спокойные, но пытливые вопросы дворника:

— Это что будет — каямас? Не знаешь? На. Пошел прочь! Ну, ну — иди...

...Быстро, как осенний, мутный поток с горы, скользнул год; ничего особенного не случилось, только Ульяна Баймакова сильно поседела, и на висках у нее вырезались печальные лучики старости. Очень заметно изменился

Алексей, он стал мягче, ласковее, но в то же время у него явилась неприятная торопливость, он как-то подхлестывал всех веселыми шуточками, острыми словами, и особенно тревожило Петра его дерзкое отношение к делу, казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого, потом, сам же и убил. Было странно его пристрастие к вещам барского обихода; кроме часов, подарка Баймаковой, в комнате его завелись какие-то ненужные, но красивенькие штучки, на стене висела вышитая бисером картина — девичий хоровод, Алексей был бережлив, зачем же он тратит деньги на пустяки? Он и одеваться стал модно, дорого. Холил свою темную, остренькую бородку, брил щеки и все более терял простое, мужицкое. Петр чувствовал в двоюродном брате что-то очень чужое, неясное, он незаметно, недоверчиво присматривался к нему, и доверие все возрастало.

Петр относился к делу осторожно, опасливо, так же, как к людям. Он выработал себе неторопливую походку и подкрадывался к работе, прищуривая медвежьи глаза, как бы ожидая, что то, к чему он подходит, может ускользнуть от него. Иногда, уставая от забот о деле, он чувствовал себя в холодном облаке какой-то особенной, тревожной скуки, и в эти часы фабрика казалась ему каменным, но живым зверем, зверь приник, прижался к земле, бросив от нее тени, точно крылья, подняв хвост трубою, морда у него тупая, страшная, днем окна светятся, как ледяные зубы, зимними вечерами они железные и докрасна раскалены от ярости. И кажется, что настоящее, скрытое дело фабрики не в том, чтоб наткать версты полотна, а в чем-то другом, враждебном Петру Артамонову.

В годовщину смерти отца, после панихиды на кладбище, вся семья собралась в светлой, красивой комнате Алексея, он, волнуясь, сказал:

— Отец завещал нам жить дружно; так и надо,— мы тут как в плену.

Никита заметил, что Наталья, сидевшая рядом с ним, вздрогнула, удивленно взглянув на деверя, а тот продолжал очень мягко:

— Но все-таки и при дружбе мешать друг другу мы не должны. Дело — одно для всех, а жизнь у каждого своя. Верно?

— Ну?— осторожно спросил Петр, глядя через голову брата.

— Вы все знаете, что я живу с девицей Орловой, те-

перь хочу обвенчаться с нею. Помнишь, Никита, она одна пожалела, когда ты в воду упал?

Никита кивнул головою. Он сидел почти впервые так близко к Наталье, и это было до того хорошо, что не хотелось двигаться, говорить и слушать, что говорят другие. И когда Наталья, почему-то вздрогнув, легонько толкнула его локтем, он улыбнулся, глядя под стол, на ее колени.

— Мне она — судьба, я так думаю,— говорил Алексей.— С нею можно жить как-то иначе. Вводить ее в дом я не хочу, боюсь — не уживетесь с нею.

Ульяна Баймакова, подняв опущенные, тяжелой печалью налитые глаза, помогла Алексею.

— Я ее хорошо знаю, редкая рукодельница. Грамотна. Отца, пьяницу, кормила с малых лет своих и сама себя. Только — характерная; Наталья, пожалуй, не уживется с ней.

— Я со всеми сживаюсь,— обиженно заметила Наталья, а муж, искоса взглянув на нее, сказал брату:

— Это действительно твое дело.

Алексей обратился к Баймаковой, предложив ей продать ему дом:

— На что он тебе?

Петр поддержал его:

— Тебе надо с нами жить.

— Ну, я пойду, обрадую Ольгу,— сказал Алексей. Когда он ушел, Петр, толкнув Никиту в плечо, спросил:

— Ты что — дремлешь? О чем задумался?

— Алексей хорошо делает...

— Ну? Увидим. А по-твоему, матушка?

— Конечно, хорошо, что он с ней венчается, а как жить будут — кто знает? Она — особенная. Вроде дурочки.

— Спасибо за такую родню,— усмехнулся Петр.

— Может, я и не то сказала,— говорила Ульяна, как будто глядя в темноту, где все спутанно колеблется и не дается глазу.

— Она — хитрая; вещей у отца ее много было, так она их у меня прятала, чтоб отец не пропил, а Олеша таскал их мне, по ночам, а потом я будто дарила их ему. Это вот у него все ее вещи, приданое. Тут дорогие есть. Не очень я ее люблю, все-таки — своенравна.

Стоя спиною к теще, Петр смотрел в окно, в саду бормотали скворцы, передразнивая все на свете, он вспомнил слова Тихона:

«Не люблю скворцов,— на чертей похожи». Глупый человек этот Тихон, потому и заметен, что уж очень глуп.

Все так же тихо, нехотя и, видимо, сквозь другие думы, Баймакова рассказывала, что мать Ольги Орловой, помещица, женщина распутная, сошлась с Орловым еще при жизни мужа и лет пять жила с ним.

— Он мастер; мебель делал и часы чинил, фигуры резал из дерева, у меня одна спрятана — женщина голая, Ольга считает ее за материн портрет. Пили они оба. А когда муж помер — обвенчались, в тот же год она утонула, пьяная, когда купалась...

— Вот как люди любят,— вдруг сказала Наталья. Неуместные эти слова заставили Ульяну взглянуть на дочь с упреком, Петр усмехнулся, заметив:

— Не про любовь речь шла, а о пьянстве.

Все замолчали. Наблюдая за Натальей, Никита видел, что повесть матери волнует ее, она судорожно щиплет пальцами бахрому скатерти, простое, доброе лицо ее, покраснев, стало незнакомо сердитым.

После ужина, сидя в саду, в зарослях сирени, под окном Натальиной комнаты, Никита услыхал над головою своей задумчивые слова Петра:

— Ловок Алексей. Умен.

И тотчас раздался режущий сердце вой Натальи:

— Все вы — умные. Только — я дура. Верно сказал он: в плену! Это я живу в плену у вас...

Никита замер от страха, от жалости, схватился обеими руками за скамью, неведомая ему сила поднимала его, толкала куда-то, а там, над ним, все громче звучал голос любимой женщины, возбуждая в нем жаркие надежды.

Наталья заплетала косу, когда слова мужа вдруг зажгли в ней злой огонь. Она прислонилась к стене, прижав спиною руки, которым хотелось бить, рвать; захлебываясь словами, сухо всхлипывая, она говорила, не слушая себя, не слыша окриков изумленного мужа,— говорила о том, что она чужая в доме, никем не любима, живет, как прислуга.

— Ты меня не любишь, ты и не говоришь со мной ни о чем, навалишься на меня камнем, только и всего! Почему ты не любишь меня, разве я тебе не жена? Чем я плоха, скажи! Гляди, как матушка любила отца твоего, бывало — сердце мое от зависти рвется...

— Вот и люби меня эдак же,— предложил Петр, сидя на подоконнике и разглядывая искаженное лицо жены в

сумраке, в углу. Слова ее он находил глупыми, но с изумлением чувствовал законность ее горя и понимал, что это — умное горе. И хуже всего в горе этом было то, что оно грозило опасностью длительной неурядицы, новыми заботами и тревогами, а забот и без этого было достаточно.

Белая, в ночной рубахе, безрукая фигура жены трепетала и струилась, угрожая исчезнуть. Наталья то шептала, то вскрикивала, как бы качаясь на качели, взлетая и падая.

— Вот, гляди, как Алексей любит свою... И его любить легко — он веселый, одевается барином, а ты — что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. С Алексеем я бы душа в душу жила, а я с ним слова сказать не смела никогда, ты ко мне сторожем горбуна твоего приставил, нарочно, хитреца противного...

Никита встал и, наклоня голову, убито пошел в глубь сада, отводя руками ветви деревьев, хватавшие его за плечи.

Петр тоже встал, подошел к жене, схватил ее за волосы на макушке и, отогнув голову, заглянул в глаза:

— С Алексеем?— спросил он негромко, но густым голосом. Он был так удивлен словами жены, что не мог сердиться на нее, не хотел бить; он все более ясно сознавал, что жена говорит правду: скучно ей жить. Скуку он понимал. Но — надо же было успокоить ее, и, чтоб достичь этого, он бил ее затылок о стену, спрашивая тихо:

— Ты — что сказала, дура, а? С Алексеем?

— Пусти,— пусти — закричу...

Он взял ее другою рукой за горло, стиснул его, лицо жены тотчас побагровело, она захрипела.

— Дрянь,— сказал Петр, тиснув ее к стене, и отошел; она тоже откачнулась от стены и прошла мимо его к зыбке; давно уже хныкал ребенок. Петру показалось, что жена перешагнула через него. Перед ним качался, ползал из стороны в сторону темно-синий кусок неба, прыгали звезды. Сбоку, почти рядом, сидела жена, ее можно было ударить по лицу наотмашь, не вставая. Ее лицо было тупо, точно одеревенело, но по щекам медленно, лениво текли слезы. Она кормила девочку, глядя сквозь стеклянную пленку слез в угол, не замечая, что ребенку неудобно сосать ее грудь, горизонтально торчавший сосок выскальзывал из его губ, ребенок, хныкая, чмокал воздух и вращал головкой. Встряхнувшись, как после ночного кошмара, Петр сказал:

— Поправь грудь, не видишь!

— Муха в доме,— пробормотала Наталья.— Муха без крыльев...

— Так ведь и я — тоже один; не двое Петров Артамоновых живет.

Он смутно почувствовал, что сказано им не то, что хотелось сказать, и даже сказана какая-то неправда. А чтоб успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтоб жена сразу поняла ее, подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слезами, тем бабьим, чего в ней до этой поры не было. Глядя, как она небрежно, неловко укладывает дочь, он говорил:

— У меня — дело! Фабрика — это не хлеб сеять, не картошку садить. Это — задача. А у тебя что в башке?

Сначала он говорил строго и внушительно, пытаясь прибизиться к этой неуловимой правде, но она ускользала, и голос его начал звучать почти жалобно.

— Фабрика — это не просто,— повторил он, чувствуя, что слова иссякают и говорить ему не о чем. Жена молчала, раскачивая зыбку, стоя спиной к нему. Его выручил негромкий, спокойный голос Тихона Вялова:

— Петр Ильич, эй!

— Что надо?— спросил он, подойдя к окну.

— Выдь ко мне,— требовательно сказал дворник.

— Невежа!— проворчал Петр и упрекнул жену:— Вот видишь? И ночью покоя нет, а ты тут раскисла...

Тихон без шапки, мерцая глазами, встретил его на крыльце, оглянул двор, ярко освещенный луною, и сказал тихонько:

— Я Никиту Ильича сейчас из петли вынул...

— Чего? Откуда?

И, точно проваливаясь сквозь землю, Петр опустился на ступень крыльца.

— Да ты не садись, идем к нему, он тебя желает...

Не вставая, Петр шепотом спросил:

— Что же это он? А?

— Теперь — в себе; я его водой отлил. Пойдем-ко...

Подняв хозяина за локоть, Тихон повел его в сад.

— Он в бане приснастился, в передбаннике, спустил петлю с чердака, со стропила, да и того...

Петр прирос к земле, повторив:

— Что же это? С тоски по отце, что ли?

Дворник тоже остановился:

— Он до того дошел, что рубахи ее целовать стал...
— Какие рубахи, что ты?
Щупая босыми ногами землю, Петр присматривался к собаке дворника, она явилась из кустов и вопросительно смотрела на него, помахивая хвостом. Он боялся идти к брату, чувствуя себя пустым, не зная, что сказать Никите.
— Эх, без глаз живете,— проворчал дворник. Петр молчал, ожидая, что еще скажет он.
— Ее рубахи, Натальи Евсеевны, они тут висели, сушились после стирки.
— Зачем же он... Постой!
Петр толкнул собаку ногою, представив коротенькую, горбатую фигуру брата, целующего женскую рубаху; это было и смешно и вынудило у него брезгливый плевок. Но тотчас ушибла, оглушила жгучая догадка; схватив дворника за плечи, он встряхнул его, спросил сквозь зубы:
— Целовались? Видел ты — ну?
— Я — все вижу. Наталья Евсеевна даже и не знает ничего.
— Врешь?
— Какая у меня причина врать? Я от тебя награды не жду.
И, как будто топором вырубая просвет во тьме, Тихон в немногих словах рассказал хозяину о несчастии его брата. Петр понимал, что дворник говорит правду, он сам давно уже смутно замечал ее во взглядах синих глаз брата, в его услугах Наталье, в мелких, но непрерывных заботах о ней.
— Та-ак,— прошептал он и подумал вслух:—Некогда мне было понять это.
Потом, толкнув Тихона вперед, сказал:
— Идем.
Он не хотел принять на себя первый взгляд Никиты и, войдя в низенькую дверь бани, еще не различая брата в темноте, спросил из-за спины Тихона дрогнувшим голосом:
— Что ж ты делаешь, Никита?
Горбун не ответил. Он был едва видим на лавке у окна, мутный свет падал на его живот и ноги. Потом Петр различил, что Никита, опираясь горбом о стену, сидит, склонив голову, рубаха на нем разорвана от ворота до подола и, мокрая, прилипла к его переднему горбу, волосы на го-

лове его тоже мокрые, а на скуле — темная звезда и от нее лучами потеки.

— Кровь! Разбился?— шепотом спросил Петр.

— Нет, это я его маленько ушиб, второпях,— ответил Тихон глупо громко и шагнув в сторону.

Подойти к брату было страшно. Слушая свои слова, как чужие, Петр дергал себя за ухо, жаловался, упрекал:

— Стыдно. Против бога, брат. Эх ты...

— Знаю!— хрипло, тоже не своим голосом ответил Никита.— Не дотерпел. Ты меня отпусти. Я — в монастырь уйду. Слышишь? Всей душой прошу...

Кашлянув со свистом, он замолчал.

Чем-то умиленный, Петр снова начал тихо и ласково упрекать и наконец сказал:

— А насчет Натальи, это, конечно, черт тебя смутил...

— Ой, Тихон,— воющим голосом вскричал Никита и болезненно крякнул.— Ведь просил я тебя, Тихон,— молчи! Хоть ей-то не говорите, Христа ради! Смеяться будет, обидится. Пожалейте все-таки меня! Я ведь всю жизнь богу служить буду за вас. Не говорите! Никогда не говорите. Тихон,— это все ты, эх, человек...

Он бормотал, держа голову неестественно прямо, не двигая ею, и это было тоже страшно. Дворник сказал:

— Я бы и молчал, если б не этот случай. От меня она ничего не узнает...

Все более умиляясь, сам смущенный этим, Петр твердо обещал:

— Крест порукой — она ничего не будет знать.

— Ну — спасибо! А я — в монастырь.

И Никита замолчал, точно уснув.

— Больно тебе?— спросил брат; не получив ответа, он повторил:

— Шею-то — больно?

— Ничего,— хрипло сказал Никита. Вы — идите...

— Не уходи,— шепнул Петр дворнику, пятясь к двери мимо него.

Но, когда он вышел в сад и глубоко вдохнул приторно теплые запахи потной земли, его умиленность тотчас исчезла пред натиском тревожных дум. Он шагал по дорожке, заботясь, чтоб щебень под ногами не скрипел,— была потребна великая тишина, иначе не разберешься в этих думах. Враждебные, они пугали обилием своим, казалось, они возникают не в нем, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нем летучими мышами. Они так бы-

стро сменяли одна другую, что Петр не успевал поймать и заключить их в слова, улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который вращался неразличимо быстро, а он — в центре этого круга, один. Словами он думал самое простое:

«Надо, чтоб теща скорее переехала к нам, а Алексея — прочь. Наталью приласкать следует. «Гляди, как любят». Так ведь это он не от любви, а от убожества своего в петлю полез. Хорошо, что он идет в монахи, в людях ему делать нечего. Это — хорошо. Тихон — дурак, он должен был раньше сказать мне».

Но это были не те неуловимые, бессловесные думы, которые смущали и пугали его, заставляя опасливо всматриваться в густой и влажный сумрак ночи. Вдали, в фабричном поселке, извивался, чуть светясь, тоненький ручей невеселой песни. Жужжали комары. Петр Артамонов ясно чувствовал необходимость как можно скорее изжить, подавить тревогу. Он не заметил, как дошел до кустов сирени, под окном спальни своей, он долго сидел, упираясь локтями в колена, сжав лицо ладонями, глядя в черную землю, земля под ногами шевелилась и пузырилась, точно готовясь провалиться.

«Удивительно все-таки, как Никита одолел песок. Уйдет в монастырь — садовником будет там. Это ему хорошо».

Не заметив, как подошла жена, он испуганно вскочил, когда пред ним, точно из земли, поднялась белая фигура, но знакомый голос успокоил его несколько:

— Прости Христа ради, что кричала я...

— Ну, что же,— бог простит, я ведь и сам кричал,— великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры.

Он сел, Наталья нерешительно опустилась рядом с ним, надо было все-таки сказать ей что-нибудь утешительное, Петр сказал:

— Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило, просто людей нет — все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела. За делом людей не видно.

Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьезный,

деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти слова какие-то наружные, они скользят по мыслям, не вскрывая их, не в силах разгрызть, и ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, следя за его речью, нашептывает:

«Неправду говоришь».

Очень вовремя жена, положив голову на плечо его, шепнула:

— Ведь ты мне — на всю жизнь, как же ты не понимаешь этого?

Он тотчас же обнял ее, притиснул к себе, слушая горячий шепот.

— Это — грех, не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет,— без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня, кто тебя пожалеет в тяжелый час?

Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила; погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил:

— Обещал я ему молчать,— не могу!

И торопливо рассказал ей все, что слышал от дворника о Никите.

— Рубахи твои целовал,— в саду сушились,— вот до чего обалдел! Как же ты — не знала, не замечала за ним этого?

Плечо жены под рукою его сильно вздрогнуло.

«Жалеет?» — подумал Петр, но она торопливо, возмущенно ответила:

— Никогда, никакой корысти не замечала! Ах, скрытный! Верно, что горбатые — хитрые.

«Брезгует? Или — притворяется?» — спросил себя Артамонов и напомнил жене:

— Он был ласков с тобой...

— Ну, так что?— вызывающе ответила она.— И Тулун — ласков.

— Ну — все-таки... Тулун — собака.

— Так ты его собакой и приставил ко мне, чтоб он следил за мной, берег бы меня от свекра, от Алексея,— я ведь понимаю! Ох, как он мне противен, как обиден был...

Было ясно, что Наталья обижена, возмущена, это чувствовалось по трепету ее кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дергала и щипала рубаху, но муж-

чине казалось, что возмущение чрезмерно, и, не веря в него, он нанес жене последний удар:

— Его Тихон из петли вынул. В бане лежит.

Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом:

— Нет... Что ты? Господи...

«Значит — врала»,— решил Петр, но она, дернув головою так, как будто ее ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая:

— Что же это будет? Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского, а теперь опять про нас начнут говорить,— ой, господи, за что? Один брат — в петлю лезет, другой неизвестно на ком, на любовнице женится,— что же это? Ах, Никита Ильич! Что же это за бесстыдство? Ну — спасибо! Угодил, безжалостный...

Облегченно вздохнув, муж крепко погладил плечо жены.

— Не бойся, никто ничего не узнает. Тихон — не скажет, он ему — приятель, а от нас всем доволен. Никита в монахи собирается...

— Когда?

— Не знаю.

— Ох, скорее бы! Как я с ним теперь!

Помолчав, Петр предложил:

— Сходи к нему, погляди...

Но, подскочив, точно уколотая, жена почти закричала:

— Ой — не посылай, не пойду! Не хочу, боюсь...

— Чего?— быстро спросил Петр.

— Удавленника. Не пойду, что хочешь делай... Боюсь.

— Ну — идем спать!— сказал Артамонов, вставая на твердые ноги.— На сей день довольно помучились.

Медленно шагая рядом с женою, он ощущал, что день этот подарил ему вместе с плохим нечто хорошее и что он, Петр Артамонов, человек, каким до сего дня не знал себя,— очень умный и хитрый, он только что ловко обманул кого-то, кто навязчиво беспокоил его душу темными мыслями.

— Конечно, ты мне самая близкая,— говорил он жене.— Кто ближе тебя? Так и думай: самая близкая ты мне. Тогда — все будет хорошо...

На двенадцатый день после этой ночи, на утренней заре, сыпучей, песчаной тропою, потемневшей от обильной росы, Никита Артамонов шагал с палкой в руке, с кожаным меш-

ком на горбу, шагал быстро, как бы торопясь поскорее уйти от воспоминаний о том, как родные провожали его: все они, не проспавшись, собрались в обеденной комнате, рядом с кухней, сидели чинно, говорили сдержанно, и было так ясно, что ни у кого из них нет для него ни единого сердечного слова. Петр был ласков и почти весел, как человек, сделавший выгодное дело, раза два он сказал:

— Вот у нас в семье свой молитвенник о грехах наших будет...

Наталья равнодушно и очень внимательно разливала чай, ее маленькие, мышиные уши заметно горели и казались измятыми, она хмурилась и часто выходила из комнаты; мать ее задумчиво молчала и, помусливая палец, приглаживала седые волосы на висках, только Алексей, необычно для него, волновался, спрашивал, подергивая плечами:

— Как это ты решился, Никита? Вдруг, а? Непонятно мне...

Рядом с ним сидела небольшая, остроносенькая девица Орлова и, приподняв темные брови, бесцеременно рассматривала всех глазами, которые не понравились Никите,— они не по лицу велики, не по-девичьи остры и слишком часто мигали.

Тяжело было сидеть среди этих людей и боязливо думалось:

«Вдруг Петр скажет всем? Скорее бы отпустили...»

Петр начал прощаться первый, он подошел, обнял и сказал дрогнувшим голосом, очень громко:

— Ну, брат родной, прощай...

Баймакова остановила его:

— Что ты? Посидеть надо сначала, помолчать, потом, помолясь, прощаться.

Все это было сделано быстро, снова подошел Петр, говоря:

— Прости нас. Пиши насчет вклада, сейчас же вышлем. На тяжелый послух не соглашайся. Прощай. Молись за нас побольше.

Баймакова, перекрестив его, трижды поцеловала в лоб и щеки, она почему-то заплакала; Алексей, крепко обняв, заглянул в глаза, говоря:

— Ну — с богом. У каждого — своя тропа. Все-таки я не понимаю, как это ты вдруг решился...

Наталья подошла последней, но не доходя вплоть, прижав руку ко груди своей, низко поклонилась, тихо сказала:

— Прощай, Никита Ильич...

Груди у нее все еще высокие, девичьи, а уже кормила троих детей.

Вот и все. Да, еще Орлова: она сунула жесткую, как щепа, маленькую, горячую руку,— вблизи лицо ее было еще неприятней. Она спросила глупо:

— Неужели пострижетесь?

На дворе с ним прощалось десятка три старых ткачей, древний, глухой Борис Морозов кричал, мотая головой:

— Солдат да монах — первые слуги миру, нате-ко!

Никита зашел на кладбище, проститься с могилой отца, встал на колени пред нею и задумался, не молясь,— вот как повернулась жизнь! Когда за спиною его взошло солнце и на омытый росою дерн могилы легла широкая, угловатая тень, похожая формой своей на конуру злого пса Тулуна, Никита, поклонясь в землю, сказал:

— Прости, батюшка.

В чуткой тишине утра голос прозвучал глухо и сипло; помолчав, горбун повторил громче:

— Прости, батюшка.

И — заплакал, горько, по-женски всхлипывая, нестерпимо жалко стало свой прежний, ясный и звонкий голос.

Потом, отойдя от кладбища с версту, Никита внезапно увидал дворника Тихона; с лопатой на плече, с топором за поясом он стоял в кустах у дороги, как часовой.

— Пошел?— спросил он.

— Иду. Ты что тут?

— Рябину выкопать хочу, около сторожки моей посажу, у окна.

Постояли минуту, молча глядя друг на друга, Тихон отвел в сторону тающие глаза свои.

— Шагай, я тебя провожу несколько.

Пошли молча. Первый заговорил Тихон.

— Росы какие сильные. Это — вредные росы, к засухе, к неурожаю.

— Избави бог.

Тихон Вялов сказал что-то неясное.

— Чего?— спросил Никита, несколько испуганный,— он всегда ждал от этого человека особенных слов, раздражающих душу.

— Может — избавит, говорю.

Но Никита был уверен, что землекоп сказал что-то такое, чего не хочет повторить.

— Что ж ты,— не веришь, что ли, в милость божию?— с усмешком спросил он.

— Зачем?— спокойно ответил Тихон.— Теперь — дожди нужны. И для грибов росы эти вредные. А у хорошего хозяина все вовремя.

Вздохнув, Никита покачал головою.

— Нехорошо как-то думаешь ты, Тихон...

— Нет, я думаю хорошо. Я не глазами думаю.

Снова прошли молча шагов полсотни. Никита смотрел под ноги, на широкую тень свою, Вялов в такт шагам стучал пальцем по дереву топорища.

— Я приду, Никита Ильич, через годок, поглядеть на тебя,— ладно?

— Приходи. Любопытен ты.

— Это — верно.

Он снял шапку, остановился:

— Ну, когда так,— прощай, Никита Ильич!— И, почесывая скулу, он задумчиво прибавил:

— Нравишься ты мне, по душе. Ты — кроткого духа. Отец твой был умного тела, а ты — духовный, душевный...

Бросив палку на землю, встряхнув горбом, чтоб поправить мешок, Никита молча обнял его, а Тихон, крепко облапив, ответил громко, настойчиво:

— Значит — приду.

— Спасибо.

Там, где дорога круто загибалась в сосновый лес, Никита оглянулся,— Тихон, сунув шапку под мышку, опираясь на лопату, стоял среди дороги, как бы решив не пропускать никого по ней; тянул утренний ветерок и шевелил волосы на его неприятной голове.

Издали Тихон стал чем-то похож на дурачка Антонушку. Думая об этом темном человеке, Никита Артамонов ускорил шаг, а в памяти его назойливо зазвучало:

«Хиристос воскиресе, воскиресе,
Кибитка потерял колесо».

II

Только в девятую годовщину смерти отца Артамоновы кончили строить церковь и освятили ее во имя Ильи Пророка. Строили семь лет; виновником медленности этой был Алексей.

— Бог — подождет, ему спешить некуда,— бойко, нехорошо шутил он и дважды израсходовал крипич для храма, один раз — на третий корпус фабрики, другой — на больницу.

После освящения, отслужив панихиду над могилами отца и детей своих, Артамоновы подождали, когда народ разошелся с кладбища, и, деликатно не заметив, что Ульяна Баймакова осталась в семейной ограде на скамье под березами, пошли не спеша домой; торопиться было некуда, торжественный обед для духовенства, знакомых и служащих с рабочими назначен в три часа.

День — серенький; небо, по-осеннему, нахмурилось; всхрапывал, как усталая лошадь, сырой ветер, раскачивая вершины ельника, обещая дождь. На рыжей полосе песчаной дороги качались темненькие фигурки людей, сползая к фабрике; три корпуса ее, расположенные по радиусу, вцепились в землю, как судорожно вытянутые красные пальцы.

Алексей, махнув палкой, сказал:

— Радовался бы покойник отец, видя, как мы действуем!

— Огорчился бы, когда царя убили,— ответил, подумав, Петр, не желая поддакивать брату.

— Ну, огорчаться он не очень любил. И жил не царевым умом, своим.

Поглубже натянув картуз, Алексей остановился, взглянул на женщин; его жена, маленькая, стройная, в простеньком, темном платье, легко шагая по размятому песку, вытирала платком свои очки и была похожа на сельскую учительницу рядом с дородной Натальей, одетой в черную, шелковую тальму со стеклярусом на плечах и рукавах; темно-лиловая головка красиво прикрывала ее пышные, рыжеватые волосы.

— Хорошеет все жена у тебя.

Петр промолчал.

— А Никита опять не приехал на годовщину. Сердится, что ли, на нас?

В сырые дни у Алексея побаливала грудь и нога; он шел прихрамывая, опираясь на палку. Ему хотелось сгладить унылое впечатление панихиды и печаль серенького дня; упрямый во всем, он хотел заставить брата говорить.

— Теща осталась на могиле поплакать. Все еще помнит. Хорошая старуха. Я шепнул Тихону, чтоб он подо-

ждал и проводил ее; она жалуется на одышку, ходить трудно, говорит.

Артамонов старший негромко и принужденно повторил:

— Трудно.

— Ты — дремлешь? Что — трудно?

— Тихона рассчитать надо,— ответил Петр, глядя вбок, на холмы, сердито ощетиненные елками.

— За что?— удивленно спросил брат.— Мужик честный, аккуратен, не ленив...

— Дурак,— добавил Петр.

Подошли женщины; Ольга приятным голосом, неожиданно сильным для ее маленького тела, сказала мужу:

— Уговариваю Наташу, чтоб она отдала Илью в гимназию, а она — боится.

Беременная Наталья шагала сытой уткой, переваливаясь с ноги на ногу; тоном старшей, медленно и в нос, она выговаривала:

— А по-моему — гимназия мода вредная. Вот Елена такими словами письма пишет, что и не поймешь.

— Учить всех, учить!— строго заявил Алексей, сняв картуз, отирая вспотевший лоб и преждевременную лысину; она всползала от висков к темени острыми углами, сильно удлинив его лицо.

Вопросительно поглядывая на мужа, Наталья спорила:

— Помялов верно говорит: от ученья люди дичают.

— Да,— сказал Петр.

— Вот видите!— удовлетворенно воскликнула Наталья, но муж задумчиво добавил:

— Надо учить.

Брат и Ольга засмеялись; Наталья упрекнула их:

— Что это вы? Забыли? С панихиды идете.

Взяв ее под руки, они пошли быстрее, а Петр замедлил шаг:

— Я подожду мать.

Его огорчил неприятный человек Тихон Вялов. Перед панихидой, стоя на кладбище, разглядывая вдали фабрику, Петр сказал вслух, сам себе, не хвастаясь, а просто говоря о том, что видел:

— Разрослось дело.

И тотчас услыхал за плечом своим спокойный голос бывшего землекопа.

— Дело, как плесень в погребе,— своей силой растет.

Петр ничего не сказал ему, даже не оглянулся, но

явная и обидная глупость слов дворника возмутила его. Человек работает, дает кусок хлеба не одной сотне людей, день и ночь думет о деле, не видит, не чувствует себя в заботах о нем, и вдруг какой-то темный дурак говорит, что дело живет своей силой, а не разумом хозяина. И всегда человечишка этот бормочет что-то о душе, о грехе.

Артамонов присел у дороги на старый пень срубленной сосны, подергал себя за ухо и вспомнил, как однажды он пожаловался Ольге:

«О душе подумать некогда».

Он услышал странный вопрос:

— Разве душа живет отдельно от тебя?

В этих словах ему почудилась бабья шутка, но птичье лицо Ольги было серьезно; темненькие глаза ее сияли эа стеклами очков ласково.

— Не понимаю,— скаэал он.

— А я не понимаю, когда о душе говорят отдельно от человека, как будто о сироте-приемыше.

— Не понимаю,— повторил Петр и утратил желание говорить с этой женщиной; очень чужая, мало понятная ему, она все-таки нравилась своей простотой, но внушала опасение, что под видимой простотой ее скрыта хитрость.

А Тихон Вялов всегда не нравился ему. Неприятно было видеть это скуластое, пятнистое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах, эту туго растущую бороду, походку Тихона, не быструю, но спорую, и все его неуклюжее, коренастое тело. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие; даже аккуратность в работе раздражала. Работал Тихон, как машина, и почти никогда не давал повода упрекнуть его в чем-либо, но и это возбуждало досаду. И все более неприятно было видеть, что человек этот, с каждым годом глубже врастая в хозяйство, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Старый волкодав Тулун, посаженный на цепь и озлобленный этим, никого, кроме Тихона, не подпускал к себе, а старший сын, своенравный Илья, послушен дворнику больше, чем отцу и матери.

Чтоб убрать Вялова с глаз, Артамонов предлагал ему место церковного сторожа, лесника,— Тихон отрицательно мотал головою:

— Не гожусь я для этого. А если надоел тебе,— отдохни, отпусти меня на месяц, я к Никите Ильичу схожу.

Именно так он и сказал: отдохни. Это слово, глупое и дерзкое, вместе с напоминанием о брате, притаившемся где-то за болотами, в бедном лесном монастыре, вызывало у Петра тревожное подозрение: кроме того, что Тихон рассказал о Никите, вынув его из петли, он, должно быть, знает еще что-то постыдное, он как будто ждет новых несчастий, мерцающие его глаза внушают:

«Не трогай меня, я тебе нужен».

Он уже трижды ходил в монастырь: повесит за спину себе котомку и, с палкой в руке, уходит не торопясь; казалось — он идет по земле из милости к ней, да и все он делает как бы из милости.

Возвратясь, Тихон отвечал на расспросы о Никите туго, невразумительно; всегда думалось, что он говорит не все, что знает.

— Здоров. В почете. За поклоны, за гостинцы — благодарить велел.

— Что ж он говорит?— допытывался Петр.

— А что монаху говорить?

— Ну, все-таки?— нетерпеливо допрашивал Алексей.

— Насчет бога. Погодой интересуется, дожди, говорит, не вовремя идут. На комара жалуется; комаров у них там многовато. Про вас спрашивал.

— Что?

— Заботится, жалеет.

— Нас? За что?

— За все. Вот — вы бегом живете, а он остановился, ну и жалеет вас за беспокойство ваше.

Алексей хохотал, вскрикивая:

— Экая ерунда!

Зрачки Тихона таяли, глаза пустели.

— Ведь я не знаю, как он думает, я сказываю, что он говорил. Я — простой.

— Да, прост!— насмешливо соглашался Алексей.— Вроде Антона-дурака.

Ветер обдал Петра Артамонова душистым теплом, и стало светлее; из глубочайшей голубой ямы среди облаков выглянуло солнце. Петр взглянул на него, ослеп и еще глубже погрузился в думы свои.

Было что-то обидное в том, что Никита, вложив в монастырь тысячу рублей и выговорив себе пожизненно сто

восемьдесят в год, отказался от своей части наследства после отца в пользу братьев.

— Что это за подарки?— ворчал Петр, но Алексей — обрадовался:

— А куда ему деньги? Дармоедам, монахам на жир? Нет, он хорошо решил. У нас — дело, дети.

Наталья даже умилилась.

— Все-таки не забыл он вину свою перед нами!— удовлетворенно сказала она, сгоняя пальцем одинокую слезу с румяной щеки.— Вот и приданое Елене.

На душу Петра поступок брата лег тенью,— в городе говорили об уходе Никиты в монастырь зло, нелестно для Артамоновых.

С Алексеем Петр жил мирно, хотя видел, что бойкий брат взял на себя наиболее легкую часть дела: он ездил на нижегородскую ярмарку, раза два в год бывал в Москве и, возвращаясь оттуда, шумно рассказывал сказки о том, как преуспевают столичные промышленники.

— Парадно живут, не хуже дворян.

— Барином жить — просто,— намекал Петр, но, не поняв намека, брат восхищался:

— Домище сгрохает купец, так это — собор! Дети образованные.

Хотя он сильно постарел, но к нему вернулась юношеская живость, и ястребиные глаза его блестели весело.

— Ты что все хмуришься?— спрашивал он брата и даже учил:— Дело делать надо шутя, дела скуки не любят.

Петр замечал в нем сходство с отцом, но Алексей становился все более непонятен ему.

— Я человек хворый,— все еще напоминал он, но здоровья не берег, много пил вина, азартно, ночами, играл в карты и, видимо, был нечистоплотен с женщинами. Что в его жизни главное? Как будто — не сам он и не гнездо его. Дом Баймаковой давно требовал солидного ремонта, но Алексей не обращал на это внимания. Дети рождались слабыми и умирали до пяти лет, жил только Мирон, неприятный, костлявый мальчишка, старше Ильи на три года. И Алексей и жена его заразились смешной жадностью к ненужным вещам, комнаты у них тесно набиты разнообразной барской мебелью, и оба они любили дарить ее; Наталье подарили забавный шкаф, украшенный фарфором, теще — большое кожаное кресло и великолепную, карельской березы с бронзой, кровать; Ольга искусно

вышивала бисером картины, но муж привозил ей из своих поездок по губернии такие же вышивки.

— Чудишь ты,— сказал Петр, получив подарок брата, монументальный стол со множеством ящиков и затейливой резьбой, но Алексей, хлопая по столу ладонью, кричал:

— Поет! Таким штукам больше не быть, в Москве это поняли!

— Ты бы лучше серебро покупал, у дворян серебра много...

— Дай срок — все купим! В Москве...

Если верить Алексею, то в Москве живут полуумные люди, они занимаются не столько делами, как все, поголовно, стараются жить по-барски, для чего скупают у дворянства все, что можно купить, от усадеб до чайных чашек.

Сидя в гостях у брата, Петр всегда с обидой и завистью чувствовал себя более уютно, чем дома, и это было так же непонятно, как не понимал он, что нравится ему в Ольге? Рядом с Натальей она казалась горничной, но у нее не было глупого страха пред керосиновыми лампами, и она не верила, что керосин вытапливают студенты из жира самоубийц. Приятно слушать ее мягкий голос, и хороши ее глаза; очки не скрывают их ласкового блеска, но о делах и о людях она говорит досадно, ребячливо, откуда-то издали; это удивляло и раздражало.

— Что ж у тебя — виноватых нет, что ли?— насмешливо спрашивал Петр, она отвечала:

— Виноватые есть, да я судить не люблю.

Петр не верил ей.

С мужем она обращалась так, как будто была старше и знала себя умнее его. Алексей не обижался на это, называл ее тетей и лишь изредка, с легкой досадой, говорил:

— Перестань, тетя, надоело! Я больной человек, меня побаловать не вредно.

— Достаточно избалован, будет уж!

Она улыбалась мужу улыбкой, которую Петр хотел бы видеть на лице своей жены. Наталья — образцовая жена, искусная хозяйка, она превосходно солила огурцы, мариновала грибы, варила варенья, прислуга в доме работала с точностью колесиков в механизме часов; Наталья неутомимо любила мужа спокойной любовью, устоявшейся, как сливки. Она была бережлива.

— Сколько теперь у нас в банке-то?— спрашивала

она и тревожилась: — Ты гляди, хорош ли банк, не лопнул бы!

Когда она брала в руки деньги, красивое лицо ее становилось строгим, малиновые губы крепко сжимались, а в глазах являлось что-то масляное и едкое. Считая разноцветные, грязные бумажки, она трогала их пухлыми пальцами так осторожно, точно боялась, что деньги разлетятся из-под руки ее, как мухи.

— Как вы — доходы-то делите с Алексеем? — спрашивала она в постели, насытив Петра ласками. — Не обсчитывает он тебя? Он — ловкий! Они с женой жадные. Так и хватают все, так и хватают!

Она чувствовала себя окруженной жуликами и говорила:

— Никому, кроме Тихона, не верю.

— Значит, дураку веришь, — устало бормотал Петр.

— Дурак — да совестлив.

Когда Петр впервые посетил с ней нижегородскую ярмарку и, пораженный гигантским размахом всероссийского торжища, спросил жену:

— Каково, а?

— Очень хорошо, — ответила она. — Всего много, и все дешевле, чем у нас.

Затем она начала считать, что следует купить:

— Мыла два пуда, свеч ящик, сахару мешок да рафинаду...

Сидя в цирке, она закрывала глаза, когда на арену выходили артисты.

— Ах, бесстыжие, ах, голяшки! Ой, хорошо ли мне глядеть на них, хорошо ли для ребенка-то? Не водил бы ты меня на страхи эти, может, я мальчиком беременна!

В такие минуты Петр Артамонов чувствовал, что его душит скука, зеленоватая и густая, как тина реки Ватаракши, в которой жила только одна рыба — жирный, глупый линь.

Наталья все так же много и деловито молилась, а помолясь и опрокинувшись в кровать, усердно вызывала мужа к наслаждению ее пышным телом. От кожи ее пахло чуланом, в котором хранились банки солений, маринадов, копченой рыбы, окорока. Петр нередко и все чаще чувствовал, что жена усердствует чрезмерно, ласки ее опустошают его.

— Отстань, устал я, — говорил он.

— Ну, спи с богом, — покорно отзывалась жена и,

быстро заснув, удивленно приподнимала брови, улыбалась, как бы глядя закрытыми глазами на что-то очень хорошее и никогда не виданное ею.

В те часы, когда Петр особенно ясно, с унынием ощущал, что Наталья нежеланна ему, он заставлял себя вспоминать ее в жуткий деиь рождения первого сына. Мучительно тянулся девятнадцатый час ее страданий, когда теща, испуганиая, в слезах, привела его в комнату, полную какой-то особенной духоты. Извиваясь на смятой постели, выкатив искаженные лютой болью глаза, растрепаниая, потиая и непохожая на себя, жеиа встретила его звериным воем:

— Петя, прощай, умираю. Мальчик будет... Петр, прости...

Губы ее, распухшие от укусов, почти не шевелились, и слова шли как будто ие из горла, а из опустившегося к ногам живота, безобразио вздутого, готового лопнуть. Посиневшее лицо тоже вздулось; она дышала, как уставшая собака, и так же высовывала опухший, изжеванный язык, хватала волосы на голове, тянула их, рвала и все рычала, выла, убеждая, одолевая кого-то, кто не хотел или не мог уступить ей:

— М-мальчика...

День был ветреный, за окном тряслась и шумела черемуха, на стеклах трепетали теии, Петр увидел их прыжки, услышал шорох и, обезумев, крикнул:

— Окио занавесьте! Не видите?

И в страхе убежал, сопровождаемый визгом женщины:

— И — и — у — у...

А через полтора часа теща, немая от счастья и усталости, снова привела его к постели жены, Наталья встретила его нестерпимо сияющим взглядом великомученицы и слабеньким, пьяным языком сказала:

— Мальчик. Сын.

Он наклоиился, приложил щеку к плечу ее, забормотал:

— Ну, мать, этого я тебе не забуду до гроба, так и знай! Ну, спасибо...

Впервые он назвал ее матерью, вложив в это слово весь свой страх и всю радость; она, закрыв глаза, погладила голову его тяжелой, обессилениой рукою.

— Богатырь,— сказала рябая, иосатая акушерка, показывая ребенка с такой гордостью, как будто оиа сама родила его. Но Петр не видел сына, пред ним все заслоиялось мертвым лицом жены, с темиыми ямами на месте глаз:

— Не умрет?

— Н-ну,— громко и весело сказала рябая акушерка,— если б от этого умирали, тогда и акушерок не было бы.

Теперь богатырю шел девятый год, мальчик был высок, здоров, на большелобом, курносом лице его серьезно светились большие, густо-синие глаза,— такие глаза были у матери Алексея и такие же у Никиты. Через год родился еще сын, Яков, но уже с пяти лет лобастый Илья стал самым заметным человеком в доме. Балуемый всеми, он никого не слушал и жил независимо, с поразительным постоянством попадая в неудобные и опасные положения. Его шалости почти всегда принимали несколько необычный характер, и это возбуждало у отца чувство, близкое гордости.

Однажды Петр застал сына в сарае, мальчик пытался пристроить к старому корыту колесо тачки.

— Это что будет?

— Пароход.

— Не поедет.

— У меня — поедет! — сказал сын задорным тоном деда. Петр не мог убедить его в бесполезности работы, но, убеждая, думал:

«Дедушкин характер».

Илья был непреклонен в достижении своих целей, но все-таки ему не удалось устроить пароход из корыта и двух колес тачки. Тогда он нарисовал колеса углем на боках корыта, стащил его к реке, спустил в воду и погряз в тине. Однако не испугался, а тотчас же закричал бабам, полоскавшим белье:

— Эй, бабы! Вытащите, а то утону...

Мать велела изрубить корыто, а Илью нашлепала, с этого дня он стал смотреть на нее такими же невидящими глазами, как смотрел на двухлетнюю сестренку Таню. Он был вообще деловой человечек, всегда что-то строгал, рубил, ломал, налаживал, и, наблюдая это, отец думал:

«Толк будет. Строитель».

Иногда Илья целые дни не замечал отца и вдруг, являясь в контору, влезал на колени, приказывал:

— Расскажи чего-нибудь.

— Некогда мне.

— Мне тоже некогда.

Усмехаясь, отец отодвигал в сторону бумаги.

— Ну, вот: жили-были мужики...

— Про мужиков я все знаю; смешное расскажи.

Смешного отец не знал.

— Ты поди к бабушке.

— Она сегодня чихает.

— Ну — к матери.

— Она меня мыть будет.

Артамонов смеялся; сын был единственным существом, вызывавшим у него хороший, легкий смех.

— Тогда я пойду к Тихону,— заявлял Илья, пытаясь соскочить с колен отца, но тот удерживал его.

— А что Тихон говорит?

— Все.

— Что однако?

— Он все знает, он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки...

Когда Илья свалился откуда-то, разбив себе лицо, мать, колотя его, кричала:

— Не лазай по крышам, уродушкой будешь, горбатым!

Багровый от обиды, сын не заплакал, но пригрозил матери:

— Еще я тебе помру, когда бить будешь!

Об этой угрозе она сказала отцу, он усмехнулся:

— Ты не бей его, а посылай ко мне.

Сын пришел, встал у косяка двери, заложив руки за спину; не чувствуя ничего к нему, кроме любопытства и волнующей нежности, Петр спросил:

— Ты что это матери грубишь?

— Я не дурак,— сердито ответил сын.

— Как же не дурак, если грубишь?

— Так она — дерется. Тихон сказал: только дураков бьют.

— Тихон? Тихон сам...

Но Петр почему-то остерегался назвать дворника дураком; он шагал по комнате, присматриваясь к человеку у двери, не зная — что сказать?

— Ты вот тоже брата Якова бьешь.

— Он — дурак. Ему — не больно, он толстый.

— Что же: толстый, так — надо бить?

— Он жадный.

Петр чувствовал, что не умеет учить сына и что сын понимает это. Может быть, было бы проще и полезнее натрепать ему уши, но не поднималась рука над этой тревожно милой, вихрастой головою. Даже и думать о наказании неловко было под пристальным, ожидающим взглядом родных, синих глаз. И солнце мешало; всегда выхо-

дило как-то так, что Илья наиболее отчаянно шалил в солнечные дни. Говоря мальчику обычные слова увещаний, Петр вспоминал время, когда он сам выслушивал эти же слова и они не доходили до сердца его, не оставались в памяти, вызывая только скуку и лишь ненадолго страх. А побои, даже и заслуженные, трудно забыть, это Петр Артамонов тоже хорошо знал.

Второй сын Яков, кругленький и румяный, был похож лицом на мать. Он много и даже как будто с удовольствием плакал, а перед тем, как пролить слезы, пыхтел, надувая щеки, и тыкал кулаками в глаза свои. Он был труслив, много и жадно ел и, отяжелев от еды, или спал или жаловался:

— Мама, мне скушно!

Дочь Елена приезжала домой только летом, она была какая-то чужая барышня.

Семи лет Илья начал учиться грамоте у попа Глеба, но узнав, что сын конторщика Никонова учится не по псалтырю, а по книжке с картинками «Родное слово», сказал отцу:

— Я не стану учиться, у меня язык болит.

Нужно было долго и ласково расспрашивать его, прежде чем он объяснил:

— Паша Никонов учится по родному, а я по чужому.

Но иногда этот очень живой мальчик, запнувшись за что-то, часами одиноко сидел на холме под сосною, бросая сухие шишки в мутно-зеленую воду реки Ватаракши.

«Скучает»,— догадывался отец.

Он тоже недели и месяцы жил оглушенный шумом дела, кружился, кружился и вдруг попадал в густой туман неясных дум, слепо запутывался в скуке и не мог понять, что больше ослепляет его: заботы о деле или же скука от этих, в сущности, однообразных забот? Часто в такие дни он натыкался на человека и начинал ненавидеть его за косой взгляд, за неудачное слово; так, в этот серенький день, он почти ненавидел Тихона Вялова.

Вялов приближался, ведя под руку тещу, рассказывая:

— Мы, Вяловы, большая семья...

— Что же ты со своими не живешь?— спросил Петр, подходя к Баймаковой, взяв ее под локоть; Тихон замолчал, отшагнул в сторону; Артамонов настойчиво и строго повторил вопрос. Тогда, сузив бесцветные глаза, дворник равнодушно ответил:

— Да уж нет их никого, своих-то, всех извели.

— Что значит — извели? Кто извел?

— Двоих братьев под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились; отец — тоже причастный бунту — с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Потом было еще двое у матери, от другого мужа, Вялова, рыбака, а да брат Сергей...

— А где брат?— спросила Ульяна, мигая опухшими от слез глазами.

— Его убили.

— Рассказываешь ты, как поминанье читаешь,— сердито сказал Артамонов.

— Это Ульяне Ивановне любопытно... Приуныла она маленько, вот я и...

Не окончив слов, он наклонился, поднял с дороги сухой сучок и отбросил его в сторону. Минуты две шли молча.

— А кто убил брата?— вдруг спросил Атамонов.

— Кто убивает? Человек убивает,— спокойно сказал Тихон, а Баймакова, вздохнув, добавила:

— Молния тоже...

...В середине лета наступили тяжелые дни, над землей, в желтовато-дымном небе стояла угнетающая, безжалостно знойная тишина; всюду горели торфяники и леса. Вдруг буйно врывался сухой, горячий ветер, люто шипел и посвистывал, срывал посохшие листья с деревьев, прошлогоднюю, рыжую хвою, вздымал тучи песка, гнал его над землею вместе со стружкой, кострикой, перьями кур; толкал людей, пытаясь сорвать с них одежду, и прятался в лесах, еще жарче раздувая пожары.

На фабрике было много больных; Артамонов слышал, сквозь жужжание веретен и шорох челноков, сухой, надсадный кашель, видел у станков унылые, сердитые лица, наблюдал вялые движения; количество выработки понизилось, качество товара стало заметно хуже; сильно возросли прогульные дни, мужики стали больше пить, у баб хворали дети. Веселый плотник Серафим, старичок с розовым лицом ребенка, то и дело мастерил маленькие гробики и нередко сколачивал из бледных, еловых досок домовины для больших людей, которые отработали свой урок.

— Гулянье надо устроить,— настаивал Алексей,— повеселить надо, подбодрить народ!

Уезжая с женою на ярмарку, он еще раз посоветовал:

— Устрой гулянье — оживут люди! Ты — верь: веселье — от всех бед спасенье!

— Займись,— приказал Петр жене.— Получше сделай, пообильнее.

Наталья недовольно заворчала, он сердито спросил:

— Ну?

Протестующе громко высморкав нос в край передника, жена ответила:

— Слышу.

Гулянье начали молебном. Очень благолепно служил поп Глеб; он стал еще более худ и сух; надтреснутый голос его, произнося необычные слова, звучал жалобно, как бы умоляя из последних сил; серые лица чахоточных ткачей сурово нахмурились, благочестиво одеревенели; многие бабы плакали навзрыд. А когда поп поднимал в дымное небо печальные глаза свои, люди, вслед за ним, тоже умоляюще смотрели в дым на тусклое, лысое солнце, думая, должно быть, что кроткий поп видит в небе кого-то, кто знает и слушает его.

После молебна бабы вынесли на улицу поселка столы, и вся рабочая сила солидно уселась к деревянным чашкам, до краев полным жирной лапшою с бараниной. Вокруг каждой чашки садилось десять человек, на каждом столе стояло ведро крепкого, домашнего пива и четверть водки; это быстро приподняло упавших духом, истомленных людей. Тишина, горячей шапкой накрывшая землю, всколебалась, отодвинулась на болота, к лесным пожарам, поселок загудел веселыми голосами, стуком деревянных ложек, смехом детей, окриками баб, говором молодежи.

За сытным, обильным обедом сидели часа три; потом, разведя пьяных по домам, молодежь собралась вокруг чистенького, аккуратного плотника Серафима. Его синяя пестрядинная рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми, пьяненькое, розовое личико с острым носом восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие, нестарческие глазки. В этом веселом делателе гробов было, соответственно имени его, что-то небесно-радостное, какой-то легкий трепет. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, перебирая струны темными пальцами, изогнутыми, точно коренья хрена, он запел напевом слепцов-нищих, с нарочитой заунывностью и гнусаво, в нос:

А и вот вам, люди, сказ на забаву
Да премудрости вашей на разгадку!

И, подмигнув девицам, среди которых величаво стояла дочь его, шпульница Зинаида, грудастая, красивая, с дерзкими глазами, он завел еще более высоко и уныло:

Да аот сидит Христос в светлом рае,
Во душистой, небесной прохладе,
Под аысокой, златоцветной липой,
Восседает на лыковом престоле.
Раздает ои серебро и злато,
Раздает драгоцеиное камеиье,
Все богатым людим в иаграду,
За то, что они, богатеи.
Бедиому люду доброхоты,
Бедную братию любнт,
Нищих, убогих сыто кормнт.

Он снова подмигнул девкам и вдруг перевел голосишко на плясовой лад, а дочь его, по-цыгански закинув руки за голову, встряхивая грудями, взвизгнула и пошла плясать под звонкую песенку отца и струнный звон.

А кто серебро аозьмет,—
Тому ноги отшибет!
А кто золото аозьмет,—
Того пламенем сожжет!
А нхоиты, жемчуга
Все бельмами на глаза!..

Звон гусель и веселую игру песни Серафима заглушил свист парней; потом запели плясовую девки и бабы:

С морн быстрые кораблики бегут,
Красиым деаушкам подарочки везут!

А Зинаида, притопывая, подпевала пронзительно:

От Пашки — Палашке
Рогож да рубашки;
От Терешки — Матрешке
Две березоаы сережки.

Илья Артамонов сидел на штабеле теса с Павлом Никоновым, худеньким мальчиком, на длинной шее которого беспокойно вертелась какая-то старенькая, лысоватая голова, а на сером, нездоровом лице жадно бегали серые, боязливые глазки. Илье очень нравился голубой старичок, было приятно слушать игру гусель и задорный, смешной голос Серафима, но вдруг вспыхнула, завертелась эта баба в кумачовой кофте и все разрушила, вызвав буйный свист, нестройную, крикливую песню. Эта баба стала окончательно противна ему, когда Никонов вполголоса сказал:

— Зинаидка — распутная, со всеми живет. И с твоим отцом тоже, я сам видел, как он ее тискал.

— Зачем?— недогадливо спросил Илья.

— Ну, знаешь!

Илья опустил глаза. Он знал, зачем тискают девиц, и ему было досадно, что он спросил об этом товарища.

— Врешь,— сказал он брезгливо и не слушая шепот Никонова. Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах, но Никонов понимал толк в охотничьих голубях, а Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное и говорил об этом, точно братишка Яков,— как будто жалуясь на всех людей.

Посидев несколько минут молча, Илья пошел домой. Там, в саду, пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости: тихий поп Глеб, механик Коптев, черный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов, лицо у него до того смытое, что трудно понять, какое оно. Был маленький усатый нос, была шишка на лбу, между носом и шишкой расползалась улыбка, закрывая узкие щелки глаз дрожащими складками кожи.

Илья сел рядом с отцом, не веря, чтоб этот невеселый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжелой рукою. Все были разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою, в хрустальную, морозную ночь.

— В поселок-то пойдем?— спросила мать.

— Да; пойду оденусь,— сказал отец, встал из-за стола и пошел к дому; спустя минуту Илья побежал за ним, догнал его на крыльце.

— Ты что?— ласково спросил отец,— сын тоже спросил, глядя в глаза его:

— Ты Зинаиду тискал или не тискал?

Илье показалось, что отец испугался; это не удивило его, он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и его боится, вот — сейчас боится. И, чтоб ободрить испуганного человека, он сказал:

— Я — не верю, я только спрашиваю.

Отец толкнул его в сени и, затолкав по коридору в свою комнату, плотно закрыл за собою дверь, а сам стал, посапывая, шагать из угла в угол, так шагал он, когда сердился.

— Поди сюда,— сказал Артамонов старший, остановясь у стола, младший Артамонов подошел.

— Ты что сказал?

— Это Павлушка говорит, а я не верю.

— Не веришь? Так.

Петр выдул из себя гнев, в упор разглядывая лобастую голову сына, его серьезное, неласковое лицо. Он дергал себя за ухо, соображая: хорошо это или плохо, что сын не верит глупой болтовне такого же мальчишки, как сам он, не верит и, видимо, утешает его этим неверием? Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное — бить. Тогда, тяжело подняв не очень послушную руку, он запустил пальцы в жестковатые вихры сына и, дергая их, начал бормотать:

— Не слушай дураков, не слушай!

И, оттолкнув, приказал:

— Ступай. Сиди в своей горнице. И — сиди там. Да.

Сын пошел к двери, склонив голову набок, неся ее, как чужую, а отец, глядя на него, утешал себя:

«Не плачет. Я его — не больно».

Он попробовал рассердиться:

— Ишь ты! Не верю! Вот я тебе и показал.

Но это не заглушало чувства жалости к сыну, обиды за него и недовольства собою.

«Впервые побил,— думал он, неприязненно разглядывая свою красную, волосатую руку.— А меня до десяти-то лет, наверное, сто раз били».

Но и это не утешало. Взглянув в окно на солнце, подобное капле жира в мутной воде, послушав зовущий шум в поселке, Артамонов неохотно пошел смотреть гулянье и дорогой тихонько сказал Никонову:

— Пасынок твой моему Илье глупости внушает...

— Я его выпорю,— с полной готовностью и даже как будто с удовольствием предложил конторщик.

— Ты ему придержи язык,— добавил Петр, искоса взглянув в пустое лицо Никонова и облегченно думая: «Вот как просто».

Поселок встретил хозяев шумно и благодушно; сияли

полупьяные улыбки, громко кричала лесть; Серафим, притопывая ногами в новых лаптях, в белых онучах, перевязанных, по-мордовски, красными оборами, вертелся пред Артамоновым и пел осанну:

Ой, кто это идет?
Это — сам идет!
А кого же он ведет?
Самоё ведет!

Седобородый, длинноволосый Иван Морозов, похожий на священника, басом говорил:

— Мы тобой довольны. Мы — довольны.

Другой старик, Мамаев, кричал с восторгом:

— У Артамоновых забота о людях барская!

А Никонов говорил Коптеву так, что все слышали:

— Благодарный народ, умеет ценить благодетелей своих!

— Мама, меня толкают!— жаловался Яков, одетый в рубаху розового шелка, шарообразный; мать держала его за руку, величаво улыбаясь бабам, и уговаривала:

— Ты гляди, как старичок пляшет...

Голубой плотник неутомимо вертелся, подпрыгивал, сыпал прибаутки:

Эх, притопывай, нога!
Притопывай чаще!
Лапоть легче сапога,
Баба — девки — слаще!

Артамонов не впервые слышал похвалы ему, он имел все основания не верить искренности этих похвал, но все-таки они его размягчали; умыляясь, он говорил:

— Ну, ладно, спасибо! Ничего, живем дружно.

И думал:

«Жаль, не видит Илья, как чествуют отца».

У него явилась потребность сделать что-то хорошее, чем-то утешить людей; подумав, дернув себя за ухо, он сказал:

— Детскую больницу надо вдвое расширить.

Широко размахнув руками, Серафим отскочил от него.

— Слышали? Валяй — ура, хозяину!

Недружно, но громко люди рявкнули ура; растроганная, окруженная бабами, Наталья сказала в нос, нараспев:

— Подите, бабы, возьмите еще бочонка три пива, Тихон выдаст, подите!

Это еще более усилило восхищение баб; а Никонов, качая головой, умиленно говорил:

— Архирейская встреча...

— Ма-ам,— мне жарко,— мычал Яков.

Радости эти несколько смял, нарушил чернобородый, с огромными, как сливы, глазами, кочегар Волков; он подскочил к Наталье, неумело повесив через левую руку тощенького, замлевшего от жары ребенка, с болячками на синеватой коже, подскочил и начал истерически кричать:

— Как быть-то? Жена скончалась. От жары скончалась, ау! Вот — прирост остался,— как быть?

Из его безумных глаз текли какие-то желтые слезы; отталкивая кочегара от Натальи, бабы говорили, как будто извиняясь:

— Ты его не слушай, он, видишь, не в разуме. Жена у него распутная была. Чахоточная. Да он и сам нездоровый.

— Возьмите младенца-то у него,— сердито посоветовал Артамонов, и тотчас же к раскисшему тельцу ребенка протянулись несколько пар бабьих рук, но Волков крепко выругался и убежал.

В общем все было хорошо, пестро и весело, как и следует быть празднику. Замечая лица новых рабочих, Артамонов думал почти с гордостью:

«Растет число народа. Видел бы отец...»

Вдруг жена пожалела:

— Не вовремя наказал ты Илью, не видит он любовь к тебе.

Артамонов промолчал, взглянул исподлобья на Зинаиду, она шла впереди десятка девиц и пела неприятным, низким голосом:

Ходит мимо,
Смотрит мило,
Видно, хочет,
Ах, полюбить!

«Халда,— подумал он.— И песня плохая».

Вынул часы, посмотрел на них и зачем-то солгал:
— Я схожу домой, должна быть депеша от Алексея.

Он пошел быстро, обдумывая на ходу, что надо сказать сыну, придумал что-то очень строгое и достаточно ласковое, но, тихо отворив дверь в комнату Ильи, все забыл. Сын стоял на коленях, на стуле, упираясь локтями о подоконник, он смотрел в багрово-дымное небо; сумрак на-

полнял маленькую комнату бурой пылью; на стене, в большой клетке, возился дрозд: собираясь спать, чистил свой желтый нос.

— Ну что, сидишь?

Илья вздрогнул, обернулся, не спеша слез со стула.

— То-то вот! Слушаешь всякую дрянь.

Сын стоял наклонив голову, отец понял, что он делает это нарочно, чтоб напомнить о трепке.

— Зачем гнешься? Держи голову прямо.

Илья приподнял брови, но не взглянул на отца. Дрозд начал прыгать по жердочкам, негромко посвистывая.

«Сердится»,— подумал Артамонов, присев на кровать Ильи, тыкая пальцем в подушку.— Пустяки слушать не надо.

Илья спросил:

— А как же, когда говорят?

Его серьезный, хороший голос обрадовал отца, Петр заговорил более ласково и храбро:

— Говорят, а ты — не слушай! Ты — забывай! Скажут при тебе пакость, а ты — забудь.

— Ты забываешь?

— Ну а как же? Если б я помнил все, что слышу, чем бы я стал?

Он говорил не спеша, заботливо выбирая слова попроще, отлично понимал, что все они не нужны, и, быстро запутавшись в темной мудрости простых слов, сказал, вздохнув:

— Поди ко мне.

Илья подошел осторожно. Отец, зажав его бока коленями, легонько надавил ладонью на широкий лоб и, чувствуя, что сын не хочет поднять голову, обиделся.

— Ты что капризничаешь? Погляди на меня.

Илья взглянул прямо в глаза, но это вышло еще хуже, потому что он спросил:

— За что ты побил меня? Ведь я сказал, что не верю Павлушке.

Артамонов старший ответил не сразу. Он с удивлением видел, что сын каким-то чудом встал вровень с ним, сам поднялся до значительности взрослого или принизил взрослого до себя.

«Не по возрасту обидчив»,— мельком подумал он и встал, говоря поспешно, стремясь скорее помирить сына с собою.

— Я тебя — не больно. Надо учить. Меня отец бил

ой-ёй как! И мать. Конюх, приказчик. Лакей-немец. Еще когда свой бьет — не так обидно, а вот чужой — это горестно. Родная рука — легка!

Шагая по комнате, шесть шагов от двери до окна, он очень торопился кончить эту беседу, почти боясь, что сын спросит еще что-нибудь.

— Наглядишься, наслушаешься ты здесь чего не надо,— бормотал он, не глядя на сына, прижавшегося к спинке кровати.— Учить надо тебя. В губернию надо. Хочешь учиться?

— Хочу.

— Ну, вот...

Хотелось приласкать сына, но этому что-то мешало. И он не мог вспомнить: ласкали его отец и мать после того, как, бывало, обидят?

— Ну, иди, гуляй. Да ты бы не дружился с Пашкой-то.

— Его никто не любит.

— И не за что, такого гнилого.

Сойдя к себе, стоя пред окном, Артамонов задумался: нехорошо у него вышло с сыном.

«Избаловал я его. Не боится он».

Со стороны поселка протекал пестрый шумок, визг и песни девиц, глухой говор, скрежет гармоники. У ворот четко прозвучали слова Тихона:

— Что ж ты дома, дитя? Гулянье, а ты — дома? Учиться поедешь? Это хорошо. «Неученый — что нерожёный», вот как говорят. Ну, мне без тебя скушно будет, дитя.

Артамонову захотелось крикнуть:

«Врешь, это мне будет скучно! Ишь, ластится к хозяйскому сыну, подлая душа»,— подумал он со злостью.

Отправив сына в город, к брату попа Глеба, учителю, который должен был приготовить Илью в гимназию, Петр действительно почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада; к синеватому огоньку ее Петр до того привык, что в бесконечные ночи просыпался, если огонек почему-нибудь угасал.

Перед отъездом Илья так озорничал, как будто намеренно хотел оставить о себе дурную память; нагрубил матери до того, что она расплакалась, выпустил из клеток всех птиц Якова, а дрозда, обещанного ему, подарил Никонову.

— Ты что ж это как озоруешь? — спросил отец, но Илья, не ответив, только голову склонил набок, и Артамонову показалось, что сын дразнит его, снова напоминая о том, что он хотел забыть. Странно было ощущать, как много места в душе занимает этот маленький человек.

«Неужто отец тоже вот так беспокоился за меня?»

Память уверенно отвечала, что он никогда не чувствовал в своем отце близкого, любимого человека, а только строгого хозяина, который гораздо более внимательно относился к Алексею, чем к нему.

«Что ж я, добрее отца?» — спрашивал себя Артамонов и недоумевал, не зная — добрый он или злой? Думы мешали ему, внезапно возникая в неудобные часы, нападая во время работы. Дело шумно росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало постоянно напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье — деловые думы разрывались, как гнилая, перепревшая основа, и нужно было большое усилие, чтоб вновь связать их тугими узлами. Он пытался заполнить пустоту, образованную отсутствием Ильи, усилив внимание к младшему сыну, и с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его.

— Тятя, купи мне козла, — просил Яков; он всегда чего-нибудь просил.

— Зачем козла?

— Я буду верхом кататься.

— Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят.

— А Еленка подарила мне книжку с картинками, так там на козле мальчик хороший...

Отец думал:

«Илья картинке не поверил бы. Он бы сейчас пристал: расскажи про ведьму».

Не нравилось ему, что Яков, сам раздразнив фабричных ребятишек, жаловался:

— Обижают.

Старший сын тоже забияка и драчун, но он никогда ни на кого не жаловался, хотя нередко бывал битым товарищами в поселке, а этот труслив, ленив, всегда что-то сосет, жует. Иногда в поступках Якова замечалось что-то непонятное и как будто нехорошее: за чаем мать, наливая ему молока, задела рукавом кофты стакан и, опрокинув его, обожглась кипятком.

— А я видел, что прольешь, — широко улыбаясь, похвастался Яков.

— Видел, а — молчал; это нехорошо,— заметил отец.— Вот мать ноги обварила.

Мигая и посапывая, Яков продолжал безмолвно жевать, а через несколько дней отец услышал, что он говорит кому-то на дворе, захлебываясь словами:

— Я видел, что он его бить хочет; идет, идет, подошел, да сзади ка-ак даст!

Выглянув в окно, Артамонов увидел, что сын, размахивая кулаком, возбужденно беседует с дрянненьким Павлушкой Никоновым. Он позвал Якова, запретил ему дружить с Никоновым, хотел сказать что-то поучительное, но, взглянув в сиреневые белки с какими-то очень светлыми зрачками, вздохнув, отстранил сына:

— Иди, пустоглазый...

Осторожно, как по скользкому, Яков пошел, прижав локти к бокам, держа ладони вытянутыми, точно нес на них что-то неудобное, тяжелое.

«Неуклюж. Глуповат»,— решил отец.

В дочери, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила лежать, читая книжки, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо отщипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху; поджимала туго налитые кровью, очень красные губы и часто, не подобающим девчонке тоном, говорила матери:

— Теперь так не делают. Это уже вышло из моды.

Когда отец сказал ей: «Ты что же, ученая, не взглянешь, как тебе на рубахи полотно ткут?» — она ответила:

— Пожалуйста.

Надела праздничное платье, взяла зонтик, подарок дяди Алексея, и, покорно шагая вслед за отцом, внимательно следила: не задеть бы платьем за что-нибудь. Несколько раз чихнула, а когда рабочие желали ей доброго здоровья, она, краснея, молча, без улыбки на лице, важно надутом, кивала им головою. Отец рассказывал ей о работе, но, скоро заметив, что она смотрит не на станки, а под ноги себе, замолчал, почувствовав себя обиженным равнодушием дочери к его хлопотливому делу. Выйдя из ткацкой на двор, он все-таки спросил:

— Ну что?

— Пыльно очень,— ответила она, осматривая свое платье.

— Немного видела,— усмехнулся Петр и с досадой закричал:

— Да что ты все подол поднимаешь? Двор чистый, а подол и так короток.

Она испуганно отняла два пальчика, которыми поддерживала юбку, и сказала виновато:

— Маслом очень пахнет.

Его особенно раздражали эти ее два пальчика, и Артамонов ворчал:

— Гляди, двумя-то пальцами немного возьмешь!

В ненастный день, когда она читала, лежа на диване, отец, присев к ней, осведомился, что она читает?

— Об одном докторе.

— Так. Наука, значит.

Но заглянув в книгу, возмутился.

— Что же ты врешь? Это — стихи. Разве науку стихами пишут?

Торопливо и путано она рассказала какую-то сказку: бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к доктору черта. Дергая себя за ухо, Артамонов добросовестно старался понять смысл этой сказки, но было смешно и досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном, это мешало понимать.

— Доктор — пьяница был?

Он видел, что его вопрос сконфузил Елену, и, уже не слушая ее пояснений, сказал, сердясь:

— Путаница какая-то. Басня. Доктора в чертей не верят. Откуда у тебя книга?

— Механик дал.

Петр вспомнил, как иногда Елена задумчиво смотрит серыми глазами кошки на что-то впереди себя, и нашел нужным предупредить дочь:

— Коптев тебе не пара, ты с ним не очень хихикай.

Да, Елена и Яков были скучнее, серей Ильи, он все лучше видел это. И не заметил, как постепенно на месте любви к сыну у него зародилась ненависть к Павлу Никонову. Встречая хилого мальчика, он думал:

«Из-за такого паршивца...»

Мальчик был физически противен ему. Ходил Никонов согнув спину, его голова тревожно вертелась на тонкой шее; даже когда мальчик бежал, Артамонову казалось, что он крадется, как трусливый жулик. Он много работал, чистил сапоги и платье вотчима, колол и носил дрова, воду, таскал из кухни ведра помой, полоскал в реке пеленки своего брата. Хлопотливый, как воробей, грязненький, оборванный, он заискивающе улыбался всем какой-то

собачьей улыбкой, а видя Артамонова, еще издали кланялся ему, сгибая гусиную шею, роняя голову на грудь. Артамонову почти приятно было видеть мальчика под осенним дождем или зимою, когда Павел колол дрова и грел дыханием озябшие пальцы, стоя, как гусь, на одной ноге, поджимая другую, с которой сползал растоптанный, дырявый сапог. Он кашлял, хватаясь синими лапками за грудь, извиваясь штопором.

Узнав, что мальчик держит на чердаке бани две пары голубей, Артамонов приказал Тихону выпустить птиц и следить, чтоб мальчишка не лазил на чердак.

— Упадет с крыши, разобьется. Вон какой он гнилой.

Как-то вечером, войдя в контору, он увидал, что этот мальчик выскабливает с пола ножом и смывает мокрой тряпкой пролитые чернила.

— Кто пролил?

— Отец.

— А не ты?

— Ей-богу — не я!

— А отчего морда оплакана?

Стоя на коленях, подставив голову под удар, Павел не ответил, тогда Артамонов, придавив его взглядом, удовлетворенно сказал:

— Так тебе и надо.

Но вдруг, на минуту прозрев, он усмехнулся в бороду, почувствовав, как ребячлива и смешна эта неприязнь к ничтожному мальчишке.

«Эко, чем забавляюсь!» — снисходительно подумал он и бросил на пол тяжелый медный пятак.

— На, купи себе пряников.

Мальчик так осторожно протянул грязные косточки своих пальцев к монете, точно боялся, что медь обожжет.

— Бьет тебя вотчим?

— Да.

— Ну, что ж? Всех бьют,— утешил Артамонов. А через несколько дней Яков пожаловался, что Павлушка чем-то обидел его, и Артамонов старший, не веря сыну, уже только по привычке, посоветовал конторщику:

— Ты пори пасынка.

— Я порю-с,— почтительно уверил Никонов.

Летом, когда Илья приехал на каникулы, незнакомо одетый, гладко остриженный и еще более лобастый,— Артамонов острее невзлюбил Павла, видя, что сын упрямо продолжает дружиться с этим отрепышем, хиляком. Сам

Илья тоже стал нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в карманы, держался в доме гостем, дразнил брата, доводя его до припадков слезливого отчаяния, раздражал чем-то сестру так, что она швыряла в него книгами, и вообще вел себя сорванцом.

— Я говорила! — жаловалась Наталья мужу.— И все говорят: ученье ведет к дерзости.

Артамонов молчал, тревожно наблюдая за сыном, ему казалось, что хотя Илья озорничает много, но как-то невесело, нарочно. На крыше бани снова явились голуби, они, воркуя, ходили по коньку, а Илья и Павел, сидя у трубы, часами оживленно болтали о чем-то, если не гоняли голубей. Еще в первые дни по приезде сына отец предложил ему:

— Ну, рассказывай, как живешь; я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь.

Илья очень кратко и торопливо рассказал что-то неинтересное о том, как мальчики дразнят учителей.

— А зачем дразнить?

— Надоедают,— объяснил Илья.

— Так. Это будто неладно. Учиться трудно?

— Нет, легко.

— Врешь?

— Посмотрите отметки,— сказал Илья, дернув плечом, а глаза его пристально смотрели в сад, в небо. Отец спросил:

— Чего ты там видишь?

— Ястреб.

Артамонов старший вздохнул.

— Ну, беги, гуляй. Скучно со мной, видать.

Оставшись один, он вспомнил, что и ему в детстве почти всегда было или скучно или боязно, когда отец говорил с ним.

— Учителей дразнит. Мне эдакое и в лоб не влетало, когда дьячок учил меня ременной плетью. Для детей житьишко будто мягче стало.

Пред отъездом в город Илья попросил — это была его единственная просьба:

— Папаша, позвольте Павлу держать голубей на чердаке, в бане...

Ничего не обещая, отец сказал:

— Всех, кому плохо, не утешишь.

— Значит — можно,— решил сын.— Я скажу ему — обрадуется.

Артамонов старший был обижен тем, что сын, заботясь о радостях какого-то дрянненького мальчишки, не позаботился, не сумел внести немножко радости в жизнь отца. И после отъезда сына он почувствовал себя одержимым еще более настойчивой неприязнью к пасынку конторщика. Теперь стало так, что, когда дома, на фабрике или в городе Артамонов раздражался чем-нибудь,— в центр всех его раздражений самовольно вторгался оборванный, грязненький мальчик и как будто приглашал вешать на его жидкие кости все злые мысли, все недобрые чувства. Вот этот мальчишка действительно рос, как плесень, как вечерняя тень, и, мелькая вороватым чертенком, все чаще попадался на глаза.

В ласковый день бабьего лета Артамонов, усталый и сердитый, вышел в сад. Вечерело; в зеленоватом небе, чисто выметенном ветром, вымытом дождями, таяло, не грея, утомленное солнце осени. В углу сада возился Тихон Вялов, сгребая граблями опавшие листья, печальный, мягкий шорох плыл по саду; за деревьями ворчала фабрика, серый дым лениво пачкал прозрачность воздуха. Чтоб не видеть дворника, не говорить с ним, хозяин прошел в противоположный угол сада, к бане; дверь в нее была не притворена.

«Этот — там».

Осторожно заглянув в предбанник, он увидал в углу его, в тени, на лавке распластанную фигурку своего врага,— склонив голову, широко раздвинув ноги, он занимался детским грехом. Это на секунду обрадовало Артамонова, но тотчас же он вспомнил о Якове, Илье и в испуге, с отвращением, зашипел:

— Ты что делаешь, паршивый?

Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась, он весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого человека,—Артамонов с наслаждением ударил его правой ногою в грудь и остановил; мальчик хрустнул, слабо замычал, опрокинулся на бок.

Был момент, когда Артамонову показалось, что этим пинком ноги он сбросил с души своей какие-то грязные лохмотья, тяжесть, надоевшую ему. Но в следующую минуту он, выглянув в сад, прислушался, притворил дверь и, наклонясь, сказал негромко:

— Ну, вставай, идем!

Мальчик лежал, выбросив одну руку вперед, другую

придавив коленом, одна нога его казалось намного короче другой, он как бы незаметно подползал к Петру, и вытянутая рука его была неестественно, страшно длинна. Пошатнувшись, Артамонов схватился рукою за косяк, снял картуз и подкладкой его вытер внезапно и обильно вспотевший лоб.

— Вставай, я никому не скажу,— сказал он шепотом, уже понимая, что убил мальчика, видя, что из-под щеки его, прижатой к полу, тянется, извиваясь, лента темненькой крови.

«Убил»,— мысленно произнес Петр. Немудрое, коротенькое слово звучало оглушительно. Артамонов сунул картуз в карман поддевки, перекрестился, тупо глядя на маленькое жалобно скорченное тело; испуганно билась нехитрая мысль:

«Скажу, что нечаянно. Дверью ушиб. Дверью. Дверь — тяжелая».

Он повернулся и грузно присел на лавку,— сзади его стоял Тихон с метлою в руках, смотрел жидкими глазами на Никонова и раздумчиво чесал каменную скулу свою.

— Вот,— громко начал Артамонов, держась руками за край лавки, но Тихон, качнув головою, перебил его:

— Слабый мальчонко, неловок. Сколько раз я увещал его — не лазь!

— Чего?— со страхом, но и с надеждой спросил Петр.

— Разобьешься, говорю. И ты, Петр Ильич, предвещал это, помнишь? Всякая охота требует ловкости. Без памяти, что ли?

Присев на корточки, дворник пощупал руку Павла, шею, потрогал пальцем щеку, и, отирая палец о фартук, шаркая им, точно спичку зажигал, он сказал:

— Пожалуй — совсем отошел. Гниленький был, много ли надо?

Говорил Тихон спокойно, двигался медленно и весь был такой, как всегда, но хозяин не верил ему и ждал каких-то грозных, осуждающих слов. Однако Тихон, взглянув на потолок в квадрат, вырезанный в нем, послушав воркованье голубей, снова заговорил спокойно и просто:

— Он по двери лазил; одну ногу поставит на лавку, другую на скобу двери, потом на верх ее, оттуда схватится руками за край и подтянется на руках-то. А ручонки — без силы, вот и сорвался да, видать, об угол двери сердцем и угодил.

— Я этого не видал,— сказал Петр. Чувство самосохранения подсказывало ему быстренькие догадки:

«Врет? Фальшивит? Капкан ставит мне, в руки взять хочет? Или в самом деле не догадался, дурак?»

Последнее было вероятнее. Тихон вел себя глупо: качнув головою, точно ударив лбом кого-то, он вздохнул:

— Эх, соринка! И зачем такие? Пойду, скажу матери. Вотчим, поди-ко, не больно горевать станет, мальчонко был лишний ему.

Артамонов очень подозрительно вслушивался в слова дворника, пытаясь уловить в них фальшь, но Тихон говорил, как всегда тоном человека, чуждого любопытству.

— Чу!— сказал он, пошевелив бровями, прислушиваясь: где-то на дворе женщина сердито кричала:

— Пашка! Пашка-а...

Тихон погладил скулу.

— Вот те и Пашка! Готовь слезы...

«Нет,— дурак»,— решил Артамонов и, вытащив из кармана картуз, пошел в сад, внимательно рассматривая сломанный козырек.

Недели две, три он прожил, чувствуя, что в нем ходит, раскачивает его волна темного страха, угрожая ежедневно новой, неведомой бедою. Вот сейчас откроется дверь, влезет Тихон и скажет:

«Ну, я, конечно, знаю...»

Но внешне все шло хорошо; все отнеслись к смерти мальчика деловито и просто, покорные привычке родить и хоронить. Никонов повязал желтую шею свою новым, черным галстуком, и на смытом лице его явилась скромная важность, точно он получил награду, давно заслуженную им. Мать убитого, высокая, тощая, с лошадиным лицом, молча, без слез, торопилась схоронить сына,— так казалось Артамонову; она все оправляла кисейный рюш в изголовье гроба, передвигала венчик на синем лбу трупа, осторожно вдавливала пальцами новенькие, рыжие копейки, прикрывавшие глаза его, и как-то нелепо быстро крестилась. Петр подметил, что рука у нее до того устала, что за панихидой мать дважды не могла поднять руку,— поднимет, а рука опускается, как сломанная.

Да, с этой стороны все обошлось гладко; Никоновы даже многословно и надоедливо благодарили за пособие на похороны, хотя Артамонов, опасаясь возбудить излишней щедростью подозрения Тихона, дал немного. Ему все-таки не верилось, что дворник так глуп, каким он показал

себя там, в бане. Вот уже второй раз баня выдвигает этого человека на первое место, все глубже втискивая его в жизнь Петра. Это — странно и жутко. Артамонов даже думал, что баню надо поджечь или сломать, распилить на дрова, кстати она уже стара и гниет. Надо построить другую и на ином месте.

Зорко наблюдая за Тихоном, он видел, что дворник живет все так же, как-то нехотя, из милости и против воли своей; так же малоречив; с рабочими груб, как полицейский, они его не любят; с бабами он особенно, брезгливо груб, только с Натальей говорит как-то особенно, точно она не хозяйка, а родственница его, тетка или старшая сестра.

— Ты что больно ласкова с Тихоном?— не раз допытывался он, жена отвечала:

— Уж очень он прижился к нам.

Если б дворник имел друзей, ходил куда-нибудь,— можно было бы думать, что он сектант; за последние года появилось много разных сектантов. Но приятелей у Тихона, кроме Серафима-плотника, не было, он охотно посещал церковь, молился истово, он всегда почему-то некрасиво открыв рот, точно готовясь закричать. Порою, взглянув в мерцающие глаза дворника, Артамонов хмурился, ему казалось, что в этих жидких глазах затаена угроза, он ощущал желание схватить мужика за ворот, встряхнуть его:

«Ну, говори!»

Но зрачки Тихона таяли, расплывались, и каменное спокойствие его скуластого лица подавляло тревогу Петра. Когда был жив Антон-дурак, он нередко торчал в сторожке дворника или, по вечерам, сидел с ним у ворот на скамье, и Тихон допрашивал безумного:

— Ты не болтай зря, ты подумай и объясни: куятыр — это кто?

— Каямас,— радостно взвизгивал Антон и запевал:

Хиристос воскиресе, воскиресе...

— Постой!

Кибитка потерял колесо...

— Чего ты добиваешься?— спросил Артамонов с досадой, непонятной ему.

— Чтобы слова нечеловечьи объяснил.

— Да это — дураковы слова!

— И у дурака свой разум должен быть,— глупо сказал Тихон.

Вообще говорить с ним не стоило. Как-то бессонной, воющей ночью Артамонов почувствовал, что не в силах носить мертвую тяжесть на душе, и, разбудив жену, сказал ей о случае с мальчиком Никоновым. Наталья, молча мигая сонными глазами, выслушала его и сказала, зевнув:

— А я забываю сны.

Но вдруг — встрепенулась.

— Ох, боюсь, как бы Яша не занялся этим!

— Чем?— удивленно спросил муж, а когда она ощутимо объяснила ему, чего боится, он подумал, с досадой дергая себя за ухо:

«Напрасно говорил».

В эту ночь, под шорох и свист метели, он, вместе с углубившимся сознанием своего одиночества, придумал нечто, освещающее убийство, объясняющее его: он убил испорченного мальчика, опасного товарища Илье, по силе любви своей к сыну, из страха за него. Это вносило в темную ненависть к мальчику Никонову понятную причину, это несколько облегчало. Но хотелось совершенно избавиться от этой тяжести, свалить ее на чьи-то другие плечи. Он пригласил попа Глеба, желая поговорить о грехе необычном не на исповеди, во время покаяния в обычных грехах.

Тощий, сутулый поп пришел вечером, тихонько сел в угол; он всегда засовывал длинное тело свое глубоко в углы, где потемнее, тесней; он как будто прятался от стыда. Его фигура в старенькой темной рясе почти сливалась с темной кожей кресла, на сумрачном фоне тускло выступало только пятно лица его; стеклянной пылью блестели на волосах висков капельки растаявшего снега, и, как всегда, он зажал реденькую, но длинную бороду свою в костлявый кулак.

Не решаясь начать беседу с главного, Артамонов заговорил о том, как быстро портится народ, раздражая своей ленью, пьянством, распутством; говорить об этом стало скучно, он замолчал, шагая по комнате. Тогда из сумрачного угла потекла речь попа, очень похожая на жалобу.

— Никто не заботится о народе, сам же он духовно заботиться о себе не привык, не умеет. Образованные люди... впрочем,— не решусь осуждать, да и мало у нас образованных людей. И не вживаются они, знаете, в обыкновен-

ную жизнь, в народное. Хотя желают многого, но — не главного. Их на бунт влечет, а отсюда гонение власти на них. И вообще все как-то не налаживается у нас. Вот только единый голос все громче слышен в суетном шуме, обращен к совести мира и властно стремится пробудить ее, это голос некоего графа Толстого, философа и литератора. Замечательнейший человек, речь его смела до дерзости, но так как... тут, видите, задета православная церковь...

Он долго рассказывал о Льве Толстом, и хотя это было не совсем понятно Артамонову, однако вздыхающий голос попа, истекая из сумрака тихим ручьем и рисуя почти сказочную фигуру необыкновенного человека, отводил Артамонова от самого себя. Не забывая о том, зачем он пригласил священника, Петр постепено поддавался чувству жалости к нему. Он знал, что бедняки города смотрят на Глеба как на блаженного за то, что этот поп не жаден, ласков со всеми, хорошо служит в церкви и особенно трогательно отпевает покойников. Все это Артамонов считал естественным,— таков и должен быть поп. Его симпатия к священнику была вызвана общей нелюбовью городского духовенства и лучших людей ко Глебу. Но духовный пастырь должен быть суров, он обязан знать и говорить особенные, пронзающие слова, обязан возбуждать страх пред грехом, отвращение ко греху. Артамонов знал, что такой силой Глеб не обладает, и, слушая его неуверенную речь, слова которой колебались, видимо, боясь кого-то обидеть, он вдруг сказал:

— Я тебя, отец Глеб, для того потревожил, чтоб известить: в этом году я говеть не стану.

— Что ж так?— задумчиво спросил поп и, не дождавшись ответа, сказал:— Отвечаете пред совестью своей.

Артамонову послышалось, что Глеб произнес эти слова так же бессердечно, как говорил дворник Тихон. По бедности своей поп не носил галош, с его тяжелых мужицких сапог натекли лужи талого снега, он шлепал подошвами по лужам и все говорил, жалуясь, но не осуждая:

— Смотришь на происходящее, и лишь одно утешает: зло жизни, возрастая, собирается воедино, как бы для того, чтоб легче было преодолеть его силу. Всегда так наблюдал я: появляется малый стерженек зла и затем на него, как на веретено нитка, нарастает все больше и больше злого. Рассеянное преодолеть — трудно, соединенное же возможно отсечь мечом справедливости сразу...

Эти слова остались в памяти Артамонова, он услыхал в них нечто утешительное: стерженек — это Павел, ведь к нему, бывало, стекались все темные мысли, он притягивал их. И снова, в этот час, он подумал, что некоторую долю его греха справедливо будет отнести на счет сына. Облегченно вздохнув, он пригласил попа к чаю.

В столовой было светло, уютно, теплый воздух ее насыщен вкусными запахами; на столе, благодушно пофыркивая паром, кипел самовар; теща, сидя в кресле, приятно пела четырехлетней внучке:

Святая молонья
Раздала дары своя:
Апостолу Петру —
Ему летнюю жару;
Угоднику Николе —
На морях, озерах волю;
А пророку Илие —
Золотое копие...

— Языческое,— сказал поп, присаживаясь к столу, и виновато усмехнулся.

В спальне жена говорила Петру:

— Алексей воротился, видела я его. Он все больше с ума сходит по Москве. Ох, боюсь я...

Летом на белой шее и румяном, отшлифованном лице Натальи явились какие-то красненькие точки; мелкие, как уколы иголки, они все-таки мешали ей, и дважды в неделю, перед сном, она усердно втирала в кожу щек мазь медового цвета. Этим делом она и занималась, сидя перед зеркалом, двигая голыми локтями; под рубахой тяжело колыхались шары ее грудей. Петр лежал в постели, закинув руки под голову, бородою в потолок, искоса смотрел на жену и находил, что она похожа на какую-то машину, а от ее мази пахнет вареной севрюгой. Когда Наталья, помолясь убедительным шепотом, легла в постель и, по честной привычке здорового тела, предложила себя мужу, он притворился спящим.

«Стерженек,— думал он.— Вот и я — веретено. Верчусь. А кто прядет? Тихон сказал: человек прядет, а черт дерюгу ткет. Экая несуразная морда!»

Раздуваемое Алексеем дело все шире расползалось по песчаным холмам над рекою; они потеряли свою золотистую окраску, исчезал серебряный блеск слюды, угасали острые искорки кварца, песок утаптывался; с каждым годом, веснами, на нем все обильнее разрастались, ярче

зеленели сорные травы, на тропах уже подорожник прижимал свой лист; лопух развешивал большие уши; вокруг фабрики деревья сада сеяли цветень; осенний лист, изгнивая, удобрял жиреющий песок. Фабрика все громче ворчала, дышала тревогами и заботами, жужжали сотни веретен, шептали станки; целый день, задыхаясь, пыхтели машины, над фабрикой непрерывно кружился озабоченный трудовой гул; приятно было сознавать себя хозяином всего этого, даже до удивления, до гордости приятно.

Но порою, и все чаще, Артамоновым овладевала усталость, он вспоминал свои детские годы, деревню, спокойную, чистую речку Рать, широкие дали, простую жизнь мужиков. Тогда он чувствовал, что его схватили и вертят невидимые, цепкие руки, целодневный шум, наполняя голову, не оставлял в ней места никаким иным мыслям, кроме тех, которые внушались делом, курчавый дым фабричной трубы темнил все вокруг унынием и скукой.

В часы и дни такого настроения ему особенно не нравились рабочие; казалось, что они становятся всё слабосильнее, теряют мужицкую выносливость, заразились бабьей раздражительностью, не в меру обидчивы, дерзко огрызаются. В них явилось что-то бесхозяйственное, неустойчивое; раньше, при отце, они жили семейнее, дружней, не так много пьянствовали, не так бесстыдно распутничали, а теперь все спуталось, люди стали бойчее и даже как будто умней, но небрежнее к работе, злее друг к другу и все нехорошо, жуликовато присматриваются, примериваются. Особенно озорниковатой и непочтительной становилась молодежь, молодых фабрика очень быстро делала совершенно непохожими на мужиков.

Кочегара Волкова пришлось отправить в губернию, в дом умалишенных, а всего лишь пять лет тому назад он, погорелец, красивый, здоровый, явился на фабрику вместе с бойкой женою. Через год жена его загуляла, он стал бить ее, вогнал в чахотку, и вот уж обоих нет. Таких случаев быстрого сгорания людей Артамонов наблюдал не мало. За пять лет было четыре убийства, два — в драке, одно из мести, а один пожилой ткач зарезал девку-шпульницу из ревности. Часто дрались до крови, до серьезных поранений.

На Алексея все это, видимо, не действовало. Брат становился непонятней. В нем было что-то общее с чистеньким, шутливым плотником Серафимом, который одина-

ково весело и ловко делал ребятишкам дудки, самострелы и сколачивал для них гроба. Ястребиные глаза Алексея сверкали уверенностью, что все идет хорошо и впредь будет хорошо идти. Уже три могилы было у него на кладбище; твердо, цепко жил только Мирон, некрасиво, наскоро слаженный из длинных костей и хрящей, весь скрипучий, щелкающий. У него была привычка ломать себе пальцы так, что они громко хрустели. В тринадцать лет он уже носил очки, это сделало немножко короче его длинный, птичий нос и притемнило неприятно светлые глаза. Ходил этот мальчик всегда с какой-нибудь книгой в руке, защемив в ней палец так, что казалось — книга приросла к нему. С отцом и матерью он говорил, как равный, даже и не говорил, а рассуждал. Им это нравилось, а Петр, определенно чувствуя, что племянник не любит его, платил ему тем же.

В доме Алексея все было несерьезно, несолидно; Артамонов старший видел, что разница между его жизнью и жизнью брата почти такова, как между монастырем и ярмарочным балаганом. В городе у Алексея и жены его приятелей не было, но в его тесных комнатах, похожих на чуланы, набитые ошарканными, старыми вещами, собирались по праздникам люди сомнительного достоинства: золотозубый фабричный доктор Яковлев, человек насмешливый и злой; крикливый техник Коптев, пьяница и картежник; учитель Мирона, студент, которому полиция запретила учиться; его курносая жена курила папиросы, играла на гитаре. Бывали и еще какие-то обломки людей, все они одинаково дерзко ругали попов, начальство, и было ясно, что каждый из них считает себя отличнейшим умником. Артамонов всем существом своим чувствовал, что это — не настоящие люди, и не понимал, зачем они брату, хозяину половины большого, важного дела? Слушая их крики, он вспоминал жалобу попа:

«Желают многого, но — не главного».

Он не спрашивал себя,— в чем и где это главное, он знал, что главное — в деле.

Любимцем брата был, видимо, крикливый цыган Коптев; он казался пьяным, в нем было что-то напористое и даже как будто умное, он чаще всех говорил:

— Все это пустяки, философия! Промышленность — вот! Техника.

Но в Коптеве Артамонов старший подозревал что-то еретическое, разрушительное.

— Опасный парень,— сказал он брату; Алексей удивился:

— Коптев? Что ты? Это — молодчина, деловик, вол, умница! Таких бы тысячи!

И, усмехаясь, прибавил:

— Будь у меня дочь, я бы его женил, цепью приковал бы к делу!

Петр угрюмо отошел от него. Если не играли в карты, он одиноко сидел в кресле, излюбленном им, широком и мягком, как постель; смотрел на людей, дергая себя за ухо, и, не желая соглашаться ни с кем из них, хотел бы спорить со всеми; спорить хотелось не только потому, что все эти люди не замечали его, старшего в деле, но еще и по другим каким-то основаниям. Эти основания были неясны ему, говорить он не умел и лишь изредка, натужно, вставлял свое слово:

— А вот поп Глеб рассказывал мне про одного графа...

Коптев немедленно лаял на него:

— Какое вам дело до графа, вам, вам? Граф этот — последний вздох деревенской России...

Он кричал и непочтительно тыкал пальцем в сторону Петра, а все остальные, слушая его, тоже становились похожими на цыган, бездомное, бродячее племя.

«Моль,— думал Петр.— Дармоеды».

Однажды он сказал:

— Это неправильно говорится: «Дело — не медведь, в лес не уйдет». Дело и есть медведь, уходить ему незачем, оно облапило и держит. Дело человеку — барин.

— Вот, вот,— залаял Коптев.— Где так скажут? Кто так скажет? Вот она — опасность!

А брат Алексей насмешливо спросил:

— Ты что же — у Тихона мысли занимаешь?

Это очень рассердило Петра, и дома он сказал жене:

— Ты гляди за Еленой, около нее цыган этот, Коптев, вьется. Алексей мирволит ему. Елена — кусок жирный, не для такого. Присматривай ей жениха.

— Какие тут женихи для нее,— озабоченно заговорила Наталья.— Женихов надо в губернии искать. Да и рано бы...

— Гляди — ранят,— усмехнулся Артамонов и этим вызвал у жены игривый хохоток.

Когда ему давалось выскользнуть на краткое время, выломиться из ограниченного круга забот о фабрике, он снова чувствовал себя в густом тумане неприязни к людям,

недовольства собою. Было только одно светлое пятно — любовь к сыну, но и эта любовь покрылась тенью мальчика Никонова или ушла глубже под тяжестью убийства. Глядя на Илью, он иногда ощущал потребность сказать ему:

«Вот что я сделал из страха за тебя».

Разум его был недостаточно хитер и не мог скрыть, что страх явился за секунду до убийства, но Пётр понимал, что только этот страх и может, хоть немного, оправдать его. Однако, разговаривая с Ильей, он боялся даже вспоминать о его товарище, боялся случайно проговориться о преступлении, которому он хотел придать облик подвига.

Он видел, что сын растет быстро, но как-то в сторону. Илья становился спокойнее, с матерью говорил мягче, не дразнил Якова, тоже гимназиста, любил возиться с младшей сестрой Татьяной, над Еленой необидно посмеивался, но во всем, что он говорил, был заметен какой-то озабоченный, вдумчивый холодок. Павла Никонова заменил Мирон, братья почти не разлучались, неистощимо разговаривая о чем-то, размахивая руками; вместе учились, читали, сидя в саду, в беседке. Илья почти не жил дома, мелькнет утром за чаем и уходит в город к дяде или в лес с Мироном и вихрастым, черненьким Горицветовым; этот маленький, пронырливый мальчишка, колючий, как репейник, ходил виляющей походкой, его глаза были насмешливо вывихнутыми и казались косыми.

— Охота тебе дружиться с таким жиденком,— брезгливо заметила Наталья сыну; Петр Артамонов увидал, что тонко вычерченные брови сына дрогнули.

— Жиденок — обидное слово, мамаша. Вы знаете, что Александр — племянник нашего священника Глеба, значит — русский. В гимназии — он первый...

Мать пренебрежительно фыркнула:

— Жиды везде на первое место лезут.

— Откуда вы знаете это?— не уступал сын.— В городе — четыре еврея, все бедные, кроме аптекаря.

— Да сорок жиденят. И в Воргороде везде жиды, и на ярмарке...

С обидной настойчивостью Илья повторил:

— Жиды — плохое слово.

Тогда мать, стукнув чайной ложкой по блюдечку, закричала, краснея:

— Да что ты меня учишь? Не знаю я, что ли, как надо говорить? Я — не слепая, я вижу, как подхалим этот

ко всем, даже к Тихону, ластится: вот я и говорю: ласков, как жиденок, а ласковые — опасные. Знала я такого, ласкового...

— Довольно!— строго вмешался Петр, а она, готовая заплакать, жаловалась:

— Что уж это, Петр Ильич, слова нельзя сказать!

Илья замолчал, нахмурясь, а мать напомнила ему:

— Ведь я тебя родила.

— Благодарю,— сказал Илья, отодвигая пустую чашку; отец искоса взглянул на него и усмехнулся, дернув себя за ухо.

В словах жены он слышал, что она боится сына, как раньше боялась керосиновых ламп, а недавно начала бояться затейливого кофейника, подарка Ольги: ей казалось, что кофейник взорвется. Нечто близкое смешному страху матери пред сыном ощущал пред ним и сам отец. Непонятен был юноша, все трое они непонятны. Что забавное находили они в дворнике Тихоне? Вечерами они сидели с ним у ворот, и Артамонов старший слышал увещевающий голос мужика:

— Это — так. Меньше несешь — легче идешь. А насчет углов — не верьте. Какие углы в небе? Стен в небе нету.

Гимназисты хохотали. Илья смеялся бархатисто, немного, Мирон — сухо и едко, Горицветов же не так охотно, как они, и всегда решительно обрывал смех свой, убеждая друзей:

— Подождите, это вовсе не смешно!

И снова ленивенько гудела темная речь Тихона:

— Вы, дети, про человека больше учитесь, как вообще человек. Кто к чему назначен, какая кому судьба? Вот о чем колдовать надо. Слова тоже. Слова надо понимать насквозь. Вот вы, часто,— тот, другой — говорите: конечно, круглое словцо. А конца-то и нет ничему!

И Тихон Вялов повторял знакомую Петру свою поговорку:

— Человек — нитку прядет, черт — дерюгу ткет, так оно, без конца, и идет.

Молодежь хохотала, густо смеялся и Тихон, вздыхал:

— Эх вы, ученые, недопеченые!

В сумраке вечера дети становились меньше, незначительнее, чем они были при свете солнца, а Тихон распухал, расползался и говорил еще глупее, чем днем.

Беседы Ильи с Тихоном, укрепляя неприязнь Артамо-

нова к дворнику, внушали ему какие-то неясные опасения. Он спрашивал сына:

— Чем тебя Тихон занимает?

— Интересный человек.

— Да чем интересен? Глупостью своей?

Илья тихо ответил:

— И глупость понимать надо.

Ответ понравился Артамонову.

— Это — верно: в глупости живем.

Но он тотчас же сообразил:

«Тихоновы слова!»

Сын возбуждал в нем какие-то особенные надежды; когда он видел, как Илья, сунув руки в карманы, посвистывая тихонько, смотрит из окна во двор на рабочих, или не торопясь идет по ткацкой, или, легким шагом, в поселок, отец удовлетворительно думал:

«Зоркий хозяин будет. И в дело войдет не так, как я: впрягли и — повез!»

Было несколько обидно, что сын неразговорчив, а если говорит, то кратко, как бы заранее обдуманными словами, они не возбуждают желания продолжать беседу.

«Суховат»,— думал Артамонов и утешал себя тем, что Илья выгодно не похож на крикливого болтуна Горицветова, на вялого, ленивого Якова и на Мирона, который, быстро теряя юношеское, говорил книжно, становился заносчив и похож на чиновника, который знает, что на каждый случай жизни в книгах есть свой, строгий закон.

Недели каникул пробегали неуловимо быстро, и вот дети уже собираются уезжать. Выходит как-то так, что Наталья напутствует благими советами Якова, а отец говорит Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле? Об этом не говорят с мальчишками.

Артамонову старшему так хотелось испытать что-либо не похожее на обыкновенное, неизбежное, как снег, дождь, грязь, зной, пыль, что, наконец он нашел или выдумал нечто. В глухом лесном углу уезда его захватила в пути июньская гроза с градом, с оглушительным треском грома и синими взрывами туч. По узкой, лесной дороге неразличимо во тьме хлынул поток воды, земля под ногами лошадей растаяла и потекла, заливая колеса шарабана до осей. Жутко было, когда синий, холодный огонь на секунду грозно освещал кипение расплавленной земли, а по бокам

дороги, из мокрой тьмы, сквозь стеклянную сеть дождя, взлетали, подпрыгивая от страха, черные деревья. Невидимые лошади остановились, фыркая, хлюпая копытами по воде, толстый кучер Яким, кроткий человек, ласково и робко успокаивал коней. Град, наполнив лес ледяным шумом, просыпался быстро, но его сменил густой ливень, дробно охлестывая листву миллионами тяжелых капель, наполняя тьму сердитым воем.

— К Поповым надо ехать,— сказал Яким.

И вот Артамонов, одетый в чужое платье, обтянутый им, боясь пошевелиться, сконфуженно сидит, как во сне, у стола, среди теплой комнаты, в сухом, приятном полумраке; шумит никелированный самовар, чай разливает высокая, тонкая женщина, в чалме рыжеватых волос, в темном, широком платье. На ее бледном лице хорошо светятся серые глаза; мягким голосом она очень просто и покорно, не жалуясь, рассказала о недавней смерти мужа, о том, что хочет продать усадьбу и, переехав в город, открыть там прогимназию.

— Это посоветовал мне ваш брат. Интересный он человек, такой живой, самобытный.

Петр завистливо крякнул, присматриваясь ко всему, что окружало его. В молодости, разъезжая с отцом по губернии, он часто бывал в барских домах, но ничего особенного не замечал в них, чувствуя только стеснение от людей и вещей, а в этом доме ничто не стесняло; здесь было что-то ласковое и праведное. Большая лампа под матовым абажуром обливала молочным светом посуду, серебро на столе и гладко причесанную, темную головку маленькой девочки с зеленым козырьком над глазами; пред нею лежала тетрадь, девочка рисовала тонким карандашом и мурлыкала тихонько, не мешая слушать ровную речь матери. Комната невелика, тесно заставлена мебелью, и все вещи точно вросли в нее, но каждая жила отдельно и что-то говорила о себе, так же, как три очень яркие картины на стенах; на картине против Петра белая, сказочная лошадь гордо изогнула шею; грива ее невероятно длинна, почти до земли. Все удивительно уютно, спокойно, и, точно задумчивая песня, как будто издали доходя, звучал красивый голос хозяйки. Вот в таком окружении можно прожить всю жизнь без тревог, не сделав ничего плохого; имея женой такую женщину, можно уважать ее, можно говорить с нею обо всем.

За дверью на террасу, сквозь полукруг разноцветных

стекол, синевато взрывалось, вспыхивало черное небо, уже не пугая душу.

На заре Артамонов уехал, бережно увозя впечатление ласкового покоя, уюта и почти бесплотный образ сероглазой, тихой женщины, которая устроила этот уют. Плывя в шарабане по лужам, которые безразлично отражали и золото солнца и грязные пятна изорванных ветром облаков, он, с печалью и завистью, думал:

«Вот как живут».

Он почему-то не сказал жене о своем знакомстве и скрыл его от Алексея; тем более неловко стало ему через несколько недель, когда, придя к брату, он увидал Попову рядом с Ольгой, на диване; брат толкнул его к дивану:

— Вот, Вера Николаевна, братишко мой.

Женщина, улыбаясь, протянула руку:

— Мы уже знакомы.

— Как это?— удивленно воскликнул Алексей.— Когда это? Ты что же не сказал?

В удивлении брата Петр почувствовал нечто нехорошее, и у него необъяснимо пошевелились волосы бороды; дернув себя за ухо, он ответил:

— Я — забыл.

Алексей, бесстыдно указывая на него пальцем, кричал:

— Смотрите — покраснел, а? Нет, ловко ты ответил, дитятко! Да разве эдакую даму, однажды увидев, можно забыть? Глядите — уши у него чешутся, растут!

Попова улыбалась необидно, ласково.

Пили мед со льдом из высоких, граненых бокалов; мед привезла в подарок Ольге эта женщина, он был золотист, как янтарь, весело пощипывал язык, подсказывал Петру какие-то очень бойкие слова, но их некуда было вставить, брат непрерывно и беспокойно трещал:

— Нет, Вера Николаевна, вы не торопитесь продавать! Это надо продать любителю тишины, это — место для отдыха души. А наш брат — что вам даст? Земли у вас нет, лесу — мало, да и — плохой, да и кому, кроме зайцев, лес нужен здесь?

Петр сказал:

— Продавать не надо.

— Почему же?— спросила Попова, задумчиво прихлебывая мед, и вздохнула:— Надо.

Петру не понравился внимательный взгляд Ольги и трепет ее губ, спрятавших улыбку: он мрачно выпил мед и промолчал в ответ Поповой.

Через два дня, в конторе, Алексей объявил ему, что намерен дать Поповой денег под заклад вещей.

— Усадьбе ее цена — семь целковых, а вот вещи...

— Не давай,— сказал Петр очень решительно.

— Почему? Я вещам цену знаю...

— Не давай.

— Да — почему? — кричал Алексей.— Я — со знатоком приеду к ней, с оценщиком.

Петр отрицательно мотал головою; ему очень хотелось отговорить брата от этой операции, но, не находя возражений, он вдруг предложил:

— Пополам дадим; ты — половину и я.

Алексей усмехнулся, глядя на него в упор.

— Чудить начинаешь?

— Значит — пора пришла,— сказал Петр Артамонов громко.

— Смотри: не в тот адрес! — предупредил брат.— Я — пробовал, она — рыба.

После двух-трех встреч с Поповой Артамонов выучился мечтать о ней. Он ставил эту женщину рядом с собою, и тотчас же возникала пред ним жизнь удивительно легкая, уютная, красивая внешне, приятно тихая внутренно, без необходимости ежедневно видеть десятки нерадивых к делу людей; всегда чем-то недовольные, они то кричали, жаловались, то лгали, стараясь обмануть, их назойливая лесть раздражала так же, как плохо скрытая, но все растущая враждебность. Легко создавалась картина жизни вне всего этого, вдали от красного, жирного паука фабрики, все шире ткавшего свою паутину. Он видел себя чем-то, подобным большому коту; ему тепло и спокойно, хозяйка любит его, охотно ласкает, и больше ему ничего не нужно. Ничего.

Как раньше мальчик Никонов был для него темной точкой, вокруг которой собиралось все тяжелое и неприятное, так теперь Попова стала магнитом, который притягивал к себе только хорошие, легкие думы и намерения. Он отказался ехать с братом и каким-то хитрым старичком в очках в усадьбу Поповой, оценивать ее имущество, но, когда Алексей, устроив дело с закладной, воротился, он предложил:

— Продай мне закладную.

Алексей был непонятно изумлен, долго выспрашивал, зачем это нужно, и наконец сказал:

— Послушай, мне это не выгодно! Заплатить ей —

нечем, цена вещам — большая, понимаешь? Давай придачи!

Сторговались; Алексей, морщась, сказал:

— Желаю удачи. Дело — доброе.

Петр тоже чувствовал, что им сделано хорошее дело: он подарил себе угол для отдыха.

— Жене твоей — не говорить? — спросил брат, подмигнув.

— Твое дело.

Испытующе глядя на него, Алексей сказал:

— Ольга думает, что влюбился ты в Попову.

— А это — мое дело.

— Не рычи. В эти, в наши годы, почти все мужчины шалят.

Грубо и сердито Петр ответил:

— Ты меня не трогай...

Вскоре он почувствовал, что Ольга стала говорить с ним еще более дружелюбно, но как-то жалостливо; это не понравилось ему, и, осенним вечером, сидя у нее, он спросил:

— Тебе муж плел чего-нибудь насчет Поповой?

Погладив легкой рукой своей его волосатую руку, она сказала:

— Дальше меня это не пойдет.

— Оно никуда не пойдет,— сказал Артамонов, стукнув кулаком по колену.— Оно — со мной останется. Тебе этого не понять. Ты ей не говори ничего.

Он не испытывал вожделения к Поповой, в мечтах она являлась пред ним не женщиной, которую он желал, а необходимым дополнением к ласковому уюту дома, к хорошей, праведной жизни. Но когда эта женщина переехала в город, он стал часто видеть ее у Алексея и вдруг почувствовал себя ошеломленным. Он увидал ее у постели заболевшей Ольги; засучив рукава кофты, наклонясь над тазом, она смачивала водою полотенце, сгибалась, разгибалась; удивительно стройная, с небольшими девичьими грудями, она была неотразимо соблазнительна. Стоя у двери, Артамонов молча, исподлобья смотрел на ее белые руки, на тугие икры ног, на бедра, вдруг окутанный жарким туманом желания до того, что почувствовал ее руки вокруг своего тела. В ответ на ее приветствие он, с трудом согнув шею, прошел к окну и сел там, отдуваясь, угрюмо спрашивая:

— Что же ты это, Ольга? Нехорошо...

Впервые женщина действовала на него так властно и сокрушительно; он даже испугался, смутно ощущая в этом нечто опасное, угрожающее. Послав своего кучера за доктором, он тотчас ушел пешком по дороге на фабрику.

Был конец февраля; оттепель угрожала вьюгой; серенький туман висел над землею, скрывая небо, сузив пространство до размеров опрокинутой над Артамоновым чаши; из нее медленно сыпалась серая, холодная пыль; тяжело оседая на волосах усов, бороды, она мешала дышать. Артамонов, шагая по рыхлому снегу, чувствовал себя так же смятым и раздавленным, как в ночь покушения Никиты на самоубийство и в час убийства Павла Никонова. Сходство тяжести этих двух моментов было ясно ему и тем более опасным казался третий. Было ясно, что он никогда не сумеет сделать эту барыню любовницей своей. Он уже и в этот час видел, что внезапно вспыхнувшее влечение к Поповой ломает и темнит в нем что-то милое ему, отодвигая эту женщину в ряд обычного. Он слишком хорошо знал, что такое жена, и у него не было причин думать, что любовница может быть чем-то или как-то лучше женщины, чьи пресные обязательные ласки почти уже не возбуждали его.

«Чего надо?— спрашивал он себя.— Блудить хочешь? Жена есть».

Всегда в часы, когда ему угрожало что-нибудь, он ощущал напряженное стремление как можно скорей перешагнуть через опасность, оставить ее сзади себя и не оглядываться назад. Стоять пред чем-то угрожающим — это то же, что стоять ночью во тьме на рыхлом, весеннем льду, над глубокой рекою; этот ужас он испытал, будучи подростком, и всем телом помнил его.

Через несколько дней, прожитых в тяжелом, чадном отупении, он, после бессонной ночи, рано утром вышел на двор и увидел, что цепная собака Тулун лежит на снегу, в крови; было еще так сумрачно, что кровь казалась черной, как смола. Он пошевелил ногою мохнатый труп, Тулун тоже пошевелил оскаленной мордой и взглянул выкатившимся глазом на ногу человека. Вздрогнув, Артамонов отворил низенькую дверь сторожки дворника, спросил, стоя на пороге:

— Кто убил собаку?

— Я,— сказал Тихон, держа блюдечко чая на пяти растопыренных пальцах.

— Зачем это?

— Опять человека укусила.
— Кого?
— Зинаиду, Серафимову дочь.
Задумавшись о чем-то, помолчав, Петр сказал:
— Жалко пса.
— А — как же? Я его вскормил. А он и на меня стал рычать. Положим, и человек сбесится, если его на цепь посадить...
— Верно,— сказал Артамонов и ушел, очень плотно прикрыв дверь за собой, думая:
«Иной раз даже этот разумно говорит».
Он постоял среди двора, прислушиваясь к шороху и гулу фабрики. В дальнем углу светилось желтое пятно — огонь в окне квартиры Серафима, пристроенной к стене конюшни. Артамонов пошел на огонь, заглянул в окно,— Зинаида в одной рубахе сидела у стола, пред лампой, что-то ковыряя иглой; когда он вошел в комнату, она, не поднимая головы, спросила:
— Зачем вернулся?
Но, вскинув глаза, бросила шитье на стол, встала улыбаясь, вскрикнув.
— Ой, господи! А я думала — отец...
— Тебя, слышь, Тулун укусил?
— Да ведь как!— точно хвастаясь, сказала она и, поставив ногу на стул, приподняла подол рубахи:— Глядите-ко!
Артамонов мельком взглянул на белую ногу, перевязанную под коленом, и подошел вплоть к девице, спрашивая глухо:
— А ты зачем, на заре, по двору бегаешь? Зачем, а?
Вопросительно взглянув в лицо его, она тотчас же догадливо усмехнулась, сильно дунув в стекло лампы, погасила ее и сказала:
— Дверь надобно запереть.
Через полчаса Петр Артамонов не торопясь шел на фабрику, приятно опустошенный; дергал себя за ухо, поплевывал, с изумлением вспоминая бесстыдство ласк шпульницы и усмехался: ему казалось, что он кого-то очень ловко обманул, обошел...
Он вломился в разгульную жизнь фабричных девиц, как медведь на пасеку. Вначале эта жизнь, превышая все, что он слышал о ней, поразила его задорной наготою слов и чувств; все в ней было развязано, показывалось с вызывающим бесстыдством, об этом бесстыдстве пели и

плакали песни, Зинаида и подруги ее называли его — любовь, и было в нем что-то острое, горьковатое, опьяняющее сильнее вина.

Артамонов знал, что служащие фабрики называют прислонившуюся к стене конюшни хижину Серафима «Капкан», а Зинаиде дали прозвище Насос. Сам плотник называл жилище свое «Монастырем». Сидя на скамье, около печи, всегда с гуслями на расшитом полотенце, перекинутом через плечо, за шею, он, бойко вскидывая кудрявую головку, играя розовым личиком, подмигивал, покрикивал:

— Веселись, монашенки! Ведь это, Петр Ильич, монахини, ты что думаешь? Они веселому черту послух несут, а я у них — настоятель, вроде попа, звонкие косточки! Кинь рублик на веселье жизни!

Получив деньги, он совал их за онучу и разудало пел, подыгрывая на гуслях:

Сидит барыня в аду,
Просит жареного льду.
Черти ее, глупую,
Кочергою щупают!

— Много прибауток знаешь ты,— удивлялся хозяин, а старичок хвастливо балагурил:

— Сито!— Я — как сито; какую хошь дрянь насыпь в меня, я тебе песню отсею. Такой я человек — сито!

И рассказывал:

— Меня этому господа выучили; были такие замечательные господа Кутузовы, и был господин Япушкин, тоже пьяница. Притворялся бедным,— хитрый!— ходил пешком с коробом за плечами, будто мелочью торговал, а сам все, что видит, слышит,— записывал. Писал, писал, да — к царю: гляди, говорит, твое величество, о чем наши мужики думают! Поглядел царь, почитал записи, смутился душой и велел дать мужикам волю, а Япушкину поставить в Москве медный памятник, самого же его — не трогать, а сослать живого в Суздаль и поить вином, сколько хочет, на казенный счет. Потому, видишь, что Япушкин еще много записал тайностей про народ, ну только они были царю не выгодны и требовалось их скрыть. Там, в Суздали, Япушкин спился до смерти, а записи у него, конечно, выкрали.

— Врешь ты что-то,— заметил Артамонов.

— Кроме девок — никогда, никому не врал, это не

мое рукомесло,— говорил старик, и трудно было понять, когда он не шутит.

— Врет кто правду знает,— балагурил он,— а я врать не могу, я правды не знаю. То есть, ежели хочешь,— я тебе скажу: я правды множество видел, и мой куплет таков: правда — баба, хороша, покамест молода.

Но, не зная правды, он знал бесконечно много историй о господах, о их забавах и несчастиях, о жестокости и богатстве и, рассказывая об этом, добавлял всегда с явным сожалением:

— Ну, однако им — конец! С точки жизни съехали, сами себя не понимают! Сорвались...

Он писал пальцем круг над своей головой и, быстро опустив руку, чертил такой же круг над полом.

— Зашалились!— говорил он, подмигивая, и пел:

Жили-были господа,
Кушали телятину.
И проели господа
Худобишку тятину!

Рассказывал Серафим о разбойниках и ведьмах, о мужицких бунтах, о роковой любви, о том, как ночами к неутешным вдовам летают огненные змеи, и обо всем он говорил так занятно, что даже неуемная дочь его слушала эти сказки молча, с задумчивой жадностью ребенка.

В Зинаиде Артамонов брезгливо наблюдал соединение яростного распутства с расчетливой деловитостью. Он не однажды вспоминал клевету Павла Никонова,— клевету, которая оказалась пророчеством.

«Почему — эту выбрал я?— спрашивал он себя.— Есть — красивее. Хорош буду, когда сын узнает про нее».

Он замечал также, что Зинаида и подруги ее относятся к своим забавам, точно к неизбежной повинности, как солдаты к службе, и порою думал, что бесстыдством своим они тоже обманывают и себя и еще кого-то. Его скоро стала отталкивать от Зинаиды ее назойливая жадность к деньгам, попрошайничество; это было выражено в ней более резко, чем у Серафима, который тратил деньги на сладкое вино «Тенериф»,— он почему-то называл его «репным вином»,— на любимую им колбасу с чесноком, мармелад и сдобные булки.

Артамонову очень нравился легкий, забавный старичок, искусный работник, он знал, что Серафим также нравится всем, на фабрике его звали — Утешитель, и Петр видел,

что в этом прозвище правды было больше, чем насмешки, а насмешка звучала ласково.

Тем более непонятна и неприятна была ему дружба Серафима с Тихоном, Тихон же как будто нарочно углублял эту неприязнь. День именин Вялова на двадцатом году его службы у Артамоновых Наталья решила сделать особенно торжественным днем для именинника.

— Подумай, какой он редкий человек! — сказала она мужу.— За двадцать лет ничего худого не видели мы от него. Как восковая свеча теплится.

Желая особенно почтить дворника, Петр сам понес ему подарки. В сторожке его встретил нарядный Серафим, за ним стоял Тихон, наклонив голову, глядя на сапоги хозяина.

— От меня тебе — часы, на! От жены — сукно на поддевку. И вот еще — деньги.

— Деньги — лишние,— пробормотал Тихон, потом сказал:

— Спасибо.

Он пригласил хозяина выпить «Тенерифа», подаренного Серафимом, а старичок тотчас же заиграл словами:

— Ты, Петр Ильич, нам цену знаешь, а мы — тебе. Мы понимаем: медведь любит мед, а кузнец железо кует; господа для нас медведи были, а ты — кузнец. Мы видим: дело у тебя большое, трудное.

Тут Вялов, вертя в пальцах серебряные часы, сказал, глядя на них:

— Дело — перила человеку; по краю ямы ходим, за них держимся.

— Вот! — закричал Серафим, чему-то радуясь.— Верно! А то бы упали, значит!

— Ну, это вы говорите зря,— сказал Артамонов.— Потому что вы не хозяева. Вам — не понять...

Он не находил достаточно сильных возражений, хотя слова Тихона сразу рассердили его. Не впервые Тихон одевал ими свою упрямую, темную мысль, и она все более раздражала хозяина. Глядя на обильно смазанную маслом, каменную голову дворника, он искал подавляющих слов и сопел, дергая ухо.

— Дела, конечно, разные,— примирительно заговорил Серафим: — есть — плохие, есть — хорошие...

— Хорош нож, да горлу невтерпеж,— проворчал Тихон.

Хозяину захотелось крепко обругать именинника, и, едва сдержав это желание, он строго спросил:

— Что ты, как всегда, неразумно бормочешь о деле? Понять нельзя...

Тихон, глядя под стол, согласился:

— Понять — трудно.

Снова заговорил плотник:

— Он, Петр Ильич, только безобидные дела признает...

— Постой, Серафим, пускай он сам скажет.

Тогда Тихон, не шевелясь, показывая хозяину серую, в ладонь величиной, лысину на макушке, вздохнул:

— Делам черт Каина обучил...

— Вот он как загибает! — крикнул Серафим, ударив себя ладонью по колену.

Артамонов встал со стула и сердито посоветовал дворнику:

— Ты бы лучше не говорил о том, чего тебе не понять. Да.

Он ушел из сторожки возмущенный, думая о том, что Тихона следует рассчитать. Завтра же и рассчитать бы. Ну — не завтра, а через неделю. В конторе его ожидала Попова. Она поздоровалась сухо, как незнакомая, садясь на стул, ударила зонтиком в пол и заговорила о том, что не может уплатить сразу все проценты по закладной.

— Это пустяки, — тихо сказал Петр, не глядя на нее, и услыхал ее слова:

— Если вы не согласны отсрочить, — за вами право отказать мне.

Она сказала это обиженно и, вновь стукнув зонтиком, ушла так неожиданно быстро, что он успел взглянуть на нее лишь тогда, когда она притворяла дверь за собою.

«Рассердилась, — сообразил Артамонов. — За что же?»

Через час он сидел у Ольги, хлопая фуражкой по дивану, и говорил:

— Ты ей скажи: мне процентов не надо и денег не надо с нее. Какие это деньги? И чтобы она не беспокоилась, понимаешь?

Разбирая пестрые мотки шелка, передвигая по столу коробочки с бисером, Ольга сказала задумчиво:

— Я-то понимаю, а она едва ли поймет.

— А ты сделай так, чтоб она. Что мне ты?

— Спасибо, — сказала Ольга, блеснув очками, эта стеклянная улыбка вызвала у Петра раздражение.

— Не шути! — грубовато сказал он. — Мою свинью

в ее огороде я не надеюсь пасти, не ищу этого,— не думай!

— Ох, мужик,— вздохнув, сказала Ольга, сомнительно качая гладко причесанной головою.

Петр крикнул:

— Ты — верь! Я знаю, что говорю...

— Ох, знаешь ли?

Охала она сочувственно, это Артамонов слышал. Он видел, что глаза ее смотрят на него через очки жалобно, почти нежно, но это только сердило его. Он хотел сказать ей нечто убедительно ясное и не находил нужных слов, глядя на подоконник, где среди мясистых листьев бегоний, похожих на звериные уши, висели изящные кисти цветов.

— Мне усадьбу ее жалко. Это замечательная усадьба, да! Она там — родилась...

— Родилась она в Рязани...

— Она там привыкла, все равно! А у меня там душа первый раз спокойно уснула...

— Проснулась,— поправила Ольга.

— Это — все равно для души — уснула, проснулась...

Он долго говорил что-то, что самому ему было неясно, Ольга слушала, облокотясь на стол, а когда у него иссякли слова, сказала:

— Теперь послушай меня...

И поведала ему, что Наталья, зная о его возне со шпульницей, обижена, плачет, жалуется на него. Но Артамонова не тронуло это.

— Хитрая,— сказал он, усмехаясь:— Ни словом не дала мне понять, что знает. Тебе жаловалась? Так. А ведь она тебя не любит.

Подумав, он добавил:

— Зинаиду прозвали Насос, это — верно! Она из меня всю дрянь высосала.

— Гадости говоришь,— поморщилась Ольга и вздохнула.— Помнится, я тебе сказала как-то, что душа у тебя — приемыш, так и есть, Петр, боишься ты сам себя, как врага...

Эти слова задели его:

— Дерзко ты говоришь со мной; мальчишка я, что ли? Ты бы вот о чем подумала: вот, я говорю с тобой, и душа моя открыта, а больше мне не с кем говорить этак-то. С Натальей — не разговоришься. Мне ее иной раз бить хочется. А ты... Эх вы, бабы!..

Он надел фуражку и, внезапно охваченный немой

скукой, ушел, думая о жене,— он давно уж не думал о ней, почти не замечал ее, хотя она, каждую ночь, пошептавшись с богом, заученно ласково укладывалась под бок мужа.

«Знает, а лезет,— гневно думал он.— Свинья».

Жена была знакомой тропою, по которой Петр, и ослепнув, прошел бы не споткнувшись; думать о ней не хотелось. Но он вспомнил, что теща, медленно умиравшая в кресле, вся распухнув, с безобразно раздутым, багровым лицом, смотрит на него все более враждебно; из ее когда-то красивых, а теперь тусклых и мокрых глаз жалобно текут слезы; искривленные губы шевелятся, но отнявшийся язык немо вываливается изо рта, бессилен сказать что-либо; Ульяна Баймакова затискивает его пальцами полуживой, левой руки.

«Эта — чувствует. Ее жалко».

Ему все-таки нужно было большое усилие воли, чтоб прекратить бесстыдную возню с Зинаидой. Но как только он сделал это,— тотчас же, рядом с похмельными воспоминаниями о шпульнице, явились какие-то ноющие думы. Как будто родился еще другой Петр Артамонов, он жил рядом с первым, шел за спиной его. Он чувствовал, что этот двойник растет, становится ощутимей и мешает ему во всем, что он, Петр Артамонов настоящий, призван и должен делать. Этот, другой, ловко пользуясь минутами внезапно, как ветер из-за угла, налетевшей задумчивости, нашептывал ему досадные, едкие мысли:

«Работаешь, как лошадь, а — зачем? Сыт на всю жизнь. Пора сыну работать. От любви к сыну — мальчишку убил. Барыня понравилась — распутничать начал».

Всегда, после того как скользнет такая мысль, жизнь становилась темней и скучней.

Он как-то не доглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Не одно это событие прошло незаметно; так же незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого парня с черненькими усиками, сына богатого ювелира; так же, между прочим, умерла наконец, задохнулась теща знойным полуднем июня, перед грозою; еще не успели положить ее на кровать, как где-то близко ударил гром, напугав всех.

— Окна, двери закройте!— крикнула Наталья, подняв руки к ушам; огромная нога матери вывалилась из ее рук и глухо стукнула пяткой о пол.

Петру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошел в комнату высокий, стройный человек в серой, легкой паре, с заметными усами на исхудавшем, смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста, был больше похож на себя. Сыновья вежливо поздоровались, сели.

— Вот,— сказал отец, шагая по конторе,— вот и бабушка померла.

Илья промолчал, закуривая папиросу, а Яков выговорил новым, не своим голосом:

— Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал.

Пропустив мимо ушей неумные слова младшего, Артамонов присматривался к лицу Ильи; значительно изменясь, оно окрепло, лоб, прикрытый прядями потемневших волос, стал не так высок, а синие глаза углубились. Было и забавно и как-то неловко вспомнить, что этого задумчивого человека в солидном костюме он трепал за волосы; даже не верилось, что это было. Яков просто вырос, он только увеличился, оставшись таким же пухлым, каким был, с такими же радужными глазами. И рот у него был еще детский.

— Сильно вырос ты, Илья,— сказал отец.— Ну, вот, присматривайся к делу, а годика через три и к рулю встанешь.

Играя корешковой папиросницей, с отбитым уголком, Илья взглянул в лицо отца:

— Нет, я буду учиться еще.

— Долго ли?

— Года четыре, пять.

— Эко! Чему это?

— Истории.

Артамонову не понравилось, что сын курит, да и папиросница у него плохая, мог бы купить лучше. Ему еще более не понравилось намерение Ильи учиться и то, что он сразу, в первые же минуты, заговорил об этом.

Указав в окно, на крышу фабрики, где фыркала паром тонкая трубка и откуда притекал ворчливый гул работы, он сказал внушительно, стараясь говорить мягко:

— Вот она пыхтит, история! Ей и надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история — дело не наше. Мне пятьдесят, пора меня сменить.

— Мирон сменит, Яков. Мирон будет инженером,— сказал Илья и, высунув руку за окно, стряхнул пепел папиросы. Отец напомнил:

— Мирон — племянник, а не сын. Ну, об этом после поговорим...

Дети встали, ушли, отец проводил их обиженным и удивленным взглядом; что же — у них нечего сказать ему? Посидели пять минут, один, выговорив глупость, сонно зевнул, другой — надымил табаком и сразу огорчил. Вот они идут по двору, слышен голос Ильи:

— Пойдем, посмотрим на реку?

— Нет, я устал. Растрясло.

«Река и завтра не утечет, а мать огорчена смертью родительницы своей, захлопоталась на похоронах».

Подчиняясь своей привычке спешить навстречу неприятному, чтоб скорее оттолкнуть его от себя, обойти, Петр Артамонов дал сыну неделю отдыха и приметил за это время, что Илья говорит с рабочими на «вы», а по ночам долго о чем-то беседует с Тихоном и Серафимом, сидя с ними у ворот; даже подслушал из окна, как Тихон мертвеньким голосом своим выливал дурацкие слова:

— Так так! Жить нищим,— значит не с чем жить. Верно, Илья Петрович, если не жадовать — на всех всего хватит.

А Серафим весело кудахтал:

— Это я знаю! Это я да-авно слышал...

Яков вел себя понятнее: бегал по корпусам, ласково поглядывал на девиц, смотрел с крыши конюшни на реку, когда там, в обеденное время, купались женщины.

«Бычок,— хмуро думал отец.— Надо сказать Серафиму, чтоб присмотрел за ним, не заразился бы...»

Во вторник день был серенький, задумчивый и тихий. Рано утром, с час времени, на землю падал, скупо и лениво, мелкий дождь, к полудню выглянуло солнце, неохотно посмотрело на фабрику, на клин двух рек и укрылось в серых облаках, зарывшись в пухлую мякоть их, как Наталья, ночами, зарывала румяное лицо свое в пуховые подушки.

Пред вечерним чаем Артамонов спросил Якова:

— А где брат?

— Не знаю; сидел там на холме, под сосной.

— Позови. Нет, не надо. Как вы — согласно живете?

Ему показалось, что младший сын едва заметно усмехнулся, говоря:

— Ничего, дружно.

— А — все-таки? Правду говори...

Яков опустил глаза, подумал:

— В мыслях — не очень согласны.

— В каких мыслях?

— Вообще, обо всем.

— В чем же?

— Он все по книгам, а я — просто, от ума. Как вижу.

— Так,— сказал отец, не умея спросить более подробно.

Накинул на плечи парусиновое пальто, взял подарок Алексея, палку с набалдашником — серебряная птичья лапа держит малахитовый шар — и, выйдя за ворота, посмотрел из-под ладони к реке на холм,— там под деревом лежал Илья в белой рубахе.

«А песок сегодня сыроват. Простудиться может, неосторожный».

Не спеша, честно взвешивая тяжесть всех слов, какие необходимо сказать сыну, отец пошел к нему, приминая ногами серые былинки, ломко хрустевшие. Сын лежал вверх спиною, читал толстую книгу, постукивая по страницам карандашом; на шорох шагов он гибко изогнул шею, посмотрел на отца и, положив карандаш между страниц книги, громко хлопнул ею; потом — сел, прислонясь спиной к стволу сосны, ласково погладив взглядом лицо отца. Артамонов старший, отдуваясь, тоже присел на обнаженный, дугою выгнутый корень.

«Не буду сегодня говорить о деле, успею еще, поболтаем просто».

Но Илья, обняв колена свои руками, сказал негромко:

— Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке.

— Посвятить,— повторил отец.— Как в попы.

Он хотел сказать шутливо, но услыхал, что слова его прозвучали угрюмо, почти сердито; он, с досадой на себя, ударил палкой по песку. И тотчас началось что-то непонятное, ненужное; синь глаз Ильи потемнела, четко выведенные брови сдвинулись, он откинул волосы со лба и с нехорошей настойчивостью заговорил:

— Фабрикантом я не буду, я для этого дела не способен...

— Эдак-то вот Тихон говорит,— вставил отец, усмехаясь.

Не обратив внимания на его слова, сын начал объяснять, почему он не хочет быть фабрикантом и вообще хозяином какого-либо дела; говорил он долго, минут десять, и порою в словах его отец улавливал как будто нечто верное, даже приятно отвечавшее его смутным

думам, но в общем он ясно видел, что сын говорит неразумно, по-детски.

— Постой,— сказал он, ткнув палкой в песок, около ноги сына.— Погоди, это не так. Это — чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может. Без корысти никто не станет работать. Всегда говорится: «Какая мне корысть?» Все вертятся на это веретено. Гляди, сколько поговорок: «Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша». Или: «И святой барыша ради молится». «Машина — вещь мертвая, а и она смазки просит».

Он говорил не волнуясь и, вспоминая подходящие пословицы, обильно смазывал жиром их мудрости речь свою. Ему нравилось, что он говорит спокойно, не затрудняясь в словах, легко находя их, и он был уверен, что беседа кончится хорошо. Сын молчал, пересыпая песок из горсти в горсть, отсеивал от него рыжие иглы хвои и сдувал их с ладони. Но вдруг он сказал, тоже спокойно:

— Все это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить.

Артамонов старший приподнялся, опираясь на палку, сын не помог ему.

— Так. Значит, отец говорит неправду?

— Есть другая правда.

— Врешь. Другой — нет.

И, махнув палкой в сторону фабрики, отец сказал:

— Вон она, правда! Дедушка твой ее начал, я туда положил всю жизнь, а теперь — твоя очередь. Только и всего. А ты что? Мы — работали, а тебе — гулять? На чужом труде праведником жить хочешь? Не плохо придумал! История! Ты на историю плюнь. История — не девица, на ней не женишься. И — какая там, дура, история? К чему она? А я тебе лейтяйничать не дам...

Почувствовав, что он стал говорить излишне сердито, Петр Артамонов попытался сгладить свои слова:

— Я — понимаю, тебе в Москве жить хочется; там веселее, вот и Алексей...

Илья поднял книгу, сдул с нее песчинки и сказал:

— Разрешите учиться.

— Не разрешаю!— вскрикнул отец, воткнув палку в песок.— Не проси.

Тогда Илья тоже встал и, глядя через плечо отца побелевшими глазами, сказал негромко:

— Ну, что ж, мне придется обойтись без разрешения.

— Не смеешь!

— Нельзя запретить человеку жить, как он хочет,— сказал Илья, тряхнув головою.

— Человеку? Ты — сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе все — мое.

Это вырвалось как-то само собою, этого не надо было говорить. И, смягчив голос, отец сказал, качая головою укоризненно:

— Так-то платишь ты за мои заботы о тебе? Эх, дурень...

Он видел, что Илья покраснел и у него дрожат руки, сын хочет спрятать их в карманы брюк, а руки не находят карманов. И, боясь, что сын скажет что-то лишнее, даже непоправимое, он торопливо сам сказал:

— Ради тебя я человека убил... Может быть...

Артамонов прибавил — может быть — потому, что, сказав первые слова, тотчас понял: их тоже нельзя было говорить в такую минуту мальчишке, который явно не хочет понять его.

«Сейчас спросит: какого человека?» — подумал он и быстро шагнул вниз по сыпучему склону холма, а сын оглушительно сказал в затылок ему:

— Не одного убили вы, вон там целое кладбище убитых фабрикой.

Артамонов остановился, обернулся; Илья, протянув руку, указывал книгой на кресты в сером небе. Песок захрустел под ногами отца, Артамонов вспомнил, что за несколько минут пред этим он уже слышал что-то обидное о фабрике и кладбище. Ему хотелось скрыть свою обмолвку, нужно, чтоб сын забыл о ней, и, по-медвежьи, быстро идя на него, размахивая палкой, стремясь испугать, Артамонов старший крикнул:

— Ты что сказал, подлец?

Илья отскочил за ствол дерева:

— Образумьтесь! Что вы?

Отец ударил палкой по стволу, она переломилась; бросив обломок ее к ногам сына так, что обломок косо, кверху зеленым шаром, воткнулся в песок, Петр Артамонов пригрозил:

— Нужники чистить заставлю!

И быстро пошел, покатился прочь, шатаясь, чувствуя, что разум его снует в словах горя и гнева, как челнок в запутанной основе.

«Выгоню. Нужда заставит — воротится. Тогда — нужники чистить. Да, не дури!» — отрывал он коротенькие

мысли от быстро вертевшегося клубка их и в то же время смутно понимал, что вел себя не так, как следовало, пересолил, раздул обиду свою.

Выйдя на берег Оки, он устало сел на песчаном обрыве, вытер пот с лица и стал смотреть в реку. В маленькой, неглубокой заводи плавала стайка плотвы, точно стальные иглы прошивали воду. Потом, важно разводя плавниками, явился лещ, поплавал, повернулся на бок и, взглянув красненьким глазком вверх, в тусклое небо, пустил по воде светлым дымом текучие кольца.

Артамонов, погрозив лещу пальцем, вслух сказал:

— Я тебе устрою судьбу!

И — оглянулся, услыхав, что слова звучали фальшиво. Спокойное течение реки смывало гнев; тишина, серенькая и теплая, подсказывала мысли, полные тупого изумления. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком двадцать лет непрерывно и тревожно думал, вдруг, в несколько минут, выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов был уверен, что ежедневно, неутомимо все двадцать лет он думал только о сыне, жил надеждами на него, любовью к нему, ждал чего-то необыкновенного от Ильи.

«Как спичка,— вспыхнула, и — нет ее! Что же это?»

Серое небо чуть порозовело; в одном месте его явилось пятно посветлее, напоминая масляный лоск на заношенном сукне. Потом выглянула обломанная луна; стало свежо и сыро; туман легким дымом поплыл над рекой.

Артамонов пришел домой, когда жена, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщась, стригла ногти. Искоса взлянув на мужа, она спросила:

— Ты куда это Илью послал?

— К черту,— ответил он раздеваясь.

— Все сердишься ты,— вздохнула Наталья; муж промолчал, посапывая, возясь нарочито шумно. Дождь начал кропить стекла окон, влажный шепот поплыл по саду.

— Уж очень загордился Илья ученьем.

— У него мать — дура.

Мать втянула носом воздух и, перекрестясь, легла в постель, а Петр, раздеваясь, с наслаждением обижал ее:

— Что ты можешь? Ничего. Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь; есть да спать. Да рожу мазать себе.

Жена сказала в подушку:

— А кто учиться отдавал их? Я говорила...

— Молчи!

Он тоже замолчал, прислушиваясь, как все сильнее падает дождь на листья черемухи, посаженной Никитой.

«Благую долю выбрал горбатый. Ни детей, ни дела. Пчелы. Я бы и пчел не стал разводить, пусть каждый, как хочет, сам себе мед добывает».

Повернувшись вверх грудью так осторожно, как будто она лежала на льду, Наталья дотронулась теплой щекою до плеча мужа.

— Поругался ты с Ильей?

Было стыдно рассказать о том, что произошло у него с сыном; он проворчал:

— С детями — не ругаются, их ругают.

— В город уехал он.

— Воротится. Даром нигде не кормят. Понюхает, как нужда пахнет, и воротится. Спи, не мешай мне.

Через минуту он сказал:

— Якову учиться больше не надо.

И еще через минуту:

— Послезавтра на ярмарку поеду. Слышишь?

— Слышу.

«Что же это такое? — соображал Артамонов, закрыв глаза, но видя пред собою лобастое лицо, вспоминая нестерпимо обидный блеск глаз Ильи. — Как работника, рассчитал отца, подлец! Как нищего оттолкнул...»

Поражала непонятная быстрота разрыва; как будто Илья уже давно решил оторваться. Но — что понудило его на этот поступок? И, вспоминая резкие, осуждающие слова Ильи, Артамонов думал:

«Мирошка, лягавая собака, настроил его. А о том, что дела человеку вредны, это — Тихоновы мысли. Дурак, дурак! Кого слушал? А — учился! Чему же учился? Рабочих ему жалко, а отца не жалко. И бежит прочь, чтобы вырастить в сторонке свою праведность».

От этой мысли обида на Илью вспыхнула еще ярче.

«Нет, врешь, не увильнешь!»

Тут вспомнился Никита, отбежавший в сторону, в тихий угол.

«Все меня впрягают в работу, а сами бегут».

Но Артамонов тотчас же уличил себя; это — неправильно, вот Алексей не убежал, этот любит дело, как любил его отец. Этот — жаден, ненасытно жаден, и все у него ловко, просто. Он вспомнил, как однажды, после пьяной драки на фабрике, сказал брату:

— Портится народ.

— Заметно,— согласился Алексей.

— Злятся все отчего-то. Как будто все смотрят одной парой глаз...

Алексей и с этим согласился; усмехаясь, он сказал:

— И это — верно. Иной раз я вспоминаю, что вот такими же глазами Тихон разглядывал отца, когда тот на твоей свадьбе с солдатами боролся. Потом сам стал бороться. Помнишь?

— Ну, что там Тихон? Это — убогий.

Тогда Алексей заговорил серьезно:

— Ты что-то часто говоришь об этом: портятся люди, портятся. Но ведь это дело не наше; это дело попов, учителей, ну — кого там? Лекарей разных, начальства. Это им наблюдать, чтобы народ не портился, это — их товар, а мы с тобой — покупатели. Все, брат, понемножку портится. Ты вот стареешь, и я тоже. Однако ведь ты не скажешь девке: не живи, девка, старухой будешь!

«Умен, бес,— подумал Артамонов старший.— Просто — умен».

И, слушая бойкую, украшенную какими-то новыми прибаутками речь брата, позавидовал его живости, снова вспомнил о Никите; горбуна отец наметил утешителем, а он запутался в глупом, бабьем деле, и — нет его.

Много передумал в эту дождливую ночь Артамонов старший. Сквозь горечь его размышлений струйкой дыма пробивались еще какие-то другие, чужие мысли, их как будто нашептывал темный шумок дождя, и они мешали ему оправдать себя.

— А в чем я виноват?— спрашивал он кого-то и, хотя не находил ответа, почувствовал, что этот вопрос не лишний. На рассвете он внезапно решил съездить в монастырь к брату; может быть, там, у человека, который живет в стороне от соблазнов и тревог, найдется что-нибудь утешающее и даже решительное.

Но подъезжая на паре почтовых лошадей к монастырю, разбитый тряской по проселочной дороге, он думал:

«Это — просто, в уголке стоять; нет, ты побегай по улице! В погребе огурец не портится, а на солнце — живо гниет».

Он не видел брата уже четыре года; последнее свидание с Никитой было скучно, сухо: Петру показалось, что горбун смущен, недоволен его приездом; он ежился, сжимался, прячась, точно улитка в раковину; говорил кис-

леньким голосом не о боге, не о себе и родных, а только о нуждах монастыря, о богомольцах и бедности народа; говорил нехотя, с явной натугой. Когда Петр предложил ему денег, он сказал тихо и небрежно:

— Настоятелю дай, мне не надо.

Было видно, что все монахи смотрят на отца Никодима почтительно; а настоятель, огромный, костлявый, волосатый и глухой на одно ухо, был похож на лешего, одетого в рясу; глядя в лицо Петра жутким взглядом черных глаз, он сказал излишне громко:

— Отец Никодим — украшение бедной обители нашей.

Монастырь, спрятанный на невысоком пригорке, среди частокола бронзовых сосен, под густыми кронами их, встретил Артамонова будничным звоном жиденьких колоколов, они звали к вечерней службе. Привратник, прямой и длинный, как шест, с маленькой, ненужной, детской головкой, в скуфейке, выгоревшей, измятой, отворив ворота, пробормотал, заикаясь, захлебываясь:

— Д-до-б-бро...

И сразу, со свистом, выдохнул:

— П-пож-жаловать.

Сизо-синяя туча, покрыв половину неба, неподвижно висела над монастырем, он нее все кругом придавлено густой, сыровато душной скукой, медный крик колоколов был бессилен поколебать ее.

— Одному не поднять,— виновато сказал служка гостиницы, попробовав вытащить из кибитки ящик с подарками Никите, и стукнул по ящику маленьким, черным кулаком.

Пыльный и усталый, Петр медленно пошел в сад к белой келье брата, уютно спрятанной среди вишен и яблонь; шел и думал, что напрасно он приехал сюда, лучше бы ехать на ярмарку. Тряская, лесная дорога, перепутанная корневищем, взболтала, смешала все горестные думы, заменив их нудной тоской, желанием отдыха, забытья.

«Кутнуть бы хорошенько».

Он увидел брата сидящим на скамье, в полукружии молодых лип, перед ним, точно на какой-то знакомой картинке, расположилось человек десять богомолов: чернобородый купец в парусиновом пальто, с ногой, обернутой тряпками и засунутой в резиновый ботик; толстый старик, похожий на скопца-меняму; длинноволосый парень в сол-



датской шинели, скуластый, с рыбьими глазами; столбом стоял, как вор пред судьей, дремовский пекарь Мурзин, пьяница и буян, и хрипло говорил:

— Правильно: бог — далеко.

Чертя по утоптанной земле беленьким посошком, не глядя на людей, Никита поучал:

— И чем ниже человек, тем выше от него бог, гонимый смрадом гниения нашего во грехах.

«Утешает» — подумал Артамонов старший и мысленно усмехнулся.

— Бог — видит: бездельно веруем; а без дел вера — на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь? И о чем молим? Все о мелких пустяках. Молиться надобно, а все-таки...

Он поднял глаза, с минуту молча смотрел на брата, пристально, снизу вверх. И медленно, как большую тяжесть, поднимал посох, как бы намереваясь ударить им кого-то. Горбун встал, бессильно опустил голову, осеняя людей крестом, но, вместо молитвы, сказал:

— Вот — братец приехал ко мне.

Безволосый старик, нехорошо округлив медные глаза, посмотрел на Петра и размашисто, с явной нарочитостью, перекрестился.

— Идите с богом,— прибавил Никита.

Люди пошли вразброд, как стадо с пастбища, старик подхватил под локоть купца с больною ногой, пекарь Мурзин взял его под другой локоть.

— Ну, здравствуй. Благослови.

Длинной рукою, окрыленной черным рукавом рясы, отец Никодим отвел протянутые к нему сложенные горстью руки брата и сказал тихо, без радости:

— Не ждал.

Махнув посохом в направлении кельи, он пошел впереди брата, шел толчками, разбрасывая кривые ноги, держа одну руку на груди, у сердца.

— Постарел ты,— смущенно заметил Петр.

— На то живем. Ноги болеть стали. Место наше сырое.

Казалось, что Никита стал еще более горбат; угол его спины и правое плечо приподнялись, согнули тело ближе к земле и, принизив его, сделали шире; монах был похож на паука, которому оторвали голову, и вот он слепо, криво ползет по дорожке, по хряскому щебню. В тесной, чистенькой келье отец Никодим стал побольше, но еще страшней; когда он снял клобук, матово, точно у покойника, блеснул

его полуголый, как бы лишенный кожи, костлявый череп; на висках, за ушами, на затылке повисли неровные пряди серых волос. Лицо у него было тоже костяное, цвета воска; всюду на костях лица не хватало мяса; выцветшие глаза не освещали его, взгляд их, казалось, был сосредоточен на кончике крупного, но дряблого носа, под носом беззвучно шевелились темные полоски иссохших губ, рот стал еще больше, разделял лицо глубокой впадиной, и особенно жутко неприятна была серая плесень волос на верхней губе.

Тихо, точно прислушиваясь к чему-то, и медленно, как бы с трудом вспоминая слова, монах говорил пухлолицему парню келейнику, похожему на банщика:

— Самовар. Хлеба. Меду.

— Как тихо говоришь.

— Зубы выкрошились.

Монах сел к столу в деревянное, окрашенное белой краской кресло.

— Живете?

— Живем.

— Тихон жив?

— Жив. Что ему?

— Давно не был он у меня.

Замолчали. Никита, двигая рукою, шуршал рясой, этот тараканий шорох еще более сгущал скуку Петра.

— Я тебе гостинцев привез. Скажи, чтоб ящик притащили. Там вино есть. Разрешают у вас вино?

Брат, вздохнув, ответил:

— У нас — не строго. У нас — трудно. Даже и пьяницы завелись с той поры, как народ усердно стал посещать обитель. Пьют. Что делать? Дышит мир и отравляет. Монахи — тоже люди.

— Слышал я — к тебе много людей ходят?

— По неразумию это,— сказал монах.— Да, ходят. Кружатся. Праведности ищут, праведника. Указания: как жить? Жили жили, а — вот... Не умеем. Терпенья нет.

Чувствуя, что слова монаха тревожат его, Артамонов старший проворчал:

— Баловство. Крепостное право терпели, а воли не терпят! Слабо взнузданы.

Никита промолчал.

— При господах — не шлялись, не бродяжили.

Горбун мельком взглянул на него и опустил глаза.

Так, с трудом находя слова, прерывая беседу длитель-

ными паузами, они говорили до поры, пока келейник принес самовар, душистый липовый мед и теплый хлеб, от которого еще поднимался хмельной парок. Внимательно смотрели, как белобрысый келейник неуклюже возился на полу, вскрывая крышку ящика. Петр поставил на стол банку свежей икры, две бутылки.

— Портвейн,— прочитал Никита.— Это вино настоятель любит. Умный человек. Много понимает.

— А вот я — мало понимаю,— вызывающе признался Петр.

— Сколько надо — понимаешь и ты, а больше-то — зачем? Больше нужного — понимать вредно.

Монах осторожно вздохнул. В его словах Петру послышалось что-то горькое. Ряса грязно и масляно лоснилась в сумраке, скупо освещенном огоньком лампады в углу и огнем дешевенькой, желтого стекла, лампы на столе. Приметив, с какой расчетливой жадностью брат высосал рюмку мадеры, Петр насмешливо подумал:

«Толк знает».

После каждой рюмки Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хлеба, макал его в мед и не торопясь жевал; тряслась его серая, точно выщипанная бороденка. Незаметно было, чтоб вино охмеляло монаха, но мутноватые глаза его посветлели, оставаясь все так же сосредоточены на кончике носа. Петр пил осторожно, не желая показаться брату пьяным, пил и думал:

«Про Наталью — не спрашивает. И прошлый раз не спросил. Стыдится. Ни о ком не спрашивает. Мирские. А он — праведник. Его — люди ищут».

Сердито шаркнув бородой по жилету, дернув себя за ухо, он сказал:

— Ловко ты укрылся тут. Хорошо.

— Раньше было хорошо, теперь — хуже, богомолов много. Приемы эти...

— Приемы?— Петр усмехнулся.— Как у зубного доктора.

— Хочу перевестись поглуше куда-нибудь,— сказал монах, бережно наливая вино в рюмки.

— Где спокойнее,— добавил Петр и снова усмехнулся, а монах высосал вино, облизал губы темненьким, тряпичным языком и заговорил, качнув костяною головой:

— Очень заметно растет число обеспокоенного народа. Прячутся, скрыться хотят от забот...

— Этого я не вижу,— возразил Петр, зная, что говорит

неправду.— «Это ты спрятался»,— хотелось ему сказать.

— А тревоги, тенью, за ними...

На языке Петра сами собою вспухали слова упреков; ему хотелось спорить, даже прикрикнуть на брата, и думая о сыне, он сказал сердитым голосом:

— Человек сам тревог ищет, сам нужды хочет! Делай свое дело, не форси умом — проживешь спокойно!

Но брат, должно быть, не слышал его слов, оглушенный своими мыслями; он вдруг тряхнул угловатым телом, точно просыпаясь; ряса потекла с него черными струйками, кривя губы, он заговорил очень внятно и тоже как будто сердясь:

— Приходят, просят: научи! А — что я знаю, чему научу? Я человек не мудрый. Меня — настоятель выдумал. Сам я — ничего не знаю, как неправильно осужденный. Осудили: учи! А — за что осудили?

«Намекает,— сообразил Артамонов старший.— Жаловаться хочет».

Он понимал, что у Никиты есть причины жаловаться на его судьбу, он и раньше, посещая его, ожидал этих жалоб. И, подергав себя за ухо, он внушительно предупредил брата:

— На судьбу многие жалуются, только это — ни к чему.

— Так; довольных — не заметно,— сказал горбун, прицеливаясь глазами в угол, на огонь лампады.

— А тебе еще покойник-родитель наказывал: утешай! Будь утешителем.

Никита усмешливо растянул рот, собрал серую бородку свою в горсть и стер ею усмешку, продолжая сеять в сумрак слова, которые, толкая Петра, возбуждали в нем и любопытство и настороженное ожидание опасного.

— Они тут внушают мне и людям, будто я мудрый; это, конечно, ради выгоды обители, для приманки людей. А для меня — это должность трудная. Это, брат, строгое дело! Чем утешать-то? Терпите, говорю. А — вижу: терпеть надоело всем. Надейтесь, говорю. А на что надеяться? Богом не утешаются. Тут ходит пекарь...

— Это — наш, Мурзин, пьяница он,— сказал Артамонов старший, желая отвести, оттолкнуть что-то.

— Он уже мнит себя судьей богу, для него уж бог миру не хозяин. Теперь таких, дерзких, немало. Тут еще безбородый один,— заметил ты? Это — злой человек,

этот всему миру недруг. Приходят, пытают. Что им скажешь? Они затем приходят, чтобы смущать.

Монах говорил все живее. Вспоминая, каким видел он брата в прежние посещения, Петр заметил, что глаза Никиты мигают не так виновато, как прежде. Раньше ощущение горбуном своей виновности успокаивало — виноватому жаловаться не надлежит. А теперь вот он жалуется. заявляет, что неправильно осужден. И старший Артамонов боялся, что брат скажет ему:

«Это меня осудил ты!»

Нахмурясь, играя цепочкой часов, он подыскивал слова самозащиты.

— Да,— говорил горбун, и казалось, что втайне он доволен тем, на что жалуется.— Люди все назойливее, мысли у них дерзкие. Недавно жил у нас, недели две, ученый, молодой еще, но как будто не в себе, испуганный человек. Настоятель внушает мне: «Ты, говорит, укрепи его простотой твоей, ты, говорит, скажи ему вот что и вот как». А я на чужие мысли не памятлив. Он, ученый-то, часами из меня жилы тянул, говорит и говорит, а я даже слов его не понимаю, не то что мысли. «Дьявола, говорит, владыкой плоти нашей нельзя признать, это будет двоебожие и оскорбление тела Христова, коему причащаемся: «Тело Христово приимите, источника бессмертного ядите». Богохулит: «Пусть, говорит, будет бог с рогами, но чтобы — один, иначе невозможно жить». Замучил он меня, забыл я все наущения отца Феодора, кричу: «Плоть твоя — видоизменение, а дух — уничтожение». Настоятель после ругал меня: «Что ты, говорит, какую кощунственную бессмыслицу сболтнул?» Да, вот как...

Рассказ показался Петру смешным и, выставив брата в жалком виде, несколько успокоил Артамонова старшего.

— О боге — трудно говорить,— проворчал он.

— Трудно,— согласился отец Никодим и спросил масляно, горько:— Помнишь, отец учил: мы — люди чернорабочие, высока для нас премудрость эта?

— Помню.

— Да. Отец Феодор внушает: «Читай книги!» Я — читаю, а книга для меня, как дальний лес, шумит невнятно. Сегодняшнему дню книга не отвечает. Теперь возникли такие мысли — их книгой не покроешь. Сектант пошел отовсюду. Люди рассуждают, как сны рассказывают, или — с похмелья. Вот — Мурзин этот...

Монах выпил портвейна, пожевал хлеба и, скатав мя-

киш в небольшой шарик, стал гонять его пальцем по столу, продолжая:

— Отец Феодор говорит: «Вся беда — от разума; дьявол разжег его злой собакой, дразнит, и собака лает на все зря». Может быть, это и правда, а — согласиться обидно. Тут есть доктор, простой человек, веселый, он иначе думает: разум — дитя, ему всё — игрушки, всё — забавно; он хочет доглядеть, как устроено и то, и это, и что внутри. Ну, конечно, ломает...

— Пожалуй — опасно ты говоришь,— заметил Петр. Слова брата снова тревожно толкали, раскачивали его, удивляя и пугая своей неожиданностью, остротой. Ему снова захотелось подавить Никиту, принизить его.

«Напился монах» — пробовал он успокоить себя.

В келье стало душно, стоял кисленький запах углей и лампадного масла, запах, гасивший мысли Петра. На маленьком, черном квадрате окна торчали листья какого-то растения, неподвижные, они казались железными. А брат, похожий на паука, тихо и настойчиво плел свою паутину.

— Все мысли — опасны. Особенно — простые. Возьми Тихона.

— Полуумный.

— Нет, напрасно! У него разум — строгий. Я вначале даже боялся говорить с ним,— и хочется, а — боюсь! А когда отец помер — Тихон очень подвинул меня к себе. Ты ведь не так любил отца, как я. Тебя и Алексея не обидела эта несправедливая смерть, а Тихона обидела. Я ведь тогда не на монахиню рассердился за глупость ее, а на бога, и Тихон сразу приметил это. «Вот, говорит, комар живет, а человек...»

— Бредишь ты! — строго заметил Петр.— Выпил лишнее. Какая монахиня?

Никита настойчиво продолжал:

— Тихон говорит: если бог миру хозяин, так дожди должны идти вовремя, как полезно хлебу и людям. И не все пожары — от человека; леса — молния зажигает. И зачем было Каину грешить, на смерть нашу? На что богу уродство всякое; горбатые, например, на что ему?

«Ага, вот оно что!» — подумал Петр, усмехаясь в бороду, чувствуя, что жалобы брата на бога очень успокаивают его; это хорошо, что монах не жалуется на родных.

— Каина — нельзя понять. Этим Тихон меня, как на цепь приковал. Со дня смерти отца у меня и началось.

Я думал: уйду в монастырь — погаснет. А — нет. Так и живу в этих мыслях.

— Прежде ты об этом молчал...

— Всего сразу не скажешь. Да, я бы, может, всю жизнь молчал, но — богомольцы мешают. Совесть тревожат. И — опасно, вдруг выскользнет Тихоново в моих-то речах? Нет, он человек умный, хоть, может, я и не люблю его. Он и про тебя думает: вот, говорит, трудился человек для детей, а дети ему чужие...

— Это еще что? — сердито спросил Петр.— Что он может знать?

— Знает. Дело, говорит, обман...

— Слышал я... Его, дурака, прогнать нужно, да — много знает он о семейном, нашем...

Артамонов сказал это, желая напомнить Никите о тягостной ночи, когда Тихон вынул его из петли, но думая о мальчике Никонове. Монах не понял намека; он поднес рюмку ко рту, окунул язык в вино и, облизав губы, продолжал жестяными словами:

— Тихона тоже обидел кто-то, он и оторвался от всех, как разоренный...

Нужно было отвести монаха от этих мыслей.

— Что ж ты теперь, не веришь, что ли, в бога-то? — спросил он и удивился: он хотел спросить ядовито, а вышло как-то не так.

— Трудно понять, кто теперь верит,— не сразу ответил монах.— Думают все — много, а веры не заметно. Думать-то не надо, если веришь. Этот, который о боге с рогами говорил...

— Брось,— посоветовал Петр, оглянувшись.— Все это — от скуки, от безделья. Запрячь бы всех в железные хомуты.

— Нет, в двоих верить нельзя,— настойчиво сказал отец Никодим.

Уже второй раз на колокольне били в колокол; мерные удары торкались в черное стекло окна. Петр спросил:

— На службу пойдешь?

— Не хожу. Ноги стоять не дают.

— Тут за нас молишься?

Монах не ответил.

— Ну, мне бы уснуть, устал я в дороге.

Никита молча уперся длинными руками в ручки кресла, осторожно поднял угловатое тело свое, позвал:

— Митя. Митрий?

И снова опустился, виновато сказав:

— Прости: забыл я, келейник-то мой в гостинице спит. Услал я его; хотелось свободно поговорить, а они тут доносчики все, ябедники...

Он ненужно и многословно объяснил брату путь в гостиницу, и когда Петр вышел во тьму, под холодненький, пыльный дождь, то подумал:

«Не хотелось, болтуну, чтоб я ушел».

И внезапно, со знакомым страхом, Артамонов старший почувствовал, что снова идет по краю глубокого оврага, куда в следующую минуту может упасть. Он ускорил шаг, протянул руки вперед, щупая пальцами водянистую пыль ночной тьмы, неотрывно глядя вдаль, на жирное пятно фонаря.

«Нет,— поспешно думал он, спотыкаясь,— все это не надо мне. Завтра же уеду. Не надо. Что случилось? Илья воротится! Нет, надобно твердо жить. Вон как Алексей разыгрался. Он и обыграть меня может».

Об Алексее он думал насильно, потому что не хотел думать о Никите, о Тихоне. Но когда он лег на жесткую койку монастырской гостиницы, его снова обняли угнетающие мысли о монахе, дворнике. Что это за человек, Тихон? На все вокруг падает его тень, его слова звучат в ребячливых речах сына, его мыслями околдован брат.

«Утешитель!— думал он о брате.— А вот Серафим, простой плотник, умеет утешать».

Не спалось, покусывали комары, за стеною бормотали в три голоса какие-то люди, Петру подумалось, что это, должно быть, пекарь Мурзин, купец с больною ногой и человек с лицом скопца.

«Пьянствуют, наверное».

Монастырский сторож изредка бил колотушкой в чугунную доску, потом вдруг, очень торопливо, как бы опоздав, испугавшись, заблаговестили к заутрене, и под этот звон Петр задремал.

Брат пришел к нему таким, как он видел его вчера, в саду, с тем же чужим и злонамеренным взглядом вкось и снизу вверх. Артамонов старший торопливо умылся, оделся и приказал служке, чтоб дали лошадь до ближайшей почтовой станции.

— Что так скоро?— спросил монах, не удивляясь.— Я думал,— поживешь здесь.

— Дело не позволяет.

Пили чай. Петр долго придумывал: о чем бы спросить брата? И — вспомнил:

— Значит — уходить хочешь отсюда?

— Думаю. Не отпускают.

— Что ж это они?

— Я выгоден им. Полезен.

— Так. А — куда ж ты?

— Может — странствовать буду.

— С больными-то ногами?

— И безногие двигаются.

— Это — верно, двигаются,— согласился Петр.

Помолчали. Затем Никита сказал:

— Тихону поклонись.

— Еще кому?

— Всем.

— Ладно. А что ж ты не спросишь, как Алексей живет?

— Что спрашивать? Я — знаю, он — умеет. Я, может быть, скоро уйду отсюда.

— Зимой не уйдешь.

— Почему? И зимой ходят.

— Верно, ходят,— снова согласился Петр и предложил брату денег.

— Давай, на починку мельницы пойдут. К настоятелю не зайдешь?

— Некогда, лошадь подана.

Прощаясь, братья обнялись. Обнимать Никиту было неудобно. Он не благословил брата, правая рука его запуталась в рукаве рясы, и Петр подумал, что запуталась она нарочно. Упираясь горбом в живот его, Никита глухо попросил:

— Ты прости, ежели я вчера лишнее что-нибудь сказал.

— Ну, что там! Мы — братья.

— Думаешь, думаешь по ночам-то...

— Да, да! Ну, прощай...

Выехав за ворота монастыря, Петр оглянулся и на белой стене гостиницы увидал фигуру брата, похожую на камень.

— Прощай,— проворчал он, сняв фуражку, голову его обильно посолил мелкий дождь. Ехали сосновым лесом, было очень тихо, только хвоя сосен стеклянно звенела под бисером дождя. На козлах брички подпрыгивал монах, а лошадь была рыжая, с какими-то лысыми ушами.

«О чем говорят!— думал Петр.— Бог дожди не во-

время посылает. Это всё со зла, от зависти, от уродства. От лени. Заботы нет. Без заботы человек — как собака без хозяина».

Петр оглянулся, поеживаясь, нашел, что дождь идет действительно не вовремя, и снова, серым облаком, его окутали невеселые думы. Чтоб избавиться от них, он пил водку на каждой станции.

Вечером, когда вдали показался дымный город, дорогу перерезал запыхавшийся поезд, свистнул, обдал паром и врезался под землю, исчез в какой-то полукруглой дыре.

III

Припоминая бурные дни жизни на ярмарке, Петр Артамонов ощущал жуткое недоумение, почти страх, не верилось, что все, что воскрешала память, он видел наяву и сам кипел в огромном, каменном котле, полном грохота, рева музыки, песен, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей. Варил и разбалтывал все это большой кудрявый человек в цилиндре и сюртуке; на синем, бритом лице его были влеплены выпуклые, совиные глаза; человек этот шлепал толстыми губами, и, обнимая, толкая Артамонова, орал:

— Дурак — молчи! Крещение Руси, понимаешь? Ежегодное крещение на Волге и Оке!

Лицом он был похож на повара, а по одежде на одного из тех людей с факелами, которых нанимают провожать богатых покойников в могилы. Петр смутно помнил, что он дрался с этим человеком, а затем они пили коньяк, размешивая в нем мороженое, и человек, рыдая, говорил:

— Помни рев русской души! Мой отец был священник, а я — прохвост!

Голос у него был густой, трубный, но мягкий, он обливал всех людей темным потоком неслыханных слов, и слова эти неотразимо волновали.

— Истление плоти!— кричал он.— Бой с дьяволом! Бросьте ему, свинье, грязную дань! Укрощай телесный бунт, Петя! Не согрешив — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Омой душу! В баню ходим, тело моем? А — душа? Душа просит бани. Дайте простор русской душе, певучей душей, святой, великой!

Петр тоже плакал, растроганный, и бормотал:

— Сирота она, душа, приемыш — верно! Забыта. Не жалеем.

И все люди кричали:

— Верно! Правильно!

А лысый, рыжебородый человек с раскаленным лицом и лиловыми ушами, кругленький, верткий, крутился, точно кубарь, исступленно, по-бабьи взвизгивая:

— Степа — правда! Обожаю тебя. Смертельно люблю. Три штучки смертельно люблю: тебя, кисленькое и правду. О душе — правду!

И тоже плакал и пел:

Смертию смерть поправ.

Петр подпевал ему словами Антона-дурачка:

Кибитка потерял колесо.

Ему тоже казалось, что он любит черного Степу, он слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкновенные слова пугали его, но больше было таких, которые, сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из темного шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно нравились ему слова «певчая душа», было в них что-то очень важное, жалобное, и они сливались с такой картиной: в знойный, будний день, на засоренной улице Дремова стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть, старик, он устало вертит ручку шарманки, а перед нею, задрав голову, девочка лет двенадцати в измятом, синеньком платье, закрыв глаза, натужно, срывающимся голосом поет:

И не жду от жизни ниче-воя...
И я ищу свободы и покоя...

Вспомнив эту девочку, Артамонов бормотал человеку с лиловыми ушами:

— Душа — певчая! Это он — верно!

— Степа? — крикливо спрашивал рыжебородый. — Степа все знает! У него — ключи ко всякой душе!

И, раскаляясь все более, рыжебородый визжал:

— Степа, друг человеческий, рви! Адвокат Парадизов — вези нас в вертеп неприступный! Все допускаю...

Друг человеческий был пастырем и водителем компании кутивших промышленников, и всюду, куда бы он ни являлся со своим пьяным стадом, грохотала музыка,

звучали песни, то — заунывные, до слез надрывавшие душу, то — удалые, с бешеной пляской; от музыки оставались в памяти слуха только глухо бухающие удары в большой барабан и тонкий свист какой-то отчаянной дудочки. Когда пели тягучие, грустные песни, казалось, что каменные стены трактиров сжимаются и душат, а когда хор пел бойко, удало и пестро одетые молодцы плясали — стены точно ветер колебал и раздувал. Буйно качало, перебрасывая от радости к восхищению печалью, и минутами Петра Артамонова обнимал и жег такой восторг, что ему хотелось сделать что-то необыкновенное, потрясающее, убить кого-нибудь и, упав к ногам людей, стоять на коленях пред ними, всенародно взывая:

«Судите меня, казните страшной казнью!»

Были на «Самокате» в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми, лакеями медленно вертелся; оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Круг пола вертелся и показывал в одном углу кучу неистовых, меднотрубых музыкантов; в другом — хор, толпу разноцветных женщин с венками на головах; в третьем на посуде и бутылках буфета отражались огни висячих ламп, а четвертый угол был срезан дверями, из дверей лезли люди и, вступая на вращающийся круг, качались, падали, взмахивали руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то.

Друг человеческий, черный Степа, объяснял Артамонову:

— Глупо, а — хорошо! Пол — на брусьях, как блюдечко на растопыренных пальцах, брусья вкреплены в столб, от столба, горизонтально, два рычага, в каждый запряжена пара лошадей, они ходят и вертят пол. Просто? Но — в этом есть смысл. Петя — помни: во всем скрыт свой смысл, увы!

Он поднимал палец к потолку, на пальце сверкал волчьим глазом зеленоватый камень, в какой-то широкогрудый купец с собачьей головою, дергая Артамонова за рукав, смотрел на него в упор, остеклевшими глазами мертвеца, и спрашивал громко, как глухой:

— А что скажет Дуня, а! Ты — кто?

Не ожидая ответа, он спрашивал другого соседа:

— Ты — кто? А что я скажу Дуне? А?

Откидывался на спинку стула, фыркал:

— Ф-фу, черт!

И кричал неистово:

— Айда в другое место!

Потом он оказался кучером, сидел на козлах коляски, запряженной парой серых лошадей, и громкогласно оповещал всех прохожих, встречных:

— К Пауле едем! Айда с нами!

Ехали под дождем, в коляске было пять человек, один лежал в ногах Артамонова и бормотал:

— Он меня обманул — я его обману. Он меня — я его...

На площади, у холма, похожего на каравай хлеба, коляска опрокинулась, Петр упал, ушиб голову, локоть и, сидя на мокром дерне холма, смотрел, как рыжий с лиловыми ушами лез по холму, к ограде мечети, и рычал:

— Прочь, хочу в татара креститься, в Магометы хочу, пустите!

Черный Степан схватил его за ноги, стащил вниз, куда-то повел; из лавок, из караван-сарая сбежалась толпа персов, татар, бухарцев; старик в желтом халате и зеленой чалме грозил Петру палкой.

— Урус, шайтан...

Меднолицый полицейский поставил Петра на ноги, говоря:

— Скандалы не разрешаются.

Съехались извозчики, усадили пьяных и повезли; впереди, стоя, ехал друг человеческий и что-то кричал в кулак, как в рупор. Дождь прекратился, но небо было грозно черное, каким никогда не бывает наяву; над огромным корпусом караван-сарая сверкали молнии, разрывая во тьме огненные щели, и стало очень страшно, когда копыта лошадей гулко застучали по деревянному мосту через канал Бетанкура,— Артамонов ждал, что мост провалится и все погибнут в неподвижно застывшей, черной, как смола, воде.

В разорванных, кошмарных картинах этих Артамонов искал и находил себя среди обезумевших от разгула людей, как человека почти незнакомого ему. Человек этот пил насмерть и алчно ждал, что вот в следующую минуту начнется что-то совершенно необыкновенное и самое главное, самое радостное,— или упадешь куда-то в безграничную тоску, или поднимешься в такую же безграничную радость, навсегда.

Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, это — женщина, Паула Менотти. Он видел ее

в большой, пустой комнате с голыми стенами; треть комнаты занимал стол, нагруженный бутылками, разноцветным стеклом рюмок и бокалов, вазами цветов и фрукт, серебряными ведерками с икрой и шампанским. Человек десять рыжих, лысых, седоватых людей нетерпеливо сидели за столом, среди нескольких пустых стульев один был украшен цветами.

Черный Степа стоял среди комнаты, подняв, как свечу, палку с золотым набалдашником, и командовал:

— Эй, свиньи, подождите жрать!

Кто-то глухо сказал:

— Не лай.

— Молчать! — крикнул друг человеческий. — Распоряжаюсь — я!

И почему-то вдруг стало темнее, тотчас же за дверью раздались глухие удары барабана, Степа шагнул к двери, растворил; вошел толстый человек с барабаном на животе, пошатываясь, шагая, как гусь, он сильно колотил по барабану:

— Бум, бум, бум...

Пятеро таких же солидных, серьезных людей, согнувшись, напрягаясь, как лошади, ввезли в комнату рояль за полотенца, привязанные к его ножкам; на черной, блестящей крышке рояля лежала нагая женщина, ослепительно белая и страшная бесстыдством наготы. Лежала она вверх грудью, подложив руки под голову; распущенные темные волосы ее, сливаясь с черным блеском лака, вросли в крышку; чем ближе она подвигалась к столу, тем более четко выделялись формы ее тела и назойливее лезли в глаза пучки волос под мышками, на животе.

Повизгивали медные колесики, скрипел пол, гулко бухал барабан; люди, впряженные в эту тяжелую колесницу, остановились, выпрямились. Артамонов ждал, что все засмеются, — тогда стало бы понятнее, но все за столом поднялись на ноги и молча смотрели, как лениво женщина отклеивалась, отрывалась от крышки рояля; казалось, что она только что пробудилась от сна, а под нею — кусок ночи, сгущенный до плотности камня; это напоминало какую-то сказку. Стоя, женщина закинула обильные и густые волосы свои за плечи, потопала ногами, замутив глубокий блеск лака пятнами белой пыли; было слышно, как под ударами ее ног гудели струны.

Вошли двое: седоволосая старуха в очках и человек во фраке; старуха села, одновременно обнажив свои

желтые зубы и двухцветные косточки клавиш, а человек во фраке поднял к плечу скрипку, сощурил рыжий глаз, прицелился, перерезал скрипку смычком, и в басовое пение струн рояля ворвался тонкий, свистящий голос скрипки. Нагая женщина волнисто выпрямилась, тряхнула головою, волосы перекинулись на ее нахально торчавшие груди, спрятали их; она закачалась и запела медленно, негромко, в нос, отдаленным, мечтающим голосом.

Все молчали, глядя на нее, приподняв вверх головы, лица у всех были одинаковые, глаза — слепые. Женщина пела нехотя, как бы в полусне, ее очень яркие губы произносили непонятные слова, масляные глаза смотрели пристально через головы людей. Артамонов никогда не думал, что тело женщины может быть так стройно, так пугающе красиво. Поглаживая ладонями грудь и бедра, она все встряхивала головою, и казалось, что и волосы ее растут, и вся она растет, становясь пышнее, больше, все закрывая собою так, что кроме нее уже стало ничего не видно, как будто ничего и не было. Артамонов хорошо помнил, что она ни на минуту не возбудила в нем желания обладать ею, а только внушала страх, вызывала тяжкое стеснение в груди, от нее веяло колдовской жутью. Однако он понимал, что, если женщина эта прикажет, он пойдет за нею и сделает все, чего она захочет. Взглянув на людей, он убедился в этом.

«Всякий пойдет, все».

Он трезвел, и ему хотелось незаметно уйти. Он окончательно решил сделать это, услыхав чей-то громкий шепот:

— Чаруса. Омут естества. Понимаешь? Чаруса.

Артамонов знал, что чаруса — лужайка в болотистом лесу, лужайка, на которой трава особенно красиво шелковиста и зелена, но если ступить на нее — провалишься в бездонную трясину. И все-таки он смотрел на женщину, прикованный неотразимой, покоряющей силой ее наготы. И когда на него падал ее тяжелый масляный взгляд, он шевелил плечами, сгибал шею и, отводя глаза в сторону, видел, что уродливые, полупьяные люди таращат глаза с тем туповатым удивлением, как обыватели Дремова смотрели на маляра, который, упав с крыши церкви, разбился насмерть.

Черный, кудрявый Степа, сидя на подоконнике, распустив толстые губы свои, гладил лоб дрожащей рукою, и казалось, что он сейчас упадет, ударится головою в пол.

Вот он зачем-то оторвал расстегнувшийся манжет рубашки и швырнул его в угол.

Движения женщины стали быстрее, судорожней; она так извивалась, как будто хотела спрыгнуть с рояля и — не могла; ее подавленные крики стали гнусавее и злей; особенно жутко было видеть, как волнисто извиваются ее ноги, как резко дергает она головою, а густые волосы ее, взметываясь над плечами, точно крылья падают на грудь и спину звериной шкурой.

Вдруг музыка оборвалась, женщина спрыгнула на пол, черный Степа окутал ее золотистым халатом и убежал с нею, а люди закричали, завыли, хлопая ладонями, хватая друг друга; завертелись лакеи, белые, точно покойники в саванах; зазвенели рюмки и бокалы, и люди начали пить жадно, как в знойный день. Пили и ели они нехорошо, непристойно; было почти противно видеть головы, склоненные над столом, это напоминало свиней над корытом.

Явилась толпа цыган, они раздражающе пели, плясали, в них стали бросать огурцами, салфетками — они исчезли; на место их Степа пригнал шумный табун женщин; одна из них, маленькая, полная, в красном платье, присев на колени Петра, поднесла к его губам бокам шампанского и, звонко чокнувшись своим бокалом, предложила:

— Выпьем, рыжий, за здоровье Мити!

Была она легкая, как моль, звали ее — Пашута. Она очень ловко играла на гитаре и трогательно пела:

Снилось мне утро лазурное, чистое

— и когда звонкий голос ее особенно печально выговаривал:

Снилась мне юность моя, невозвратная

— Артамонов дружески, отечески гладил ее голову и утешал:

— Не скули! Ты еще молодая, не бойся...

А ночью, обнимая ее, он крепко закрывал глаза, чтобы лучше видеть другую, Паулу Менотти.

В редкие, трезвые часы он с великим изумлением видел, что эта беспутная Пашута до смешного дорого стоит ему, и думал:

«Экая моль!»

Поражало его умение ярмарочных женщин высасывать деньги и какая-то бессмысленная трата ими заработка,

достигнутого ценою бесстыдных, пьяных ночей. Ему сказали, что человек с собачьим лицом, крупнейший меховщик, тратил на Паулу Менотти десятки тысяч, платил ей по три тысячи каждый раз, когда она показывала себя голой. Другой, с лиловыми ушами, закуривая сигары, зажигая на свече сторублевые билеты, совал за пазухи женщин пачки кредиток.

— Бери, немка, у меня много.

Он всех женщин называл немками. Артамонов же стал видеть в каждой из них неприкрытое бесстыдство густоволосой Паулы, и все женщины,— глупые и лукавые, скрытые и дерзкие,— чувствовал он, враждебны ему; даже вспоминая о жене, он и в ней подмечал нечто скрыто враждебное.

«Моль»,— думал он, присматриваясь к цветистому хороводу красивых, юных женщин, очень живо и ярко воскрешаемых памятью.

Он не мог понять: что же это, как же? Люди работают, гремят цепями дела, оглушая самих себя только для того, чтоб накопить как можно больше денег, а потом — жгут деньги, бросают их горстями к ногам распутных женщин? И все это большие, солидные люди, женатые, детные, хозяева огромных фабрик.

«Отец, пожалуй, так же бы колобродил»,— почти уверенно думал он. Самого себя он видел не участником этой жизни, этих кутежей, а случайным и невольным зрителем. Но эти думы пьянили его сильнее вина, и только вином можно было погасить их. Три недели прожил он в кошмаре кутежей и очнулся лишь с приездом Алексея.

Артамонов старший лежал на полу, на жиденьком, жестком тюфяке; около него стояло ведро со льдом, бутылка кваса, тарелка с квашеной капустой, обильно сдобренной тертым хреном. На диване, открыв рот и, как Наталья, подняв брови, разметалась Пашута, свесив на пол ногу, белую с голубыми жилками и ногтями, как чешуя рыбы. За окном тысячами жадных пастей ревело всероссийское торжище.

Сквозь похмельный гул в голове и ноющую боль отравленного тела Артамонов угрюмо вспоминал события и забавы истекшей ночи, когда вдруг, точно из стены вылез, явился Алексей. Прихрамывая, постукивая палкой, он подошел и рассыпался словами:

— Что — опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал, да к утру сам завертелся.

Он тотчас позвал лакея, заказал лимонаду, коньяку, льду; подскочил к дивану, пошлепал Пашуту по плечу.

— Вставай, барышня!

Не сразу открыв глаза, барышня проворчала:

— К черту. Отстань.

— Это ты пойдешь к черту,— не сердито сказал Алексей, приподнял ее за плечи, посадил, потряс и указал на дверь:

— Брысь!

— Не тронь ее,— сказал Петр; брат усмехнулся, успокоил:

— Ничего; позовем — придет!

— О, черти,— сказала женщина, уже покорно надевая кофту.

Алексей командовал, как доктор:

— Вставай, Петр, сними рубаху, вытрись льдом!

Подняв с пола раздавленную шляпку, Пашута надела ее на встрепанную голову, но, посмотрев в зеркало над диваном, сказала:

— Очень прекрасная королева!

И, швырнув шляпку на пол, под диван, длительно зевнула:

— Ну, прощай, Митя! Помни: я — в номерах Симанского, номер тринадцать.

Петру стало жалко ее, не вставая с пола, он сказал брату:

— Дай ей.

— Сколько?

— Ну... пятьдесят.

— Э! Много.

Алексей сунул в руку женщины какую-то бумажку, проводил ее, плотно притворил дверь.

— Скупо дал,— вызывающе заметил Петр.— Она вчера за шляпу больше заплатила.

Алексей сел в кресло, сложил руки на палке, оперся на них подбородком и сухо, начальнически спросил:

— Ты что же делаешь?

— Пью,— задорно ответил старший, встал и начал обтирать тело льдом, покрякивая.

— Пей, Кузьма, да не теряй ума! А ты что?

— А что?

Алексей подошел к нему и, глядя, как на незнакомого, тихим голосом, с присвистом спросил:

— Забыл? На тебя жалоба подана, ты адвокату морду разбил, полицейского столкнул в канал...

Он так долго перечислял проступки, что Артамонову старшему показалось:

«Врет. Пугает».

Он спросил:

— Какому адвокату? Ерунда.

— Не ерунда, а — черному, этому — как его?

— Мы с ним и раньше дрались,— сказал Петр, трезвея, но брат еще строже продолжал:

— А за что ты излаял почтенных людей? И своих?

— Я?

— Ты, вот этот! Веру ругал, Тихона, меня, мальчишку какого-то вспомнил, плакал. Кричал: Авраам, Исаак, баран! Что это значит?

Петра обожгло страхом, он опустился на стул.

— Не знаю. Пьян был.

— Это — не причина!— почти крикнул Алексей, подпрыгивая, точно он скакал на хромой лошади.— Тут — другое: «что у трезвого на уме, у пьяного — на языке», вот что тут! О семейном в кабаках не кричат. Почему — Авраам, жертвоприношение и прочая дрянь? Ты ведь дело конфузишь, ты на меня тень наводишь. Что ты, как в бане, разделся? Хорошо еще, что был при скандале этом Локтев, приятель мой, и догадался свалить тебя с ног коньяком, а меня вот телеграммой вызвал. Он и рассказал мне все это. Сначала, говорит, все смеялись, а потом начали вслушиваться,— что такое человек орет?

— Все орут,— пробормотал Петр, подавленный и снова пьянея от слов брата, а тот говорил почти шепотом:

— Все — об одном, а ты — обо всем! Ладно, что Локтев догадался напоить всех в лоск. Может — забудут. Но ведь наше дело политическое: сегодня Локтев — друг, а завтра — лютый враг.

Петр сидел на стуле, крепко прижав затылок к стене; пропитанная яростным шумом улицы, стена вздрагивала; Петр молчал, ожидая, что эта дрожь утрясет хмельной хаос в голове его, изгонит страх. Он ничего не мог вспомнить из того, о чем говорил брат. И было очень обидно слышать, что брат говорит голосом судьи, словами старшего; было жутко ждать, что еще скажет Алексей.

— Что с тобой?— допытывался он, все подпрыгивая.— Сказал, что едешь к Никите...

— Я у него был.

— И я был. Когда на депешу ответили, что тебя там нет, я, конечно, туда поскакал. Испугались все; ведь — на земле живем, могут и убить.

— Завелась во мне какая-то дрянь,— тихо, виновато сознался Петр.

— Так ее на люди выносить надо? Пойми: ты на дело наше тень бросаешь! Какое там у тебя жертвоприношение? Что ты — персиянин? С мальчиками возишься? Какой мальчик?

Приглаживая волосы на голове и бороду обеими руками, Петр сказал сквозь пальцы:

— Илья... все из-за него...

И медленно, нерешительно, точно нащупывая тропу в темноте, он стал рассказывать Алексею о ссоре с Ильей; долго говорить не пришлось; брат облегченно и громко сказал:

— Ф-фу! Ну, это — ничего! А Локтев понял по-азиатски, скандально. Значит — Илья? Ну, брат, ты прости, только это — неразумно. Купечество должно всему учиться, на все точки жизни встать, а ты...

Он очень долго и красноречиво говорил о том, что дети купцов должны быть инженерами, чиновниками, офицерами. Оглушающий шум лез в окно; подъезжали экипажи к театру, кричали продавцы прохладительных напитков и мороженого; особенно невыносимо грохотала музыка в павильоне, построенном бразильцами из железа и стекла, на сваях, над водою канала. Удары барабана напоминали о Пауле Менотти.

— Какая-то дрянь завелась во мне,— повторил Артамонов старший, щупая ухо, а другою рукой наливая коньяку в стакан лимонада; брат взял бутылку из руки его, предупредив:

— Смотри, опять напьешься. Вот у меня Мирон учится на инженера — сделай милость! За границу хочет ехать — пожалуйста! Все это — в дом, а не из дома. Ты — пойми, наше сословие — главная сила...

Петру ничего не хотелось понимать. Под оживленный говорок брата он думал, что вот этот человек достиг чем-то уважения и дружбы людей, которые богаче и, наверное, умнее его, они ворочают торговлей всей страны, другой брат, спрятавшись в монастыре, приобретает славу мудреца и праведника, а вот он, Петр, предан на растерзание каким-то случаям. Почему? За что?

— А за распутство ты обругал почтенных людей —

напрасно! — говорил Алексей уже как-то мягко, вкрадчиво. — Это — не от распутства, это от избытка силы. Адвокат шельма, но он правильно понимает, он умный! Конечно — люди пожилые, даже старики, а озорство у них, как у мальчишек, да ведь мальчишки-то озоруют тоже от силы роста. И то возьми в расчет, что бабы у нас пресные, без перца, скучно с ними! Я не про Ольгу мою говорю, она — особенная! Есть такие глупомудрые бабы, они как бы слепы на тот глаз, который плохое видит, Ольга вот из эдаких. Ее обидеть — нельзя, она плохого не видит, злому — не верит. Ты про Наталью этак не скажешь, а людям верно сказал про нее: домашняя машина!

— Так и сказал? — угрюмо осведомился Петр.

— Не сам же Локтев выдумал эти слова.

Хотелось еще о многом спросить брата, но Петр боялся напомнить ему то, что Алексей, может быть, уже забыл. У него возникло чувство неприязни и зависти к брату.

«Все умнеет, бес...»

Он видел в брате нечто рысистое, нахлестанное и лисью изворотливость. Раздражали ястребиные глаза, золотой зуб, блестевший за верхней, судорожной губою, седенькие усы, воинственно закрученные, веселая бородка и цепкие, птичьи пальцы рук, особенно неприятен был указательный палец правой руки, всегда рисовавший в воздухе что-то затейливое. А кургузый, железного цвета пиджачок делал Алексея похожим на жуликоватого ходатая по чужим делам.

Ему вдруг захотелось, чтоб Алексей ушел.

— Поспать надо мне, — сказал он, прикрыв глаза.

— Это — разумно, — согласился брат. — Ты уже сегодня не ходи никуда.

«Как мальчишку, он меня учит», — обиженно подумал Петр, проводив его. Пошел в угол к умывальнику и остановился, увидав, что рядом с ним бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрепанный, с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и красной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд он не верил, что это его отражение в зеркале, над диваном, потом жалобно усмехнулся и снова стал вытирать куском льда лицо, шею, грудь.

«Найду извозчика, поеду в город», — решил он, одеваясь, но, сунув руку в рукав пиджака, сбросил его на стул и крепко прижал пальцем костяную кнопку звонка.

— Чаю; завари крепче! — сказал он слуге. — Соленого дай. Коньяку.

Посмотрел из окна, широкие двери лавок были уже заперты, по улице ползли люди, приплюснутые жаркой тьмою к булыжнику; трещал опаловый фонарь у подъезда театра; где-то близко пели женщины.

«Моль».

— Можно убрать, — сказали за спиною, он круто обернулся; в двери стояла старуха с одним глазом, с половой щеткой и тряпками в руках. Он молча вышел в коридор и наткнулся на человека в темных очках, в черной шляпе; человек сказал в щель неприкрытой двери:

— Да, да, больше ничего!

Все было нехорошо, заставляло думать, искать в словах скрытый смысл. Потом Артамонов старший сидел за круглым столом, перед ним посвистывал маленький самовар, позванивало стекло лампы над головою, точно ее легко касалась чья-то невидимая рука. В памяти мелькали странные фигуры бешено пьяных людей, слова песен, обрывки командующей речи брата, блестели чьи-то мимоходом замеченные глаза, но в голове все-таки было пусто и сумрачно; казалось, что ее пронзил тоненький, дрожащий луч и это в нем, как пылинки, пляшут, вертятся люди, мешая думать о чем-то очень важном.

Он пил горячий, крепкий чай, глотал коньяк, обжигая рот, но не чувствовал, что пьянеет, только возрастало беспокойство, хотелось идти куда-то. Позвонил. Явился какой-то туманно струящийся человек, без лица, без волос, похожий на палку с костяным набалдашником.

— Ликеру зеленого принеси, Ванька; зеленого, знаешь?

— Так точно, шартрез.

— Ты разве Ванька?

— Никак нет, Константин.

— Ну, ступай.

Когда лакей принес ликер, Артамонов спросил:

— Солдат?

— Никак нет.

— А говоришь, как солдат.

— Должность сходная, повиноваться надо.

Артамонов подумал, дал ему рубль и посоветовал:

— А ты — не повинуйся. Пошли всех к..., а сам торгуй мороженым. И больше ничего!

Ликер был клейкий, точно патока, и едкий, как наша-

тырный спирт. От него в голове стало легче, яснее, все как-то сгустилось, и, пока в голове происходило это сгущение, на улице тоже стало тише, все уплотнилось, образовался мягкий шумок и поплыл куда-то далеко, оставляя за собою тишину.

«Повиноваться надо?— размышлял Артамонов.— Кому? Я — хозяин, а не лакей. Хозяин я или нет?»

Но все размышления внезапно прекратились, исчезли, спугнутые страхом: Артамонов внезапно увидал пред собою того человека, который мешал ему жить легко и умело, как живет Алексей, как живут другие, бойкие люди: мешал ему широколицый, бородатый человек, сидевший против него у самовара; он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в бороду, опираясь щекою на ладонь; он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял за что-то; смотрел и плакал, из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы; а по краю бороды, около левого глаза, шевелилась большая муха; вот она переползла, точно по лицу покойника, на висок, остановилась над бровью, заглядывая в глаз.

— Что, сволочь?— спросил Артамонов врага своего; тот не двинулся, не ответил, только пошевелил губами.

— Ревешь?— злорадно заорал Петр Артамонов.— Запутал меня, подлец, а сам плачешь? Самому жалко? У-у...

Схватив со стола бутылку, он с размаху ударил того по лысоватому черепу.

На треск разбитого зеркала, на грохот самовара и посуды, свалившихся с опрокинутого стола, явились люди, их было немного, но каждый раскалывался надвое, расплывался; одноглазая старуха в одну и ту же минуту сгибалась, поднимая самовар, и стояла прямо.

Сидя на полу, Артамонов слышал жалобные голоса:

— Ночь, все спят.

— Зеркальце разбили.

— Это, знаете, не фасон...

Артамонов, разводя руками, плыл куда-то и мычал:

— Муха...

На другой день к вечеру, рысцой, прибежал Алексей, заботливо, как доктор — больного или кучер — лошадь, осмотрел брата, сказал, расчесывая усы какой-то маленькой щеточкой:

— Неестественно ты разбух; в этом образе домой

являться — нельзя! К тому же ты мне здесь можешь оказать помощь. Бороду следует постричь, Петр. И купи ты себе сапоги другие, сапоги у тебя — извозчичьи!

Стиснув челюсти, покорно Артамонов старший шел за братом к парикмахеру,— Алексей строго и точно объяснял, насколько надо остричь бороду и волосы на голове; в магазине обуви он сам выбрал Петру сапоги. После этого, взглянув в зеркало, Петр нашел, что он стал похож на приказчика, а сапоги жали ему ногу в подъеме. Но он молчал, сознавая, что брат действует правильно: и волосы постричь и сапоги переменить — все это нужно. Нужно вообще привести себя в порядок, забыть все мутное, подавляющее, что осталось от кутежа и весомо, ощутимо тяготило.

Но сквозь туман в голове и усталость отравленного, измотанного тела он, присматриваясь к брату, испытывал все более сложное чувство, смесь зависти и уважения, скрытой насмешливости и вражды. Этот рысистый человек, тощий, с палочкой в руке, остроглазый, сверкал и дымил, пылая ненасытной жадностью к игре делом. Завтракая, обедая с ним в кабинетах лучших трактиров ярмарки, в компании именитых купцов, Петр с немалым изумлением видел, что Алексей держится как будто шутом, стараясь смешить, забавлять богачей, но они, должно быть, не замечая шутовского, явно любили, уважали Алексея, внимательно слушали сорочий треск его речей.

Огромный, тугобородый текстильщик Комолов грозил ему пальцем цвета моркови, но говорил ласково, выкатив бычьи глаза, сочно причмокивая:

— Ловок ты, Олеша, хитер, лиса! Обошел ты меня...

— Ермолай Иванович!— восторженно кричал Алексей.— Соревнование — так?

— Верно. Не зевай, ходи тузом козырей!

— Ермолай Иванович,— учусь!

Комолов соглашался:

— Учиться — надо.

— Господа!— так же восторженно, но уже вкрадчиво говорил Алексей, размахивая вилкой.— Сын мой, Мирон, умник, будущий инженер, сказывал: в городе Сиракузе знаменитейший ученый был; предлагал он царю: дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну!

— Ишь ты, серопузый...

— Переверну, говорит! Господа! Нашему сословию есть на что опереться — целковый! Нам не надо мудре-

цов, которые перевертывать могут, мы сами — с усами; нам одно надобно: чиновники другие! Господа! Дворянство — чахнет, оно — не помеха нам, а чиновники у нас должны быть свои и все люди нужные нам — свои, из купцов, чтоб они наше дело понимали,— вот!

Седые, лысые, дородные люди весело соглашались:

— Верно, серопузый!

А одноглазый, остроносый, костлявенький старичок, дисконтер Лосев, вежливенько хихикая, говорил:

— У Алексея Ильича умишко — мышка; все знает: где — сало, где — мало, и грызет, грызет! Его здоровье!

Поднимали бокалы, Алексей радостно чокался со всеми, а Лосев, похлопывая детской ручкой по крутому плечу Комолова, говорил:

— Умненькие среди нас заводятся.

— Всегда были! — гордо отвечал Комолов.— Родитель мой из грузчиков в люди вышел...

— Родитель твой с того начал, говорят, что богатого армянина зарезал,— посмеиваясь, сказал Лосев, а тугобородый текстильщик, захохотав, как баран, ответил:

— Враки! Это у нас по глупости говорят: если — счастлив, значит — грешен! И про тебя, Кузьма, нехороши слухи бегают...

— И про меня,— подтвердил Лосев, вздыхая.— Слухи — мухи, эх!

Артамонов старший слушал, покрякивая, много ел, старался меньше пить и уныло чувствовал себя среди этих людей зверем другой породы. Он знал: все они — вчерашние мужики; видел во всех что-то разбойное, сказочное, внушающее почтение к ним и общее с его отцом. Конечно, отец был бы с ними и в деле и в кутежах, он, вероятно, так же распутничал бы и жег деньги, точно стружку. Да, деньги — стружка для этих людей, которые неутомимо, со всею силой строгают всю землю, друг друга, деревню.

Но брат был чем-то не похож на этих больших людей, и порою, несмотря на неприязнь к нему, Петр чувствовал, что Алексей острее, умнее их и даже — опаснее.

— Господа! — исступленно, как одержимый, кричал он.— Подумайте, какая неистощимая сила рук у нас, какие громадные миллионы мужика! Он и работник, он и покупатель. Где это есть в таком числе? Нигде нет! И не надобно нам никаких немцев, никаких иноземцев, мы всё сами!

— Верно,— соглашались с ним подвыпившие, горластые люди.

Он говорил о необходимости повысить пошлины на ввоз иностранных товаров, о скупке помещичьих земель, о вредности дворянских банков, он все знал, и со всем, что он говорил, люди восторженно соглашались, к удивлению Артамонова старшего.

«Верно Никита сказал, этот умеет жить»,— думал он с завистью.

Несмотря на слабость своего здоровья, Алексей тоже распутничал. У него была, видимо, постоянная и давняя любовница, москвичка, содержавшая хор певиц, дородная, вальяжная женщина с медовым голосом и лучистыми глазами. Говорили, что ей уже сорок лет, но по лицу ее, матово-белому, с румянцем под кожей, казалось, что ей нет и тридцати.

— Алешенька, сокол,— говорила она, показывая острые, лисьи зубы, и закрывала Алексея собою, как мать ребенка.

Она должна была знать, что Алексей не брезгует и девицами ее хора, она, конечно, видела это. Но отношение ее к брату было дружеское, Петр не однажды слышал, как Алексей советуется с нею о людях и делах, это удивляло его, и он вспоминал отца, Ульяну Баймакову.

«Бес»,— думал он, глядя на брата.

Даже озорство его имело какой-то особенно затейливый характер. Толстый клоун, немец Майер, показывал в цирке свинью; одетая в длиннополый сюртук, в цилиндре, в сапожках бутылками, она ходила на задних ногах, изображая купца. Публику это очень забавляло, смеялось и купечество, но Алексей отнесся иначе — он обиделся и уговорил компанию приятелей выкрасть свинью. Подкупили конюха, выкрали свинью, и купечество торжественно съело ее мясо, приготовленное под разными соусами искуснейшим поваром гостиницы Барбатенко. Петр Артамонов смутно слышал, что клоун повесился с горя*. Все, что он подметил в Алексее на ярмарке, вызвало у него очень тревожные мысли.

«Жулик. Без совести. Может по миру пустить меня и сам этого не заметит. И не из жадности разорит, а просто — заиграется».

Сознание этой опасности, отрезвив его, поставило на ноги. Домой он возвращался один, Алексей проехал

* Факт описан П. Д. Боборыкиным в газете «Русский курьер», относится к 80-м годам.

в Москву. Был сентябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов подъезжал к Дремову. Позванивая бубенцами, смачно чмокая копытами по раскисшей земле, ямские лошади охотно бежали сквозь невысокий ельник, строгими рядами, недвижимо охранявший узкую полосу болотистой дороги. Небо сплошь замазано серым тестом облаков, так же серо и скучно было в похмельной голове. Артамонов как будто похоронил кого-то очень близкого, но кто все-таки надоел ему. Было жалко покойника, но было и приятно знать, что его уже больше не встретишь; перестал он смущать неясностью своих требований, немых упреков и всем тем, что мешало жить настоящему, живому человеку.

«Дело делать надо, больше ничего! — убеждал он себя. — Все люди делом живы. Да».

Он принялся за дело с полным напряжением сил своих. Спокойно пошли ясные дни бабьего лета, сменяясь грустным сиянием лунных ночей.

Просыпаясь в жемчужном сумраке утренних зорь осени, Артамонов старший слышал требовательный гудок фабрики, а через полчаса начинался ее неугомонный шорох, шепот, глуховатый, но мощный и привычный уху шум работы. С рассвета до позднего вечера у амбаров кричали мужики и бабы, сдавая лен; у трактира, на берегу Ватаракши, открытого одним из бесчисленных Морозовых, звучали пьяные песни, визжала гармоника. По двору ходил тяжелый, аккуратный, как машина, строгий к людям Тихон Вялов с метлой, с лопатой в руках, с топором; он не торопясь мел, копал, рубил, покрикивал на мужиков, на рабочих. Мелькал голубой, всегда чистенький Серафим. В доме, тоже как машина, действовала Наталья, очень довольная богатыми подарками, которые муж привез ей с ярмарки, и еще больше — его молчаливым, ровным спокойствием. Все шло гладко, казалось прочно слаженным; фабрика, люди, даже лошади — все работало как заведенное на века. И быстро, точно облака, гонимые ветром, плыли месяца, слагались в годы.

Быком, наклоняя голову, Артамонов старший ходил по корпусам, по двору, шагал по улице поселка, пугая ребятишек, и всюду ощущал нечно новое, странное: в этом большом деле он являлся почти лишним, как бы зрителем. Было приятно видеть, что Яков понимает дело и, кажется, увлечен им; его поведение не только отвлекало от мыслей о старшем сыне, но даже примиряло с Ильей.

«Обойдусь и без тебя, ученый. Учись».

Сытенький, розовощекий, с приятными глазами, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыльные пузыри, Яков солидно носил круглое тело свое и, хотя вблизи был странно похож на голубя, издали казался деловитым, ловким хозяином. Работницы ласково улыбались ему, он ворковал с ними, прищуриваясь сладостно, и ходил около них как-то боком, не умея скрыть под напускной солидностью задор молодого петуха. Отец дергал себя за ухо, ухмылялся и думал:

«Паулу бы тебе показать, дурачок...»

Ему нравилось, что Яков, бывая у дяди, не вмешивался в бесконечные споры Мирона с его приятелем, отрепанным, беспокойным Горицветовым. Мирон стал уже совершенно не похож на купеческого сына; худощавый, носатый, в очках, в курточке с позолоченными пуговицами, какими-то вензелями на плечах, он напоминал мирового судью. Ходил и сидел он прямо, как солдат, говорил высокомерно, заносчиво, и хотя Петр понимал, что племянник всегда говорит что-то умное, все-таки Мирон не нравился ему.

— Ну, брат, это хилософия,— поучительно говорил он, держа руки фертом, сунув их в карманы курточки.— Это мудрствование от хилости, от неумелости.

Артамонову старшему казалось, что и Горицветов тоже говорит не плохо, не глупо. Маленький, в черной рубахе под студенческим сюртуком, неприглядно расстегнутый, лохматый, с опухшими глазами, точно он не спал несколько суток, с темным, острым лицом в прыщах, он кричал, никого не слушая, судорожно размахивая руками, и наскакивал на Мирона:

— Вы достигнете того, что солнце будет восходить в небеса по свистку ваших фабрик и дымный день вылезать из болот, из лесов по зову машин, но — что сделаете вы с человеком?

Мирон поднимал брови, морщился и, поправляя очки, долбил сухо, мерно:

— Это — хилософия, это — стишки! Это языкоблудие и суемудрие, друг мой. Жизнь — борьба; лирика, истерика неуместны в ней и даже смешны...

Слова спорщиков были приметны, как белые голуби среди сизых; Артамонов старший думал:

«Да, вот оно: новые птицы — новые песни».

Суть спора он понимал смутно и, наблюдая за Яковом, с удовольствием видел, что сын разглаживает светлый пух

на верхней губе своей потому, что хочет спрятать насмешливую улыбочку.

«Так,— думал Петр.— А что сказал бы Илья?»

Горицветов кричал:

— Заковав землю и людей в железо, сделав человека рабом машины...

Покачивая носом, Мирон говорил ему:

— Человек, о котором ты заботишься,— бездельник. Он погибнет, если завтра не поймет, что его спасение в развитии промышленности...

«У которого — правда? Который лучше?» — догадывался Петр Артамонов.

Горицветов не нравился ему еще более, чем племянник, в нем было что-то жидкое, ненадежное, он явно чего-то боялся, кричал. Бесцеремонен, как пьяный, он садился к обеденному столу раньше хозяев, судорожно перекладывал ножи и вилки, ел быстро, неблагопристойно, обжигаясь, кашляя; в нем, как в Алексее, было что-то подпрыгивающее, лишнее и, кажется, злое. Темные зрачки его воспаленных глаз смотрели слепо, с Петром Артамоновым он здоровался молча, непочтительно совал ему шершавую, горячую руку и быстро отдергивал ее. В конце концов, это был какой-то ненужный человек и нельзя понять: зачем он Мирону?

— Ты, Степа, ешь, а не говори,— советовала ему Ольга, он трескуче отвечал:

— Не могу, здесь проповедуют пагубную ересь!

Петра изумляло молчаливое внимание Алексея к спорам студентов, он лишь изредка поддерживал сына:

— Правильно! Где сила, там и власть, а сила — в промышленниках, значит...

Ольга, с лучистыми морщинками на висках, с красненьким кончиком носа, отягченного толстыми, без оправы, стеклами очков, после обеда и чая садилась к пяльцам у окна и молча, пристально, бесконечно вышивала бисером необыкновенно яркие цветы. У брата Петр чувствовал себя уютнее, чем дома, у брата было интересней и всегда можно выпить хорошего вина.

Возращаясь домой с Яковом, отец спрашивал его:

— Понимаешь, о чем спорят?

— Понимаю,— кратко отвечал сын.

Чтоб скрыть от него свое непонимание, Артамонов старший строго допытывался:

— А о чем?

Яков всегда отвечал неохотно, коротко, но понятно; по его словам выходило, что Мирон говорит: Россия должна жить тем же порядком, как живет вся Европа, а Горицветов верит, что у России свой путь. Тут Артамонову старшему нужно было показать сыну, что у него, отца, есть на этот счет свои мысли, и он внушительно сказал:

— Если бы иноземцы жили лучше нас, так они бы к нам не лезли...

Но — это была мысль Алексея, своих же не оказывалось. Артамонов обиженно хмурился. А сын как будто еще углубил обиду, сказав:

— Можно прожить и не хвастаясь умом, без этих разговоров...

Артамонов старший промычал:

— Можно и без них...

Он все чаще испытывал толчки маленьких обид и удивлений. Они отодвигали его куда-то в сторону, утверждая в роли зрителя, который должен все видеть, обо всем думать. А все вокруг незаметно, но быстро изменилось, всюду, в словах и делах, навязчиво кричало новое, беспокойное. Как-то, за чаем, Ольга сказала:

— Правда — это когда душа полна и больше ничего не хочешь.

— Верно,— согласился Петр.

Но Мирон, сверкнув очками, начал учить мать:

— Это — не правда, а — смерть. Правда — в деле, в действии.

Когда он ушел, унося с собою толстый лист бумаги, свернутый в трубу, Петр заметил Ольге:

— Груб с тобою сын.

— Нисколько.

— Вижу, груб!

— Он — умнее меня,— сказала Ольга.— Я ведь необразованна, я часто глупости говорю. Дети вообще умнее нас.

В это Артамонов не мог поверить, усмехаясь, он ответил:

— Верно, ты говоришь глупости. А вот старики были умнее нас, стариками сказано: «От сыновей — горе, от дочерей — вдвое»,— поняла?

Ее слова об уме детей очень задели его, она, конечно, хотела намекнуть на Илью. Он знал, что Алексей помогает Илье деньгами, Мирон пишет ему письма, но из гордости он никогда не расспрашивал, где и как живет Илья;

Ольга сама, между прочим, искусно рассказывала об этом, понимая гордость его. От нее он знал, что Илья зачем-то уехал жить в Архангельск, а теперь живет за границей.

— Ну, и пускай живет. Умнее будет — поймет, что был глуп.

Порою, думая об Илье, он удивлялся упрямству сына; все кругом умнеют, чего он ждет, Илья?

Он нередко встречал в доме брата Попову с дочерью, все такую же красивую, печально спокойную и чужую ему. Она говорила с ним мало и так, как, бывало, он говорил с Ильей, когда думал, что напрасно обидел сына. Она его стесняла. В тихие минуты образ Поповой вставал пред ним, но не возбуждал ничего, кроме удивления; вот, человек нравится, о нем думаешь, но — нельзя понять, зачем он тебе нужен, и говорить с ним так же невозможно, как с глухонемым.

Да, все изменялось. Даже рабочие становятся все капризнее, злее, чахоточнее, а бабы все более крикливы. Шум в рабочем поселке беспокойней; вечерами даже кажется, что все там воют волками и даже засоренный песок сердито ворчит.

У рабочих заметна какая-то непоседливость, страсть бродяжить. Никем и ничем не обиженные парни вдруг приходят в контору, заявляя о расчете.

— Куда это вы?— спрашивал Петр.

— Поглядеть, что в других местах.

— Чего они бесятся?— спрашивал Артамонов старший брата,— Алексей с лисьими ужимочками, посмеиваясь, говорил, что рабочие волнуются везде.

— Еще у нас — хорошо, тихо, а вот в Петербурге... Чиновники, министры у нас не те, каких надо...

И дальше он говорил уже нечто такое дерзкое, глупое, что старший брат угрюмо поучал его:

— Ерунда это! Это господам выгодно власть отнять у царя, господа беднеют. А мы и безвластно богатеем. Отец у тебя в дегтярных сапогах по праздникам гулял, а ты заграничные башмаки носишь, шелковые галстуки. Мы должны быть работники царю, а не свиньи. Царь — дуб, это с него нам золотые желуди.

Алексей, слушая, усмехался и этим еще более раздражал. Артамонов старший находил, что все вообще люди слишком часто усмехаются; в этой их новой привычке есть что-то и невеселое и глупое. Никто из них не умел, однако,

насмешничать так утешительно и забавно, как Серафим-плотник, бессмертный старичок.

Артамонов очень подружился с Утешителем. Время от времени на него снова стала нападать скука, вызывая в нем непобедимое желание пить. Напиваться у брата было стыдно, там всегда торчали чужие люди, а он особенно не хотел показать себя пьяным Поповой. Дома Наталья в такие дни уныло сгибалась, угнетенно молчала; было бы лучше, если б она ругалась, тогда и самому можно бы ругать ее. А так она была похожа на ограбленную и, не возбуждая злобы, возбуждала чувство, близкое жалости к ней; Артамонов шел к Серафиму.

— Выпить хочу, старик!

Веселый плотник улыбался, одобрял:

— Это — обыкновенное дело, как солнышко летом! Устал ты, значит, притомился. Ну, ну, подкрепись! Дело твое — не малое, не бородавка на щеке!

Он держал для хозяина необыкновенного вкуса настойки, наливки, доставал из всех углов разноцветные бутылки и хвастался:

— Сам выдумал, а совершает одна дьяконица, вдова, перец-баба! Вот, отведай, эта — на березовой серьге с весенним соком настояна. Какова?

Присаживался к столу и, потягивая свое, «репное», болтал:

— Да, так вот, дьяконица! Разнесчастная женщина. Что ни любовник, то и вор. А без любовников — не может, такое у нее нетерпение в жилах...

— Нет, вот я видел одну на ярмарке,— вспоминал Артамонов.

— Конечно!— спешил подтвердить Серафим.— Там отборные товары со всей земли. Я знаю!

Серафим всех и все знал; занятно рассказывал о семейных делах служащих и рабочих, о всех говорил одинаково ласково и о дочери своей, как о чужой ему.

— Остепенилась, шельма. Живет со слесарем Седовым и ведь хорошо живет, гляди-ко! Да, всякая тварь свою ямку находит.

Хорошо было у Серафима в его чистой комнатке, полной смолистого запаха стружек, в теплом полумраке, которому не мешал скромный свет жестяной лампы на стене.

Выпив, Артамонов жаловался на людей, а плотник утешал его.

— Это — ничего, это хорошо! Побежали люди, вот

в чем суть! Лежал-лежал человек, думал-думал, да встал и — пошел! И пускай идет! Ты — не скучай, ты человеку верь. Себе-то веришь?

Петр Артамонов молчал, соображая: верит он себе или нет? А бойкий голосок Серафима, позванивая словами, утешительно пел:

— Ты не гляди, кто каков, плох, хорош, это непрочно стоит, вчера было хорошо, а сегодня — плохо. Я, Петр Ильич, все видел, и плохое и хорошее, ох, много я видел! Бывало — вижу: вот оно, хорошее! А его и нет. Я — вот он я, а его нету, его, как пыль ветром, снесло. А я — вот! Так ведь я — что? Муха между людей, меня и не видно. А — ты...

Серафим, многозначительно подняв палец, умолкал.

Слушать его речи Артамонову было дважды приятно; они действительно утешали, забавляя, но в то же время Артамонову было ясно, что старичишка играет, врет, говорит не по совести, а по ремеслу утешителя людей. Понимая игру Серафима, он думал:

«Шельмец старик, ловок! Вот, Никита эдак-то не умеет».

И вспоминал разных утешителей, которых видел в жизни: бесстыдных женщин ярмарки, клоунов цирка и акробатов, фокусников, укротителей диких зверей, певцов, музыкантов и черного Степу, «друга человеческого». В брате Алексее тоже есть что-то общее с этими людьми. А в Тихоне Вялове — нет. И в Пауле Менотти тоже нет.

Пьянея, он говорил Серафиму:

— Врешь, старый черт!

Плотник, хлопая ладонями по своим острым коленям, говорил очень серьезно:

— Не-ет! Ты сообрази: как мне врать, ежели я правды не знаю? Я же тебе из души говорю: правды не знаю я, стало быть — как же я совру?

— Тогда — молчи!

— Али я немой? — ласково спрашивал Серафим, и розовое личико его освещалось улыбкой. — Я — старичок, — говорил он, — я мое малое время и без правды доживу. Это молодым надо о правде стараться, для того им и очки полагаются. Мирон Лексеич в очках гуляет, ну, он насквозь видит, что к чему, кого — куда.

Артамонову старшему было приятно знать, что плотник не любит Мирона, и он хохотал, когда Серафим, позванивая на струнах гусель, задорно пел:

Ходит дятел по заводу,
Смотрит в светлые очки,
Дескать, я тут — самый умный,
Остальные — дурачки!

— Верно! — одобрял Артамонов.

А плотник, тоже пьяненький, притопывая аккуратной ножкой, снова пел:

То не ястреб, то не сыч
Щиплет птичек гоже,
Это — Алексей Ильич,
Угодничек божий!

Артамонову старшему и это нравилось; тогда Серафим бесстыдно пел о Якове:

Яша Машу обнимает,
Ничего не понимает...

Так они забавлялись иногда до рассвета, потом в дверь стучал Тихон Вялов, будил хозяина, если он уже уснул, и равнодушно говорил:

— Домой пора, сейчас гудок будет; рабочие увидят вас,— нехорошо!

Артамонов кричал:

— Что — нехорошо? Я — хозяин!

Но подчинялся дворнику, шел, тяжело покачиваясь, ложился спать, иногда спал до вечера, а ночью снова сидел у Серафима.

Веселый плотник умер за работой; делал гроб утонувшему сыну одноглазого фельдшера Морозова и вдруг свалился мертвым. Артамонов пожелал проводить старика в могилу, пошел в церковь, очень тесно набитую рабочими, послушал, как строго служит рыжий поп Александр, заменивший тихого Глеба, который вдруг почему-то расстригся и ушел неизвестно куда. В церкви красиво пел хор, созданный учителем фабричной школы Грековым, человеком похожим на кота, и было много молодежи.

«Воскресенье»,— объяснил себе Артамонов обилие народа.

Небольшой, легкий гроб несли тоже молодые ткачи; более солидные рабочие держались в стороне; за гробом шагала нахмурясь, но без слез, Зинаида в непристойно пестрой кофте, рядом с нею широкоплечий, чисто одетый слесарь Седов, в стороне тяжело мял песок Тихон Вялов. Ярко сияло солнце, мощно и согласно пели певчие, и был

заметен в этих похоронах странный недостаток печали.

— Хорошо хоронят,— сказал Артамонов, отирая пот с лица; Тихон остановился, глядя под ноги себе, подумал, потом сказал:

— Приятен был; игровой, как эта...

Он повертел рукою в воздухе.

— Ее старик по улице носил, а девчонка пела... Утешал.

Взглянув на хозяина с непочтительной, возмутившей Артамонова строгостью, он добавил:

— С толку он сбивал людей: никого не обижает, а живет — неправедно.

— Праведно, праведно!— передразнил его хозяин.— Ты к этим мыслям на цепь посажен. Гляди — сбесишься, как Тулун...

И, круто отвернувшись от дворника, Артамонов пошел домой.

Было еще рано, около полудня, но уже очень жарко; песок дороги и синь воздуха становились все горячее. К вечеру солнце напарило горы белых облаков, они медленно поплыли над краем земли к востоку, сгущая духоту. Артамонов погулял в саду, вышел за ворота. Тихон мазал дегтем петли ворот; заржавев во время весенних дождей, они скверно визжали.

— Что ж ты сегодня, в праздник, мажешь?— лениво спросил Артамонов, присев на лавку,— Тихон косо взглянул на него белками глаз и сказал вполголоса:

— Серафим был вредный.

— Чем это?

В ответ Артамонову черными тараканами поползли странные слова:

— Памятлив был, помнил много. Все помнил, что видел. А — что видеть можно? Зло, канитель, суету. Вот он и рассказывал всем про это. От него большая смута пошла. Я — вижу.

Тыкая помазком в пятки петель, он продолжал все более ворчливо:

— Вышибить надо память из людей. От нее зло растет. Надо так: одни пожили — померли, и все зло ихнее, вся глупость с ними издохла. Родились другие; злого ничего не помнят, а добро помнят. Я вот тоже от памяти страдаю. Стар, покоя хочу. А — где покой? В беспамятстве покой-то...

Никогда еще Тихон не говорил сразу так много и раз-

дражающе. Глупые, как всегда, слова его в этот час почему-то были особенно враждебны Артамонову; разглядывая клочковатую бороду дворника, его жидкие, расплывшиеся зрачки, измятый морщинами каменный лоб, Артамонов удивлялся все растущему уродству этого человека. Морщины были неестественно глубоки, точно складки на голенище сапога, скуластое лицо, оголенное старостью, приняло серый цвет пемзы, нос — ноздреватый, как губка.

«Одряхлел,— думал Артамонов, и это было приятно ему.— Заговариваться стал. Не работник, надо рассчитать. Дам награду».

Держа в одной руке квач, а в другой ведерко дегтя, Тихон подвинулся к нему и, указывая квачом на темно-красное, цвета сырого мяса, здание фабрики, ворчал:

— Ты послушал бы, что они там говорят, Седов-щеголь, кривой Морозов, брат его Захарка, Зинаидка тоже,— они прямо говорят: которое дело чужими руками строится — это вредное дело, его надо изничтожить...

— Будто — твои мысли,— насмешливо сказал хозяин.

— Мои?— Тихон отрицательно мотнул головой.— Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тогда ничего не будет, никакого зла. А они говорят: все — от нас пошло, мы — хозяева! Ты гляди, Петр Ильич, это верно: все от них! Они тебя впрягли в дело, ты вывез воз на ровную дорогу, а теперь...

Артамонов солидно крякнул, встал, сунул руки в карманы и решительно, хотя несколько путаясь в словах, заговорил, глядя через голову Тихона, в облака:

— Вот что: я, конечно, понимаю, ты всю жизнь со мной прожил, это — так! Ну, однако ты стар, тебе уж трудно...

— А Серафим поддакивал в этом,— сказал Тихон, видимо, не слушая хозяина.

— Подожди! Тебе пора на отдых...

— Всем — пора. А как же?

— Постой... Характер у тебя — тяжелый...

Тихон Вялов не удивился, услыхав о расчете, он спокойно пробормотал:

— Ну, что ж...

— Я тебя, конечно, награжу,— обещал Артамонов, несколько смущенный его спокойствием. Тихон промолчал, смазывая дегтем свои пыльные сапоги; тогда Артамонов сказал со всей твердостью:

— Значит — прощай!

— Ладно,— ответил дворник.

Артамонов пошел за реку, надеясь, что там прохладнее; там, под сосною, где он поссорился с Ильей, Серафим построил ему из белых сучьев березы нечто вроде трона. Оттуда хорошо было видно всю фабрику, дом, двор, поселок, церковь, кладбище. Льдисто сверкали большие окна фабричной больницы, школы, маленькие люди челноками сновали по земле, ткали бесконечную ткань дела, люди еще меньше бегали по песку фабричного поселка. Около церковной ограды, среди серых стволов ольхи, паслось игрушечное стадо коз; их развел одноглазый фельдшер Морозов, внук древнего ткача Бориса,— фабричные бабы много покупали козьего молока для детей. А за больницей, на лысом квадрате земли, обнесенном решеткой, паслись мелкие люди в желтых халатах и белых колпаках, похожие на сумасшедших. Вокруг фабрики развелось много птиц: воробьев, ворон, галок, трещали сороки, торопливо перелетая с места на место, блестя атласом белых боков; сизые голуби ходили по земле, особенно много было птиц около трактира на берегу Ватаракши, где останавливались мужики, привозя лен.

Но с некоторого времени все это большое хозяйство уже не возбуждало ни удовольствия, ни гордости Артамонова, оно являлось для него источником разнообразных обид. Обидно было видеть, как брат, племянник и разные люди, окружающие их, кричат, размахивают руками, точно цыгане на базаре, спорят, не замечая его, человека старшего в деле. Даже говоря о фабрике, они забывали о нем, а когда он им напоминал о себе, люди эти слушали его молча, как будто соглашались с ним, но делали все по-своему и в крупном и в мелком. Это началось давно, еще с той поры, как они, против его желания, построили на фабрике электрическую станцию; Артамонов старший быстро убедился, что это и выгоднее и безопасней, но все-таки не мог забыть обиду. Мелких обид было много, и они всё увеличивались в числе, становились острее.

Особенно дерзко и противно вел себя племянник; он кончил учиться, одевался в какие-то нерусские, кожаные курточки, весь, от золотых очков до желтых ботинок, блестел, щурился, морщился и говорил:

— Это, дядя, старо. Не то время, дядя.

Казалось, он боится времени, как слуга — строгого хозяина. Но только этого он и боялся, во всем же остальном — невыносимо дерзок. Однажды он даже сказал:

— Поймите, дядя, с такими людьми, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить.

Это настолько крепко ударило Артамонова, что он даже не спросил: почему? Оскорбленный, ушел и несколько недель не ходил к брату, не разговаривал с Мироном, встречая его на фабрике.

Мирон собирался жениться на дочери Веры Поповой, такой же высокой и стройной, как ее поседевшая, замороженная мать. Как все, эта девица тоже неприятно усмехалась. Она дергала шеей, присматривалась ко всему упорным взглядом больших, бесстыдно открытых глаз, должно быть, ни во что не верующих, и, напевая сквозь зубы, жужжа, как муха, с утра до вечера портила полотно, размазывая на нем пестрые картинки. Ее соломенная шляпа, привязанная лентой за шею, всегда болталась на спине, волосы у нее были тоже соломенного цвета; одевалась неаккуратно, ноги были видны из-под юбки, почти до колен.

Противен был бездельник Горицветов; он мелькал, как стриж, неожиданно являлся, исчезал, снова являлся и, наскакивая на всех злой, маленькой собачкой, кричал свое:

— Вы хотите превратить богато одухотворенную Россию в бездушную Америку, вы строите мышеловку для людей...

В этих криках Артамонов слышал иногда что-то верное, но чаще — нечто общее с глупостью Тихона Вялова, хотя он не знал людей, более различных, чем этот обожженный, судорожный прыгун и тяжелый, ко всему равнодушный Тихон. Горицветов подбегал к Елизавете Поповой и кричал на нее:

— Почему вы молчите, вы, человек духа?

Она улыбалась; лицо у нее было надменно и неподвижно, улыбались только ее серые, осенние глаза. Артамонов старший слышал какие-то неслыханные, непонятные слова.

— Агония романтизма,— говорил Мирон, тщательно протирая куском замши стекла очков.

Алексей летал где-то в Москве; Яков толстел, держался солидно в стороне, он говорил мало, но, должно быть, хорошо: его слова одинаково раздражали и Мирона и Горицветова. Яков отпустил окладистую татарскую бородку, и вместе с рыжеватой бородою у Якова все заметнее насмешливость; приятно было слышать, когда сын лениво говорил бойким людям:

— Сядите вы в лужу по дороге в господа! Жили бы проще.

Старшему Артамонову и — он видел — Якову было очень смешно, когда Елизавета Попова вдруг уехала в Москву и там обвенчалась с Горицветовым. Мирон обозлился и не мог скрыть этого; покручивая острую, не купеческую бородку, вытягивая из нее нить сухих слов, он говорил явно фальшиво:

— Такие люди, как Степан Горицветов,— люди вымирающего племени. Нигде в мире нет людей настолько бесполезных, как он и подобные ему.

Яков сказал, подзадоривая:

— Однако ж один эдакий ловко стащил из-под твоего носа кусок, облюбованный тобою!

Приподняв плечи, Мирон ответил:

— Я — не романтик.

— Чего? Кто это?— спросил Артамонов старший, и Мирон отчеканил, точно судья, читающий приговор свой:

— Никто не понимает, что такое романтик, вам этого тоже не понять, дядя. Это — нечто для красоты, как парик на лысую голову, или — для осторожности, как фальшивая борода жулику.

«Ага, прищемил нос»,— подумал Артамонов старший с удовольствием.

Эти маленькие удовольствия несколько примиряли его со множеством обид, которые он испытывал со стороны бойких людей, все более крепко забиравших дело в свои цепкие руки, отодвигая его в сторону, в одиночество. Но и в одиночестве он нашел, надумал нечто горестно приятное, одиночество знакомило его с новым, хотя уже смутно знакомым,— с Петром Артамоновым иного рисунка, иного характера.

— Это — хороший человек, и он жестоко обижен; жизнь обращалась с ним несправедливо, как мачеха с пасынком. Он начал жизнь покорным, бессловесным слугою своего отца, который не дал ему никаких радостей, а только глупую, скучную жену и взвалил на плечи его большое, тяжелое дело. Да, жена любила его, и первый год жизни с нею был не плох, но теперь он знал, что даже распутная шпульница Зинаида умеет любить забавнее, жарче. И уж лучше не вспоминать о ловких, бешеных женщинах ярмарки. Жена всю жизнь боялась, сначала — Алексея, керосиновых ламп, потом электрических; когда они вспыхивали, Наталья отскакивала и крестилась. Она

сконфузила его на ярмарке, в магазине граммофонов.

— Ой, не надо, не покупай!— просила она.— Может, в этой штуке проклятый кричит, душа его спрятана!

Теперь она боялась Мирона, доктора Яковлева, дочери своей Татьяны и, дико растолстев, целые дни ела. Из-за нее едва не удавился брат. Дети не уважали ее. Когда она уговаривала Якова жениться, сын советовал ей насмешливо:

— Ты, мама, лучше покушай чего-нибудь.

Она отвечала покорно и неуверенно:

— Да я как будто уж не хочу.

И снова ела.

Отец сказал Якову:

— Ты что насмехаешься над матерью? Жениться тебе — пора!

— Не время связывать себя семьей,— деловито ответил Яков.

— Да что вы все боитесь времени?— рассердился отец; сын, не ответив, пожал плечами.

Он тоже говорил:

— Вы, папаша, не понимаете.

Он говорил это мягко, но все-таки ведь не может быть, чтоб отец понимал меньше сына. Люди живут не завтрашним днем, а вчерашним, все люди так живут.

Старший сын, любимый, пропал, исчез. Из любви к нему пришлось сделать такое, о чем не хочется вспоминать.

Старшая дочь Елена, широколицая, широкобедрая баба, избалованная богатством и пьяницей мужем, была совершенно чужим человеком; она изредка приезжала навестить родителей, пышно одетая, со множеством колец на пальцах. Позванивая золотыми цепочками, брелоками, глядя сытыми глазами в золотой лорнет, она говорила усталым голосом:

— Как у вас пахнет нехорошо; дом весь протух, сгнил; вы бы новый построили. И кто же теперь живет рядом с фабрикой!

Артамонов случайно слышал, как она говорила матери:

— А папаша все такой же? Как, должны быть, скучно с ним! Мой — пьяница, шалун, а — веселый.

У нее была какая-то особенно раздражавшая страсть к чистоте: садясь на стул, она обмахивала его платочком, от нее так крепко пахло духами, что хотелось чихать; ее бесцеремонная, обидная брезгливость ко всему в доме вызывала у Артамонова желание возместить дочери за все,

чем она раздражала его; он при ней ходил по дому и даже по двору в одном нижнем белье, в неподпоясанном халате, в галошах на босую ногу, а за обедом громко чавкал и рыгал, как башкир. Дочь возмущалась:

— Что это, папаша?

Именно этого возмущения он и добивался.

— Извините, барыня! — говорил он. — Я ведь мужик.

И рыгал, чавкал еще более свирепо.

Дочь бывала за границей и вечерами, лениво, жирненьким голосом рассказывала матери чепуху: в каком-то городе бабы моют наружные стены домов щетками с мылом, в другом городе зиму и лето такой туман, что целый день горят фонари, а все-таки ничего не видно; в Париже все торгуют готовым платьем и есть башня настолько высокая, что с нее видно города, которые за морем.

С младшей сестрою Елена спорила и даже ругалась. Татьяна росла худенькой, темнокожей и обозленной тем, что она неприглядна. В ней было что-то, напоминавшее дьячка; должно быть, ее коротенькая коса, плоская грудь и синеватый нос. Она жила у сестры, не могла почему-то кончить гимназию, боялась мышей и, соглашаясь с Мироном, что власть царя надо ограничить, недавно начала курить папиросы. Приезжая летом на фабрику, кричала на мать, как на прислугу, с отцом говорила сквозь зубы, целые дни читала книги, вечером уходила в город, к дяде, оттуда ее привозил золотозубый доктор Яковлев. По ночам не спала от девичьей тоски и била туфлей комаров на стенах, как будто стреляя из пистолета.

Все вокруг становилось чуждо, крикливо, вызывающе глупо, все — от дерзких речей Мирона до бессмысленных песенок кочегара Васьки, хромого мужика с вывихнутым бедром и растрепанной, на помело похожей головою; по праздникам Васька, ухаживая за кухаркой, торчал под окном кухни и, подыгрывая на гармонике, закрыв глаза, орал:

Стала ты теперь несчастна-я,
Моя привычка!
Хочу видеть ежечасно
Твое, морда, личико!

И давно уже Ольга ничего не рассказывала про Илью, а новый Петр Артамонов, обиженный человек, все чаще вспоминал о старшем сыне. Наверное Илья уже получил достойное возмездие за свою строптивость, об этом гово-

рило изменившееся отношение к нему в доме Алексея. Как-то вечером, придя к брату и раздеваясь в передней, Артамонов старший слышал, что Мирон, возвратившийся из Москвы, говорит:

— Илья — один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеют отличить корову от лошади.

«Врешь»,— подумал Артамонов, находя что-то утешительное во враждебном отзыве племянника.

Алексей спросил:

— Он — одной партии с Горицветовым?

— Он — вреднее,— ответил Мирон.

Входя в комнату, Артамонов старший мысленно пригрозил им:

«Погодите, воротится он — покажет вам кое-что...»

Мирон тотчас начал рассказывать о Москве, сердито жаловаться на бестолковость правительства; приехала Наталья с сыном — Мирон заговорил о необходимости строить бумажную фабрику, он давно уже надоедал этим.

— У нас, дядя, деньги зря лежат,— сказал он. Наталья, покраснев так, что у нее даже уши вспухли, крикливо возразила:

— Где это они лежат, у кого лежат?

Артамонова вдруг объяла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где все знакомо и так надоело, что комната кажется пустой. Эта внезапная, телесная скука являлась откуда-то извне, туманом; затыкая уши, ослепляя глаза, она вызывала ощущение усталости и пугала мыслями о болезни, о смерти.

— Надоели вы мне,— сказал он.— Когда я отдохну от вас?

Яков проворчал:

— Довольно возни с тем, что есть...

А Наталья кричала:

— И так развели рабочих до того, что выйти некуда! Пьянство, матерщина...

Артамонов подошел к окну,— в саду стоял Тихон Вялов и, задрав голову, указывал пальцем на яблоню какой-то девчонке.

«Ишь ты, Адам»,— подумал Петр Артамонов, стряхнув скуку; такие отдаленные думы не часто, мышами, пробегали мимо него, он всегда рад был их внезапности, он даже любил их за то, что они не тревожили, мелькнет, исчезнет и — только.

Вот тоже Тихон; жестоко обиделся Петр Артамонов,

увидав, что брат взял дворника к себе после того, как Тихон пропадал где-то больше года и вдруг снова явился, притащив неприятную весть: брат Никита скрылся из монастыря неизвестно куда. Петр был уверен, что старик знает, где Никита, и не говорит об этом лишь потому, что любит делать неприятное. Из-за этого человека Артамонов старший крепко поссорился с братом, хотя Алексей и убедительно защищал себя:

— Подумай: человек всю жизнь работал на нас, а мы его выкинули,— ну, хорошо это?

Петр знал, что это нехорошо, но еще хуже для него было присутствие Тихона в доме. Жена тоже, кажется, первый раз за всю жизнь встала на сторону Алексея; с необычной для нее твердостью она говорила:

— Нехорошо, Петр Ильич, хоть бей меня, а — нехорошо!»

Они и Ольга уговорили и успокоили его. Но обиженный человек торжествовал:

«Что? Твоя воля — никому не закон... Видишь?»

Обиженный человек становился все виднее, ощутимее Артамонову старшему. Осторожно внося на холм, под сосну, свое отяжелевшее тело, Петр садился в кресло и, думая об этом человеке, искренно жалел его. Было и сладостно и горько выдумывать несчастного, непонятного, никем не ценимого, но хорошего человека; выдумывался он так же легко, так же из ничего, как в жаркие дни над болотами, в синей пустоте, возникал белый дым облаков.

Глядя на фабрику и на все рожденное ею, человек этот внушал:

«Можно бы жить иначе, без этих затей».

Фабрикант Артамонов возражал ему:

«Тихоновы мысли».

«Поп Глеб то же говорил, и Горицветов, и еще многие. Да, мухами в паутине бьются люди».

«Дешево — не проживешь»,— нехотя возражал фабрикант.

Иногда этот немой спор двух людей в одном разгорался особенно жарко, и обиженный человек, становясь беспощадным, почти кричал:

«Помнишь, ты, пьяный, на ярмарке, каялся людям, что принес в жертву сына, как Авраам Исаака, а мальчишку Никонова вместо барана подсунули тебе, помнишь? Верно это, верно! И за это, за правду, ты меня бутылкой ударил. Эх, задавил ты меня, погубил! И меня ты в жертву

принес. А — кому жертва, кому? Рогатому богу, о котором Никита говорил? Ему? Эх ты...»

В минуты столь жестоких споров фабрикант Артамонов старший крепко закрывал глаза, чтоб удержать постыдные, злые и горькие слезы. Но слезы неудержимо лились, он стирал их со щек и бороды ладонями, потом досуха тер ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие, багровые руки свои. И пил мадеру большими глотками прямо из горлышка бутылки.

Но, несмотря на эти горестные слезы, выжимаемые им, обиженный человек был приятен и необходим Артамонову старшему, как банщик, когда тот мягкой и в меру горячей, душисто намыленной мочалкой трет кожу спины в том месте, где самому человеку нельзя почесать,— не достает рука.

...Вдруг где-то далеко, за Сибирью, поднялся крепкий кулак и стал бить Россию.

Алексей подпрыгивал, размахивал газетой, кричал:

— Разбой! Грабеж!— и, поднимая птичью лапу к потолку, свирепо шевелил пальцами, шипел:

— Мы их... мы им...

Златозубый доктор, сунув руки в карманы, стоял, прислонясь к теплым изразцам печи, и бормотал:

— Возможно, что и они нас.

Этот большой, медно-рыжий человек, конечно, усмехался, он усмехался всегда, о чем бы ни говорилось; он даже о болезнях и смертях рассказывал с той же усмешечкой, с которой говорил о неудачной игре в преферанс; Артамонов старший смотрел на него, как на иноземца, который улыбается от конфуза оттого, что не способен понять чужих ему людей; Артамонов не любил его, не верил ему и лечился у городского врача, молчаливого немца Крона.

Озабоченно покручивая бородку, морщась, точно у него болел висок, Мирон журавлем шагал из угла в угол и поучал всех:

— Дело надо было начинать в союзе с англичанами...

— Да — какое дело-то?— допытывался Артамонов старший, но ни бойкий брат, ни умный племянник не могли толково рассказать ему, из-за чего внезапно вспыхнула эта война. Ему было приятно наблюдать смятение всезнающих, самоуверенных людей, особенно смешным казался брат, он вел себя так непонятно, что можно было думать: эта нежданная война задевала, прежде всех,

именно его, Алексея Артамонова, мешая ему делать что-то очень важное.

По городу пошел крестный ход. Бородатое купечество, важно и благочестиво утаптывая тяжелыми ногами обильно выпавший снег, тесным стадом быков шагало за кряжистым, золотым духовенством; несло иконы, хоругви; соединенный хор всех церквей города громогласно и внушительно пел:

— «Спаси, го-осподи, люди твоя-а...»

Слова молитвы, похожей на требование, вылетали из круглых ртов белым паром, замерзая инеем на бровях и усах басов, оседая в бородах нестройно подпевавшего купечества. Особенно пронзительно, настойчиво и особенно не в лад хору пел городской голова Воропонов, сын тележника; толстый, краснощекий, с глазами цвета перламутровых пуговиц, он получил в наследство от своего отца вместе с имуществом и неукротимую вражду ко всем Артамоновым.

Они, семеро, шли все вместе; впереди прихрамывал Алексей, ведя жену под руку, за ним Яков с матерью и сестрой Татьяной, потом шел Мирон с доктором; сзади всех шагал в мягких сапогах Артамонов старший.

— Нация,— негромко говорил Мирон.

— Парад сил,— ответил доктор.

Мирон снял очки, стал протирать их платком, а доктор добавил:

— Увидите — вздуют!

— Ну-ну, это сырье не скоро загорится...

— Перестань,— сказал Артамонов старший племяннику, тот искоса взглянул на него и повесил очки на свой длинный нос, предварительно пощупав его пальцами.

— Спас-си, господи, люди твоя!— требовал Воропонов подчеркнуто громко, с присвистом вывизгивая слово «люди», волком оборачивался назад, оглядывая горожан, и зачем-то махал на них бобровой шапкой.

Хорошо, густо пела сорокалетняя, но свежая, круглая, грудастая дочь Помялова, третий раз вдова и первая в городе по скандальной, бесстыдной жизни. Петр Артамонов слышал, как она вполголоса советовала Наталье:

— Ты бы, кума, отправила мужа-то на войну, он у тебя страховидный, от него враги побегут.

И спрашивала Якова:

— Ты что, крестник, не женишься, петух?

Артамонов старший тряхнул головою, слова, как мухи,

мешали ему думать о чем-то важном; он отошел в сторону. стал шагать по тротуару медленнее, пропуская мимо себя поток людей, необыкновенно черный в этот день, на пышном, чистом снегу. Люди шли, шли и дышали паром, точно кипящие самовары.

Вот шагает во главе своих учениц Вера Попова с каменным лицом; снежинки искрятся на ее седых волосах; белые, в инее, ресницы ее дрогнули, когда она кивнула пышноволосой, ничем не покрытой головой. Артамонов пожалел ее:

«Глупая. Впряглась уток пасти».

Прокатилась длинная волна стриженых голов; это ученики двух городских училищ; тяжелой, серой машиной продвинулась полурота солдат, ее вел знаменитый в городе хладнокровный поручик Маврин: он ежедневно купался в Оке, начиная с половодья и кончая заморозками, и, как было известно, жил на деньги Помяловой, находясь с нею в незаконной связи.

Важно, сытым гусем, шел жандармский офицер Нестеренко, человек с китайскими усами, а его больная жена шла под руку с братом своим, Житейкиным, сыном умершего городского старосты и хозяином кожевенного завода; про Житейкина говорили, что хотя он распутничает с монахинями, но прочитал семьсот книг и замечательно умел барабанить по маленькому барабану, даже тайно учит солдат этому искусству.

Потом проехал в санях ожиревший Степан Барский с пьяницей зятем своим и косоглазой дочерью; темной кучей долго двигался мелкий народ: мещане, кожевники, ткачи, тележники, нищие и какие-то никому не нужные старухи, похожие на крыс. Снег лениво солил обнаженные головы, издали доносился неумолимо требующий крик Воропонова:

— Спаси, господи, люди твоя...

«А на что богу эти люди? Понять — нельзя»,— подумал Артамонов. Он не любил горожан и почти не имел в городе связей, кроме деловых знакомств; он знал, что и город не любит его, считая гордым, злым, но очень уважает Алексея за его пристрастие украшать город, за то, что он вымостил главную улицу, украсил площадь посадкой лип, устроил на берегу Оки сад, бульвар. Мирона и даже Якова боятся, считают их свыше меры жадными, находят, что они всё кругом забирают в свои руки.

Осматривая медленный ход задумавшихся людей, Ар-

тамонов хмурился,— много незнакомых лиц и слишком много разноцветных глаз смотрят на него с одинаковой неприязнью.

У ворот дома Алексея ему поклонился Тихон. Артамонов спросил:

— Воюем, старик?

Молча, знакомым движением тяжелой руки, Тихон погладил скулу. Первый раз за всю жизнь с ним Артамонов спросил этого человека с доверием к нему:

— Ты что думаешь?

— Пустяковина,— тотчас ответил Вялов, как будто он ждал вопроса.

— У тебя — все пустяки,— неопределенно сказал Артамонов.

— А — как же? Собаки, что ли? Не звери мы.

Артамонов пошел дальше сквозь мелкий, пыльный снег. Снег падал все гуще и уже почти совсем скрыл толпу людей вдали, в белых холмах деревьев и крыш.

Теперь, после смерти Серафима Утешителя, Артамонов старший ходил развлекаться к вдовой дьяконице Таисье Параклитовой, женщине неопределенных лет, худенькой, похожей на подростка и на черную козу. Она была тихая и всегда во всем соглашалась с ним:

— Так, милый!— говорила она.— Да, да, милый, да!

Пил Артамонов много, но хмелел медленно, и его раздражало, что навязчивые, унылые думы так долго не тают, не тонут в крепких, вкусных водках Таисьи. Первые минуты опьянения были неприятны, хмель делал мысли Петра о себе, о людях еще более едкими, горькими, окрашивал всю жизнь в злые, зелено-болотные краски, придавал им кипучую быстроту; Артамонову казалось, что это кипение вертит, кружит его, а в следующую минуту перебросит через какой-то край. Скрипя зубами, он вслушивался, всматривался в темный бунт внутри себя, потом кричал дьяконице:

— Ну, что молчишь? Говори что знаешь!

Женщина козой прыгала на колени к нему, она была удивительно легкая и теплая; раскрыв пред собою невидимую книгу, она читала:

— Поручика Маврина Помялова отчислила от себя, он опять проиграл в карты триста двадцать; хочет она векселя подать к взысканию, у нее векселя на него есть. А жандарм потому жену свою держит здесь, что завел в городе любовницу, а не потому, что жена больная...

— Это все — дрянь,— говорил Артамонов.

— Дрянь, милый, и — какая дрянь!

Ее рассказы о дрянненьких былях города путали думы Артамонова, отводили их в сторону, оправдывали и укрепляли его неприязнь к скучным грешникам — горожанам. На место этих дум вставали и двигались по какому-то кругу картины буйных кутежей на ярмарке; метались неистовые люди, жадно выкатив пьяные, но никогда не сытые глаза, жгли деньги и, ничего не жалея, безумствовали всячески в лютом озлоблении плоти, стремясь к большой, ослепительно белой на черном, бесстыдно обнаженной женщине...

Петр Артамонов молча сосал разноцветные водки, жевал скользкие, кисленькие грибы и чувствовал всем своим пьяным телом, что самое милое, жутко могучее и настоящее скрыто в ярмарочной бесстыднице, которая за деньги показывает себя голой и ради которой именитые люди теряют деньги, стыд, здоровье. А для него от всей жизни осталась вот эта черная коза.

— Раздевайся,— рычал он.— Пляши!

— Как же я без музыки-то?— говорит дьяконица, расстегиваясь.— Носкова бы позвать, охотника, он на гармонии хорошо играет...

В этих забавах время шло незаметно, иногда из потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое: зимою пришли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя.

Тихон Вялов ворчал:

— Еще и церкви рассыплют. А — как же? Народ — не железный.

Летом стали говорить, что по русским морям плавает русский же корабль и стреляет из пушек по городам,— Тихон сказал:

— А — как же? Навыкли воевать.

По городу снова пошли с иконами, Воропонов в рыжем сюртуке нес портрет царя и требовал:

— Спаси, господи, люди твоя-а-а!

В этот раз он кричал еще громче и даже злее, но все-таки в его — а-а!— призыв на помощь звучал тревожно.

Житейкин, с двухствольным ружьем в руках, пьяный, без шапки, сверкая багровой лысиной, шел во главе своих кожевников и неистово скандалил, орал:

— Ребята! Не дадим жидам Россию! Чья Россия? Наша!

— Наша,— согласно кричали кожевники, тоже не трезвые, и, встречая ткачей, врагов своих, затевали с ними драки, ударили палкой доктора Яковлева, бросили в Оку старика аптекаря; Житейкин долго гонялся по городу за сыном его, дважды разрядил вслед ему ружье, но — не попал, а только поранил дробью спину портного Брускова.

Фабрика перестала работать, молодежь, засучивая рукава рубах, бросилась в город, несмотря на уговоры Мирона и других разумных людей, несмотря на крики и плач баб.

Фабрика опустела, обездушела и точно сморщилась под ветром, который тоже бунтовал, выл и свистел, брызгая ледяным дождем, лепил на трубу липкий снег; потом сдувал его, смывал.

Сидя у окна, Артамонов старший тупо смотрел, как из города и в город муравьями бегут темненькие фигурки мужчин и женщин; сквозь стекла были слышны крики, и казалось, что людям весело. У ворот визжала гармоника, в толпе рабочих хромой кочегар Васька Кротов пел:

Стало тесно на земле:
Деремся с японами!
Они бьют нас по скуле,
А мы их — иконами!

Ветер приносил из города ворчливый шумок, точно там кипел огромный самовар, наполненный целым озером воды. На двор въехала лошадь Алексея, на козлах экипажа сидел одноглазый фельдшер Морозов; выскочила Ольга, окутанная шалью. Артамонов испугался и, забыв о боли в ногах, вскочил, пошел встречу ей.

— Что случилось?

Встряхиваясь, точно курица, она сказала:

— Окна побили у нас кожевники...

Артамонов, уступая ей дорогу, усмехнулся, проворчал:

— Ну, вот... Доболтались! Орали на меня, а — вот оно как! Нет, царь...

И вдруг он услыхал гневный, необычный для Ольги громкий ответ:

— Отстань! Нечестный человек это, твой царь!

— Много ты понимаешь в царях,— смущенно сказал он, дотрагиваясь до своего уха.

Его изумил гнев маленькой старушки в очках, всегда тихой, никого не осуждавшей, в ее словах было что-то поражающе искреннее, хотя и ненужное, жалкое, как мы-

шиный писк против быка, который наступил на хвост мыши, не видя этого и не желая. Артамонов сел в свое кресло, задумался.

Он давно, несколько недель, не видел Ольгу, избегал встреч с ее сыном, поссорившись с ним. Еще в конце лета, когда Петр Артамонов лежал в постели с отекшими ногами, к нему явился торжественный и потный Воропонов и, шлепая тяжелыми, синими губами, предложил ему подписать телеграмму царю — просьбу о том, чтоб царь никому не уступал своей власти. Артамонова очень удивила дерзкая затея городского головы, но он подписал бумагу, уверенный, что это будет неприятно брату, Мирону, да, наверное, и Воропонов получит хороший выговор из Петербурга: не суйся, дурак толстогубый, не в свое дело, не заносись высоко!

Положив бумагу в карман сюртука, застегнувшись на все пуговицы, Воропонов начал жаловаться на Алексея, Мирона, доктора, на всех людей, которые, подзуживаемы евреями, одни — слепо, другие своекорыстно, идут против царя; Артамонов старший слушал его жалобы почти с удовольствием, поддакивал, и только когда синие губы Воропонова начали злобно говорить о Вере Поповой, он строго сказал:

— Вера Николаевна тут ни при чем.

— Как это — ни при чем? Нам известно...

— Ничего тебе не известно.

— Доиграетесь до беды,— пригрозил голова и ушел.

А вечером на Артамонова собаками бросились племянник, дочь, бросились и залаяли, не щадя его старость.

— Что вы делаете, папаша?— кричала Татьяна, и на ее некрасивом лице прыгали сумасшедшие глаза. Яков стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами. Артамонову казалось, что и сын против него, а Мирон едко спрашивал:

— Вы читали, что там написано в этой бумаге?

— Не читал!— сказал Артамонов.— Не читал, а — знаю: написано, чтоб щенкам воли не давать!

Ему было приятно видеть, как сердятся Мирон и Татьяна, но молчание Якова — смущало, он верил деловитости сына, догадывался, что поступил против его интересов, а вовлечь Якова в этот спор, спросить: как он думает?— не позволяло самолюбие. Он лежал и огрызался, рычал, а Мирон долбил, качая носом:

— Поймите: царь окружен шайкой мошенников, и нужно, чтоб их сменили честные люди...

Артамонов знал, что именно Мирон метит в честные люди и что отец его ездил в Москву хлопотать, чтоб Мирона кто-то там назначил кандидатом в государеву думу. И смешно и опасно представить этого журавля-племянника близко к царю. Вдруг вбежал растрепанный, расстегнутый Алексей и запрыгал, затрещал:

— Что ж ты делаешь, безумный человек?

Он кричал, как на служащего.

— К черту!— взревел Артамонов старший.— Учить меня? Провалитесь все к черту! Вон!..

Он даже сам был испуган внезапным взрывом своего гнева.

Теперь, сидя в углу, слушая беззлобный рассказ Ольги о бунте в городе, он вспоминал эту ссору и пытался понять: кто же прав, он или эти люди?

Его особенно смутили детски гневные слова Ольги. Вот она уже спокойно, даже умиленно говорит:

— Милые люди ткачи у нас! Как они живо прогнали воропоновских рабочих и кожевников. Остались там, охраняют дом...

А Наталья, очень испуганная, сердито хныкает:

— От вашего дома и пошла смута. Так и надо вам! Все — от вас.

Явился Мирон и, не здороваясь, расхаживая по комнате пружинной походкой, стал грозить:

— Все эти Воропоновы и Житейкины дорого заплатят за то, что обучают народ бунтовать. Это им даром не пройдет, это отзовется! Вполне достаточно уроков мятежа со стороны друзей Ильи Петровича Артамонова, а если еще и эти начнут...

Артамонов старший промолчал.

После скандала с петицией Воропонова Мирон стал для него окончательно, непримиримо противен, но он видел, что фабрика всецело в руках этого человека, Мирон ведет дело ловко, уверенно, рабочие слушают его или боятся; они ведут себя смирнее городских.

Ветер притих, зарылся в густой снег. Снег падал тяжело и прямо, густыми хлопьями, он занавесил окна белым занавесом, на дворе ничего не видно. Никто не говорил с Артамоновым старшим, и он чувствовал, что все, кроме жены, считают его виновным во всем: в бунтах, в дурной погоде, в том, что царь ведет себя как-то неумело.

— А где же Яша?— тревожно спросила мать.— Яшато, говорю, где?

Мирон брезгливо сморщил нос и сказал, не глядя на тетку:

— Вероятно, спрятался в городе, в своем курятнике.

— Чего? В каком?— пугливо забормотала Наталья.

Артамонов подумал:

«Пожалуй, не знает, дура, что у Якова любовница».

И вдруг сказал твердо:

— Ну, вот что: живите, как хотите! Делайте. Да. Действительно — не понимаю я. Стар. А — тут... Тут черт играет. Жил — жил — ничего не понимаю...

IV

До двадцати шести лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей, но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковом запутанную, бесчестную игру. Началось это в апреле, ночью, года три спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ.

Яков лежал на диване и курил, наслаждаясь ощущением насыщенности, исключающей все желания; это ощущение он ценил выше всего в жизни, видя в нем весь ее смысл. Оно являлось одинаково приятным и после вкусного обеда и после обладания женщиной.

Женщина, кругленькая и стройная, стояла среди комнаты у стола, задумчиво глядя на сердитый, лиловый огонь спиртовки под кофейником; ее голые руки и детское лицо, освещенные огнем лампы под красным абажуром, окрашивались в цвет вкусно поджаренной корочки пирога. Растрепанные темные волосы картинно осыпали шею и плечи. На голом теле Полины золотисто-желтый бухарский халат, на ногах — зеленые, сафьяновые туфли. В ней есть что-то очень легкое, не русское; у нее милая рожица подростка-мальчишки; пухлые губы, задорные глаза, круглые, как вишни; даже в этот час, когда Яков сыт ею, она приятна ему. Она, конечно, несравнимо лучше всех девиц и женщин, которых он знал, и была бы совершенно хороша, если б не ее глупый характер.

— Я не хочу кофею, Апельсинчик,— сказал Яков, сквозь густую пелену дыма папиросы; Полина, не взглянув на него, спросила:

— А — я?

— Не знаю, чего ты хочешь,— ответил Яков, устало зевнув.

— Нет, знаешь,— схватив его слова на лету и встряхнув головою, заговорила женщина ломким голосом. Послушав минуту, две ее царапающие, крючковатые слова, Яков сел, бросил папиросу на пол и, надевая ботинки, сказал, вздохнув:

— Не понимаю твоей привычки портить хорошее настроение! Ведь ты знаешь: я не могу жениться, пока отец не помер...

Тут, как всегда, Полина осыпала его обильными словами:

— Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение! Я знаю: ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да! Ты — бесчестный человек...

Яков особенно не любил, когда она именовала его пауком, в ласковые минуты у нее было для него другое забавное имя — Солененький. И ему казалось, что уж сегодня-то она могла бы воздержаться от ссоры: за два часа пред этим он дал ей сто рублей.

— Криком ты ничего не добьешься,— спокойно предупредил он ее, надев шляпу, протягивая руку.— До свидания!

— Свинья! И опять окурков на пол набросал...

По улице метался сырой ветер, тени облаков ползали по земле, как бы желая вытереть лужи, на минуту выглядывала луна, и вода в лужах, покрытая тонким льдом, блестела медью. В этот год зима упрямо не уступала место весне; еще вчера густо падал снег.

Яков Артамонов шел не торопясь, сунув руки в карманы, держа под мышкой тяжелую палку, и думал о том, как необъяснимо, странно глупы люди. Что нужно милой дурочке Полине? Она живет спокойно, не имея никаких забот, получает немало подарков, красиво одевается, тратит около ста рублей в месяц, Яков знал, чувствовал, что он ей нравится. Ну, что же еще? Почему она хочет венчаться?

«Глупо, как мышь в банке варенья»,— заключил он любимой, им самим придуманной поговоркой. Жизнь казалась ему простой, не требующей от человека ничего, кроме того, чем он уже обладает. В сущности, ведь ясно: все люди стремятся к одному и тому же, к полноте покоя; суета дня — это только мало приятное введение к тишине ночи, к тем часам, когда остаешься один на один с жен-

щиной, а потом, приятно утомленный ее ласками, спишь без сновидений. В этом — все действительно значительное и настоящее. Люди — глупы уже потому, что почти все они, скрыто или явно, считают себя умнее его; они выдумывают очень много лишнего; возможно, что они делают это по силе какой-то слепоты, каждый хочет отличиться от всех других, боясь потерять себя в людях, боясь не видеть себя.

Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще тогда, когда он учился в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Много обидного видел от него Яков, а теперь вот, недавно, пришлось посылать Илье денег куда-то в Сибирь. Невыносимо, хотя и смешно, глупа мать; еще более невыносимо и тяжко глуп угрюмый отец, старый медведь, не умеющий жить с людями, пьяный и грязный. Смешон суетливый попрыгун дядя Алексей; ему хочется попасть в Государственную думу, ради этого он жадно питается газетами, стал фальшиво ласков со всеми в городе и заигрывает с рабочими фабрики, точно старая, распутная баба. Особенно же и как-то подавляюще, страшно глуп этот носатый дятел Мирон; считая себя самым отличным умником в России, он, кажется, видит себя в будущем министром, и уже теперь не скрывает, что только ему одному ясно, что надо делать, как все люди должны думать. Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них различные забавы, организовал команды футболистов, завел библиотеку, он хочет прикормить волков морковью.

Рабочие ткут великолепное полотно, одеваясь в лохмотья, живя в грязи, пьянствуя; они в массе околдованы тоже какой-то особенной глупостью, дерзко открытой, лишенной даже той простенькой, хозяйственной хитрости, которая есть у каждого мужика. О рабочих Якову Артамонову приходилось думать больше, чем о всем другом, потому что он ежедневно сталкивался с ними и давно, еще в юности, они внушали ему чувство вражды,— он имел тогда немало резких столкновений с молодыми ткачами из-за девиц, и до сего дня некоторые из его соперников, видимо, не забыли старых обид. Когда он был еще безбородым, в него дважды по ночам бросали камнями. Матери тогда не однажды приходилось откупаться деньгами от скандалов и бабьего визга, при этом она смешно уговаривала его:

— Что уж это ты, как петух! Подождал бы, когда же-

нишься, или уж заведи одну и — живи! Пожалуются на тебя отцу, так он тебя, как Илью, прогонит...

За два, три мятежных года Яков не заметил ничего особенно опасного на фабрике, но речи Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой, злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе,— все это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, что он уже научился искусно скрывать это чувство под мелкой уступчивостью их требованиям, под улыбками и шуточками. Но в общем все шло не плохо, хотя иногда внезапно охватывало и стесняло какое-то смущение, как будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него, давно живет и надоел им, они, скучно помалкивая, смотрят на него так, точно хотят сказать:

«Что ж ты не уходишь? Пора!»

В часы, когда он испытывал это, у него являлось смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него, лично для него.

Яков был уверен, что человек — прост, что всего милее ему — простота и сам он, человек, никаких тревожных мыслей не выдумывает, не носит в себе. Эти угарные мысли живут где-то вне человека, и, заражаясь ими, он становится тревожно непонятным. Лучше не знать, не раздувать эти чадные мысли. Но, будучи враждебен этим мыслям, Яков чувствовал их наличие вне себя и видел, что они, не развязывая тугих узлов всеобщей глупости, только путают все то простое, ясное, чем он любил жить.

Умнее всех людей, которых он знал, ему казался старик Тихон Вялов; наблюдая его спокойное отношение к людям, его милостивую работу, Яков завидовал дворнику. Тихон даже спал умно, прижав ухо к подушке, к земле, как будто подслушивая что-то.

Он спросил старика:

— Ты сны видишь?

— Зачем? Я не баба,— сказал Тихон, и под словами его Яков почувствовал что-то густое, устоявшееся, непоколебимо сильное.

«Бабьи сны»,— думал Артамонов младший, слушая споры и речи в доме дяди Алексея, думал и внутренно усмехался.

Вообще же он думал трудно, а задумываясь, двигался тяжело, как бы неся большую тяжесть, и, склонив голову, смотрел под ноги. Так шел он и в ту ночь от Полины; поэтому и не заметил, откуда явилась пред ним приземистая, серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил; выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю.

Лишь после этого Яков почувствовал, что он смертельно испуган, испуган так, что хотел закричать и не мог; руки его дрожали и ноги не послушались, когда он хотел встать с колен. В двух шагах от него возился на земле, тоже пытаясь встать, этот человек, без шапки, с курчавой головою.

— Застрелю, сволочь,— хрипло сказал Яков, вытягивая руку с револьвером,— человек повернул к нему широкое лицо и пробормотал:

— Застрелили уж...

Тут Яков узнал его, тоже забормотал изумленно:

— Носков? Ах, подлец! Ты?

Страх Якова быстро уступал чувству, близкому радости, это чувство было вызвано не только сознанием, что он счастливо отразил нападение, но и тем, что нападавший оказался не рабочим с фабрики, как думал Яков, а чужим человеком. Это — Носков, охотник и гармонист, игравший на свадьбах, одинокий человек; он жил на квартире у дьяконицы Параклитовой; о нем до этой ночи никто в городе не говорил ничего худого.

— Так вот чем ты занимаешься?— сказал Яков и встал на ноги, оглядываясь; было тихо, только ветер встряхивал сучки деревьев над забором.

— А — чем я занимаюсь?— вдруг громко спросил Носков.— Я пошутить хотел, попугать вас, больше ничего! А вы сразу — бац! За это — не похвалят, глядите! Я сам испугался...

— Ах, вот как?— насмешливо, тоном победителя, сказал Артамонов.— Ну, вставай, идем в полицию.

— Идти я не могу, вы меня изувечили.

Носков поднял шапку и, глядя внутрь ее, прибавил:

— А полиции я не боюсь.

— Ну, там — увидим. Вставай!

— Не боюсь,— повторил Носков.— Чем вы докажете, что я на вас напал, а не вы на меня, с испуга? Это — раз!

— Так. А — два?— спросил Яков, усмехнувшись, но несколько удивляясь спокойствию Носкова.

— Есть и два. Я для вас человек полезный.

— Это — сказка. Это из сказки!

И, направив револьвер в лицо гармониста, Яков с внезапной злостью пригрозил:

— Вот я тебе башку размозжу!

Носков поднял глаза и, снова опустив их в шапку, сказал внушительно:

— Не затевайте скандала. Доказать вы ничего не можете, хотя и богатый. Я говорю: пошутить хотел. Я папашу вашего знаю, много раз на гармонии играл ему.

Он резким жестом взбросил шапку на голову, наклонился и стал приподнимать штанину, мыча сквозь зубы, потом, вынув из кармана платок, начал перевязывать ногу, раненную выше колена. Он все время что-то бормотал невнятно, но Яков не слушал его слов, вновь обескураженный странным поведением неудачного грабителя.

С необыкновенной для него быстротой Яков Артамонов соображал: конечно, надо оставить Носкова тут у забора, идти в город, позвать ночного сторожа, чтоб он караулил раненого, затем идти в полицию, заявить о нападении. Начнется следствие, Носков будет рассказывать о кутежах отца у дьяконицы. Может быть, у него есть друзья, такие же головорезы, они, возможно, попытаются отомстить. Но нельзя же оставить этого человека без возмездия...

Ночь становилась все холодней; рука, державшая револьвер, ныла от холода; до полицейского управления — далеко, там, конечно, все спят. Яков сердито сопел, не зная, как решить, сожалея, что сразу не застрелил этого коренастого парня, с такими кривыми ногами, как будто он всю жизнь сидел верхом на бочке. И вдруг он услыхал слова, поразившие его своей неожиданностью:

— Я вам прямо скажу, хотя это — секрет,— говорил Носков, все возясь с ногою своей.— Я тут для вашей пользы живу, для наблюдения за рабочими вашими. Я, может быть, нарочно сказал, что хотел напугать вас, а мне на самом-то деле надо было схватить одного человека и я опознался...

— Ч-черт,— сказал Яков.— Как?

— Да, вот так... Вы — не знаете, а у дьяконицы в бане собираются социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают...

— Врешь,— тихо сказал Яков, веря ему.— А — кто? Кто собирается?

— Этого я не могу сказать. Арестуют, узнаете.

Носков, держась за доски забора, встал и попросил:

— Дайте мне палку, без нее я не дойду...

Наклонясь, Яков поднял палку, подал ему и оглянулся, тихо спрашивая:

— Но тогда как же ты, зачем же вы набросились на меня?

— Я — не набрасывался. Я — опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы все это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги. Вот что...

И, придерживаясь за забор, опираясь на палку, Носков начал медленно переставлять кривые ноги, удаляясь прочь от огородов, в сторону темных домиков окраины, шел и как бы разгонял холодные тени облаков, а отойдя шагов десять, позвал негромко:

— Яков Петрович!

Яков подошел к нему очень быстро, Носков сказал:

— Вы об этом случае — никому, ни словечка! А то... Сами понимаете.

Он взмахнул палкой и пошел дальше, оставив Якова отупевшим. Приходилось думать сразу о многом, и нужно было сейчас же решить: так ли он поступил, как следовало? Конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный, даже необходимый человек, а — если он наврал, обманул, чтоб выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел? Он врет, что опознался и что хотел напугать, врет, это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Среди ткачей на фабрике была большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Наиболее солидные рабочие, как Седов, Крикунов, Маслов и другие, сами недавно требовали, чтоб контора рассчитала одного из наиболее неукротимых безобразников. Нет, Носков, наверное, обманул. Нужно ли рассказывать об этом Мирону?

Яков не мог представить, что будет, если рассказать о Носкове Мирону; но, разумеется, брат начнет подробно допрашивать его, как судья, в чем-то обвинит и, наверное, так или иначе, высмеет. Если Носков шпион — это, вероятно, известно Мирону. И, наконец, все-таки не совсем ясно — кто ошибся: Носков или он, Яков? Носков сказал:

«Скоро увидите, что я говорю правду».

Он смотрел вслед охотнику до поры, пока тот не исчез в ночных тенях. Как будто все было просто и понятио: Носков напал с явной целью — ограбить, Яков выстрелил в него, а затем начиналось что-то тревожио-запутанное, похожее на дурной сои. Необыкновенно идет Носков вдоль забора, и необыкновенно густыми лохмотьями ползут за ним тенн; Яков впервые видел, чтоб тени так тяжко тащились за человеком.

Задерганный думами, устав от ннх, Артамонов младший решил молчать и ждать. Думы о Носкове не оставляли его, он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться: кто из них социалист? Неужели — кочегар Васька, чумазый, хромой, научившийся у плотника Серафима ловко складывать насмешливые частушкн?

Через несколько дней Артамонов младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидал на опушке леса жандарма Нестеренко, в шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьем на руке и туго набитым птицей ягдташем на боку. Нестеренко стоял лицом к лесу, спиною к дороге и, наклоня голову, подняв руки к лицу, раскуривал папиросу; его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной. Яков тотчас решил, что нужно делать, подъехал к нему, торопливо поздоровался:

— А я не знал, что вы здесь!

— Третий деиь; жене моей, батенька, все хуже, да-с!

Это печальное сведеиие Нестереико сообщил очень оживленно и тотчас, хлопнув рукою по ягдташу, прибавил:

— А я — вот! Не плохо, а?

— Вы знаете Носкова, охотника?— спросил Яков негромко; рыжеватые брови офицера удивленно всползли кверху, его китайские усы пошевелились, он придержал один ус, сощурился, глядя в небо, все это вызвало у Якова догадку: «Соврет. Но — как?»

— Носков? Кто это?

— Охотник. Курчавый, кривоногий...

— Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко... А — что?

Теперь офицер смотрел в лицо Якова пристальным, спрашнвающим взглядом серых глаз с какой-то светленькой искрой в центре зрачка; Яков быстро рассказал ему

о Носкове. Нестеренко выслушал его, глядя в землю, забивая в нее прикладом ружья сосновую шишку, выслушал и спросил, не подняв глаз:

— Почему же вы не заявили полиции? Это — ее дело, батенька, и это ваша обязанность.

— Я же говорю: он будто бы шпионит за рабочими, а это — ваше дело...

— Так,— сказал жандарм, гася папиросу о ствол ружья, и, снова глядя прищуренными глазами прямо в лицо Якова, внушительно начал говорить что-то не совсем понятное; выходило, что Яков поступил незаконно, скрыв от полиции попытку грабежа, но что теперь уж заявлять об этом поздно.

— Если б вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну — дело ясное! Но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас? Ранен? Ба! В человека можно выстрелить с испуга... случайно, по неосторожности.

Яков чувствовал, что Нестеренко хитрит, путает что-то, даже как бы хочет запугать и отодвинуть его или себя в сторону от этой истории; а когда офицер сказал о возможности выстрела с испуга, подозрение Якова упрочилось:

«Врет».

— Да-с, батенька. За то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает.

И, положив руку на плечо Якова, офицер сказал:

— Вот что: вы мне дайте честное слово, что все это останется между нами. Это — в ваших интересах, понимаете? Итак: честное слово?

— Конечно. Пожалуйста.

— Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу,— вы действительно не говорили еще им? Ну, вот. Предоставим это дело его внутренней логике. И — никому ни звука! Так? Охотник сам себя ранил, вы тут ни при чем.

Яков улыбался: с ним говорил другой человек, веселый, добродушный.

— До свидания,— говорил он.— Помните: честное слово!

Артамонов младший возвратился домой несколько успокоенный; вечером дядя предложил ему съездить в губернию, он уехал с удовольствием, а через восемь дней,

возвратясь домой и сидя за обедом у дяди, с новой тревогой слушал рассказ Мирона:

— Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал, он и в городе поймал троих: учителя Модестова и еще каких-то.

— А у нас?— спросил Яков.

— У нас: Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Хотя арестовывать приезжали жандармы из губернии, но, разумеется, это дело Нестеренко, и, таким образом, жена его хворает с явной пользой для нас. Да, он — не глуп. Боится, чтоб его не кокнули...

— Теперь — перестали убивать,— заметил Алексей.

— Н-ну,— сказал Мирон.— Да! В городе арестован еще этот, охотник...

— Носков?— тихо, испуганно спросил Яков.

— Не знаю. Он жил у дьяконицы, у нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее — и с нею — забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение — дрянненькое...

— Да уж,— сказал Алексей, мотнув лысой головою.— Что с ним делать?

У Якова потемнело в глазах, и он уже не мог слушать, о чем говорит дядя с братом. Он думал: Носков арестован; ясно, что он тоже социалист, а не грабитель, и что это рабочие приказали ему убить или избить хозяина; рабочие, которых он, Яков, считал наиболее солидными, спокойными! Седов, всегда чисто одетый и уже немолодой; вежливый, веселый слесарь Крикунов; приятный Абрамов, певец и ловкий, на все руки, работник. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги его?

Ему показалось также, что за эти дни в доме дяди стало еще более крикливо и суетно. Золотозубый доктор Яковлев, который никогда ни о ком, ни о чем не говорил хорошо, а на все смотрел издали, чужими глазами, посмеиваясь, стал еще более заметен и как-то угрожающе шелестел газетами.

— Да,— говорил он, сверкая зубами,— шевелимся, просыпаемся! Люди становятся похожи на обленившуюся прислугу, которая, узнав о внезапном, не ожиданном ею возвращении хозяина и боясь расчета, торопливо, нахлестанная испугом, метет, чистит, хочет привести в порядок запущенный дом.

— Двусмысленно говорите вы, доктор,— заметил Мирон, поморщившись.— Этот ваш анархизм, скептицизм...

Но доктор говорил все громче, речи его становились длиннее, слова внушали Якову тревогу. Казалось, что и все чего-то боятся, грозят друг другу несчастиями, взаимно раздувают свои страхи, можно было думать даже так, что люди боятся именно того, что они сами же и делают,— своих мыслей и слов. В этом Яков видел нарастание всеобщей глупости, сам же он жил страхом не выдуманным, а вполне реальным, всей кожей чувствуя, что ему на шею накинута петля, невидимая, но все более тугая и влекущая его навстречу большой, неотвратимой беде.

Ее страх возрос еще более месяца через два, когда снова в городе явился Носков, а на фабрике — Абрамов, гладко обритый, желтый и худой.

— Возьмете меня, старика?— спросил он, улыбаясь,— Яков не посмел отказать ему.

— Что, трудно в тюрьме?— спросил он. Абрамов ответил все с тою же улыбкой:

— Тесно очень! Если б тиф не помогал начальству,— не знаю, куда бы оно сажало народ!

«Да,— подумал Яков, проводив ткача,— ты улыбаешься, а я знаю, что ты думаешь...»

В тот же вечер Мирон из-за Абрамова устроил ему оскорбительную сцену, почти накричал на него, даже топнул ногою, как на лакея.

— Ты с ума сошел?— кричал он, и нос его покраснел со зла.— Завтра же дай расчет...

А через несколько дней, когда он утром купался в Оке, его застигли поручик Маврин и Нестеренко, они подъехали в лодке, усатой от множества удилищ, хладнокровный поручик поздоровался с Яковом небрежным кивком головы, молча, и тотчас же отъехал на середину реки, а Нестеренко, раздеваясь, тихо сказал:

— Вы напрасно не приняли Абрамова, очень жалею, что не мог предупредить вас.

— Это — Мирон,— пробормотал Артамонов младший, чувствуя, что слова офицера крепко пахнут спиртом.

— Да?— спросил Нестеренко.— Это не от вас зависело?

— Нет.

— Жаль. Парень этот был бы полезен. Приманка. Живец.

И глядя на Якова глазами соучастника, голый, золотистый на солнце, блестя кожей, как сазан чешуей, офицер снова спросил:

— А приятеля вашего — видели? Охотника?

Нестеренко засмеялся тихим смехом самодовольного человека.

— Знаете, что его побудило охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Все — страсти, батенька, страсти руководят людями, да-с! Он, охотник, будет очень полезен теперь, когда я его крепко держу за горло, благодаря его ошибке с вами...

— Какая же ошибка, когда вы говорите...

— Ошибка, сударь мой, ошибка! — настойчиво повторил офицер и, разбрызгивая воду, крестя голую грудь, пошел в реку, шагая, как лошадь.

«Черт вас всех побери»,— уныло подумал Яков.

Вдруг — точно дверь закрыли в комнату, где был шум,— пришла смерть.

Среди ночи Якова разбудила, всхлипывая, мать:

— Вставай скорее, Тихон прискакал, дядя Алексей скончался!

Яков вскочил, забормотал:

— Как же это! Он и не хворал ведь...

Пошатываясь, тяжко дыша, в дверь влез отец.

— Тихон,— ворчал он.— Где Тихон, там уж добра не жди! Вот, Яков, а? Вдруг...

Босый, в халате, накинутом на ночное белье, он дергал себя за ухо, оглядывался, точно попал в незнакомое место, и ухал:

— Ух...

— Как же это? — недоумевал Яков.

— Без покаяния,— сказала мать, похожая на огромный мешок муки.

Поехали на бричке; Яков сидел за кучера, глядя, как впереди подпрыгивает на коне Тихон, а сбоку от него по дороге стелется, пляшет тень, точно пытаясь зарыться в землю.

Ольга встретила их на дворе, она ходила от сарая к воротам туда и обратно, в белой юбке, в ночной кофте, при свете луны она казалась синеватой, прозрачной, и было странно видеть, что от ее фигуры на лысый булыжник двора падает густая тень.

— Вот и кончилась моя жизнь,— тихонько сказала она. Черная собака Кучум неотвязно шагала вслед за нею.

На скамье, под окном кухни, сидел согнувшись Мирон; в одной его руке дымилась папироса, другою он раскачивал очки свои, блестели стекла, тонкие золотые ниточки

сверкали в воздухе; без очков нос Мирона казался еще больше. Яков молча сел рядом с ним, а отец, стоял посреди двора, смотрел в открытое окно, как нищий, ожидая милостыни. Ольга возвышенным голосом рассказывала Наталье, глядя в небо:

— Не заметила я когда... Вдруг плечико у него стало смертно холодное, ротик открылся. Не успел, родной, сказать мне последнее слово свое. Вчера пожаловался: сердце колет.

Рассказывала Ольга тихо, и от слов ее тоже как будто падали тени.

Мирон, бросив погасшую папиросу, боднул Якова головою в плечо и тихонько провыл:

— Т-ты не знаешь, какой он хороший...

— Что ж делать? — ответил Яков, не находя иных слов. Надобно было сказать что-нибудь и тетке, а — что скажешь? Он замолчал, глядя в землю, шаркая ногою по ней.

Отец, крякнув, осторожно пошел в дом, за ним на цыпочках пошел и Яков. Дядя лежал накрытый простынею, на голове его торчал рогами узел платка, которым была подвязана челюсть, большие пальцы ног так туго натянули простыню, точно пытались прорвать ее. Луна, обтаявшая с одного бока, светло смотрела в окно, шевелилась кисея занавески; на дворе взвыл Кучум, и, как бы отвечая ему, Артамонов старший сказал ненужно громко, размашисто крестясь:

— Жил легко и помер легко...

Из окна Яков видел, что теперь по двору рядом с теткой ходит Вера Попова, вся в черном, как монахиня, и Ольга снова рассказывает возвышенным голосом:

— Во сне скончался...

— Не дури! — тихо крикнул Вялов; он, вытирая лошадь клочками сена, мотал головою, не давая коню схватить губами его ухо; Артамонов старший тоже взглянул в окно, проворчал:

— Орет, дурак; ничего не понимает...

«Ничего не надо говорить», — подумал Яков, выходя на крыльцо, и стал смотреть, как тени черной и белой женщин стирают пыль с камней; камни становятся все светлее. Мать шепталась с Тихоном, он согласно кивал головою, конь тоже соглашался; в глазу его светилось медное пятно. Вышел из дома отец, мать сказала ему:

— Никите Ильичу депешу бы послать, Тихон знает, где он.

— Тихон знает! — сердито повторил отец. — Пошли, Мирон.

Мирон встал, пошел, задел плечом косяк двери и погладил косяк ладонью.

— Илье тоже пошли, — сказал Артамонов старший вслед ему; из темной дыры, прорезанной в стене, Мирон ответил:

— Илья не может приехать.

— Ведь я с ним тридцать лет прожила, — рассказывала Ольга и точно сама удивлялась тому, что говорит. — Да еще до венца четыре года дружились. Как же теперь я буду?

Отец подошел к Якову.

— Илья — где?

— Не знаю.

— Врешь?

— Не время теперь говорить об Илье, папаша.

Во двор поспешно вошел доктор Яковлев, спросил:
— В спальне?

«Дурак, — подумал Яков. — Ведь не воскресишь».

Его угнетала невозможность пропустить мимо себя эти часы уныния. Все кругом было тягостно, ненужно: люди, их слова, рыжий конь, лоснившийся в лунном свете, как бронза, и эта черная, молча скорбевшая собака. Ему казалось, что тетка Ольга хвастается тем, как хорошо она жила с мужем; мать, в углу двора, всхлипывала как-то распущенно, фальшиво, у отца остановились глаза, одеревенело лицо, и все было хуже, тягостнее, чем следовало быть.

В день похорон дяди Алексея на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита.

«Вот еще», — подумал Яков, разглядывая угловатую фигуру монаха, прислонившуюся к стволу березы, им же и посаженной.

— Опоздал ты, — сказал ему отец, подходя к брату, вытирая слезы с лица; монах втянул, как черепаха, голову свою в горб. Вид у него был нищий; ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого, жестяного ведра, сапоги стоптаны. Пыльное его лицо опухло, он смотрел мутными глазами в спины людей, окружавших могилу, и что-то говорил отцу неслышным голосом, дрожала серая бороденка. Яков исподлобья оглянулся, — монаха любо-

пытно щупали десятки глаз, наверное, люди смотрят на уродливого брата и дядю богатых людей и ждут, не случится ли что-нибудь скандальное? Яков знал, что город убежден: Артамоновы спрятали горбуна в монастырь для того, чтоб воспользоваться его частью наследства после отца.

Толстый, благодушный священник отец Николай тенористо уговаривал Ольгу:

— Не станем оскорблять стенанием и плачем господа бога нашего, ибо воля его...

А Ольга отвечала возвышенным голосом:

— Да ведь я не плачу, не жалуюсь я!

Руки у нее дрожали, она странно судорожными жестами ошаривала юбку свою, хотела спрятать в карман мокрый от слез комочек платка.

Тихон Вялов умело засыпал могилу, помогая сторожу кладбища, у могилы, остолбенело вытянувшись, стоял Мирон, а горбатый монах тихо, жалобно говорил Наталье:

— Ой, какая ты стала,— не узнать!

И, ткнув пальцем в передний горб свой, прибавил неуместно, ненужно:

— Меня — нельзя не узнать. Этот — твой, Яков? А тот, высокий, Алешин, Мирон? Так, так! Ну, пойдемте, пойдемте...

Яков остался на кладбище. За минуту пред этим он увидал в толпе рабочих Носкова, охотник прошел мимо его рядом с хромым кочегаром Васькой и, проходя, взглянул в лицо Якова нехорошим, спрашивающим взглядом. О чем думает этот человек? Конечно, он не может думать безвредно о человеке, который стрелял в него, мог убить.

Подошел Тихон, стряхивая ладонью песок с поддевки, и сказал:

— Ведь вот, уж как старался Алексей Ильич, а всетаки... И Никита Ильич слабенек...

— Тут есть,— вдруг сказал Яков и оборвал слова свои.

— Чего?

— Рабочие жалеют дядю.

— А — как же?

— Тут есть один — Носков, охотник,— снова начал Яков.— Я бы тебе сказал про него...

— Лошадь падет, и ту — жаль,— раздумчиво говорил Тихон.— Алексей Ильич бегом жил, с разбегу и скончался. Как ушибся обо что. А еще за день до смерти го ворил мне...

Яков замолчал, поняв, что его слова не дойдут до Тихона. Он решил сказать Тихону о Носкове потому, что необходимо было сказать кому-либо о этом человеке; мысль о нем угнетала Якова более, чем все происходящее. Вчера в городе к нему откуда-то из-за угла подошел этот кривоногий, с тупым лицом солдата, снял фуражку и, глядя внутрь ее, в подкладку, сказал:

— Имею должок за вами, обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер, так что — как бы на помин души. А у меня случай есть — замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши...

Яков ошеломленно смотрел на него и молчал. Тогда Носков поучительно и настойчиво прибавил:

— И как я служу вашей пользе, против недругов России...

— Сколько?— спросил Яков.

Носков, не сразу, ответил:

— Тридцать пять рублей.

Яков дал ему деньги и быстро пошел прочь возмущенный, испуганный. «Он меня дураком считает, он думает, что я его боюсь, подлец! Нет, погоди же...»

И теперь, медленно шагая домой, Яков думал лишь о том, как ему избавиться от этого человека, несомненно, желающего подвести его, как быка, под топор.

Бесконечно тянулись шумные часы поминок. Люди забавлялись, заставляя дьякона Карцева и певчих возглашать усопшему вечную память. Житейкин напился до того, что, размахивая вилкой, запел неприлично и грозно:

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

Степан Барский, когда его мягкое, точно пуховая подушка, тело втискивали в экипаж, громко похвалил:

— Ну, Петр Ильич,— воистину — любил ты брата! Такие поминки долго не забыть!

Яков слышал, как отец, сильно выпивший, ответил угрюмо и насмешливо:

— Ты скоро все забудешь, лопнешь скоро.

Житейкина, Барского, Воропонова и еще несколько человек почтенных горожан отец пригласил сам, против желания Мирона, и Мирон был явно возмущен этим; посидев за поминальным столом не более получаса, он встал и ушел, шагая, как журавль. Вслед за ним незаметно исчезла тетка Ольга, потом скрылся и монах, которому

видимо, надоели расспросы полупьяных людей о монастырской жизни. А отец вел себя так, как будто хотел обидеть всех людей, и все время, до конца поминок, Яков ждал, что вспыхнет ссора между отцом и горожанами.

Мать, оскорбленная тем, что за теткой Ольгой ухаживала Попова, надулась и уехала домой, а отец почему-то пожелал ночевать в кабинете дяди Алексея. Все это казалось Якову нелепо капризным, ненужным и еще более расстраивало его. Пролежав на диване часа два, тщетно ожидая сна, он вышел на двор и под окном кухни на скамье увидал рядом с Тихоном черную фигуру монаха, странно похожего на какую-то сломанную машину. Без клобука на лысой голове монах стал меньше, шире, его заплесневелое лицо казалось детским; он держал в руке стакан, а на скамье, рядом с ним, стояла бутылка кваса.

— Это — кто?— тихонько спросил он и тотчас сам ответил:— Это — Яша. Посиди со стариками, Яша!

И, подняв стакан против луны, посмотрел на мутную влагу в нем. Луна спряталась за колокольней, окутав ее серебряным туманным светом и этим странно выдвинув из теплого сумрака ночи. Над колокольней стояли облака, точно грязные заплаты, неумело вшитые в синий бархат. Нюхая землю, по двору задумчиво ходил любимец Алексея, мордастый пес Кучум; ходил, нюхал землю и вдруг, подняв голову в небо, негромко вопросительно взвизгивал.

— Цыц, Кучум,— вполголоса сказал Тихон.

Собака подошла, сунула толстую башку в колени Тихона и провыла что-то.

— Чувствует,— заметил Яков. Ему не ответили, а он очень хотел говорить, чтоб не думать.

— Понимает, говорю,— настойчиво повторил он,— дворник тихо отозвался:

— А — как же?

— В Суздале монастырская собака воров по запаху узнавала,— вспомнил монах.

— О чем беседуете?— спросил Яков; монах выпил квас, вытер рот рукавом рясы и беззубо заговорил, точно с лестницы идя:

— Тихон вот замечает: опять к мятежу люди склонны. Оно — похоже! Очень задумались все...

— Дела замучили,— вставил Тихон, играя ушами собаки.

— Прогони собаку,— приказал Яков,— блохи от нее.

Дворник снял Кучумовы лапы с колен своих, отодви-

нул собаку ногой; она, поджав хвост, села и скучно дважды пролаяла. Трое людей посмотрели на нее, и один из них мельком подумал, что, может быть, Тихон и монах гораздо больше жалеют осиротевшую собаку, чем ее хозяина, зарытого в землю.

— Бунт — будет,— сказал Яков и осторожно посмотрел в темные углы двора.— Помнишь, Тихон, арестовали Седова с товарищами?

— А — как же?

Монах вынул из кармана рясы жестяную коробочку, достал из нее щепоть табаку, понюхал и сообщил племяннику:

— Вот, табачок нюхаю. Глазам помогает это, плохо видеть стали.

Чихнув, он продолжал:

— Арестуют даже и в деревнях...

— Шпионы завелись,— сказал Яков, стараясь говорить просто.

— Подсматривают за всеми.

Тихон проворчал:

— Ежели не подсматривать — ничего не узнаешь.

А Яков, нерешительно ворочая языком, пожимаясь от ночной свежести или от страха, говорил почти шепотом:

— И у нас есть. Про Носкова, охотника, нехорошие слухи... Будто он донес на Седова и на всех в городе...

— Ишь ты, дурак,— не сразу отозвался Тихон, протянул руку к собаке, но тотчас опустил ее на колено, а Яков почувствовал, что слова его сказаны напрасно, упали в пустоту, и зачем-то предупредил Тихона:

— Ты однако не говори про Носкова.

— Зачем говорить? Он меня некасаемый. Да и некому говорить, никто никому не верит.

— Да,— сказал монах,— веры мало; я после войны с солдатами ранеными говорил, вижу: и солдат войне не верит! Железо, Яша, железо везде, машина! Машина работает, машина поет, говорит! Железному этому заводу жития и люди другие нужны,— железные. Очень многие понимают это, я таких встречал. «Мы, говорят, вам, мякишам, покажем!» А некоторые другие обижаются. Когда человек командует — к этому привыкли, а когда железный металл — обидно! К топору, молотку, ко всему, что в руку взять можно,— привыкли, а тут вещь — сто пудов, однако как живая.

Тихон крякнул и, незнакомо Якову, неслыханно им,— засмеялся, говоря:

— Вперед лошади телега бежит. Эх, черти!

— И многие — обозлились,— продолжал монах очень тихо.— Я три года везде ходил, я видел: ух, как обозлились! А злятся — не туда. Друг против друга злятся: однако — все виноваты, и за ум, и за глупость. Это мне поп Глеб сказал: очень хорошо!

— Поп-то жив?— спросил Тихон.

— Попа — нет,— ответил Никита.— Он расстригся, и теперь по сельским ярмаркам книжками торгует.

— Хороший поп,— сказал Тихон.— Я у него на исповеди бывал. Хорош. Только он притворялся потом из бедности своей, а по-настоящему в бога не верил, так думаю.

— Нет, он — веровал во Христа. Каждый по-своему верует.

— Оттого и смятение,— твердо сказал Тихон и снова нехорошо усмехнулся:— Додумались...

На крыльцо бесшумно вышел Артамонов старший, босиком, в ночном белье, посмотрел в бледное небо и сказал людям под окном:

— Не спится. Собака мешает. И вы урчите тут...

Собака сидела среди двора, насторожив уши, повизгивая, и смотрела в темную дыру открытого окна, должно быть, ожидая, когда хозяин позовет ее.

— А ты, Тихон, все свое долбишь!— заговорил Артамонов.— Вот, Яков, гляди: наткнулся мужик на одну думу — как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?

— Слышал.

— Да. Прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал, а — куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства, жить неведомо как...

— Алексей божий человек также,— тихо напомнил Никита.

Артамонов старший поднял руку к виску, помолчал и пошел в сад, сказав Якову:

— Принеси мне в беседку одеяло, подушки, может, я там засну.

Грузный, в белом весь, с растрепанными волосами на голове, с темно-бурым опухшим лицом, он был почти страшен.

— О машинах ты, Никита, зря говорил,— сказал он, остановясь среди двора.— Что ты понимаешь в маши-

нах? Твое дело — о боге говорить. Машины не мешают...

Тихон непочтительно, упрямо прервал его речь:

— От машин жить дороже и шуму больше.

Артамонов старший отмахнулся от него и медленно пошел в сад, а Яков, шагая впереди его с подушками, сердито и уныло думал:

«Родные: отец, дядя,— а зачем они мне? Они помочь не могут».

Отец не пригласил брата жить к себе, монах поселился в доме тетки Ольги, на чердаке, предупредив ее:

— Я немножко поживу, я уйду скоро...

Жил он почти незаметно и, если его не звали вниз,— в комнаты не сходил. Шевырялся в саду, срезывая сухие сучья с деревьев, черепахой ползал по земле, выпалывая сорные травы, сморщивался, подсыхал телом и говорил с людями тихо, точно рассказывая важные тайны. Церковь посещал неохотно, отговариваясь нездоровьем, дома молился мало и говорить о боге не любил, упрямо уклоняясь от таких разговоров.

Яков видел, что монах очень подружился с Ольгой, его уважала бессловесная Вера Попова, и даже Мирон, слушая рассказы дяди о его странствованиях, о людях, не морщился, хотя после смерти отца Мирон стал еще более заносчив, сух, распоряжался на фабрике, как старший, и покрикивал на Якова, точно на служащего.

На расплывшееся, красное лицо Натальи монах смотрел так же ласково, как на все и на всех, но говорил с нею меньше, чем с другими, да и сама она постепенно разучивалась говорить, только дышала. Ее отупевшие глаза остановились, лишь изредка в их мутном взгляде вспыхивала тревога о здоровье мужа, страх пред Мироном и любовная радость при виде толстенького, солидного Якова. С Тихоном монах был в чем-то несогласен, они ворчали друг на друга, и хотя не спорили, но оба ходили мимо друг друга, точно двое слепых.

В жизнь Якова угловатая, черная фигура дяди внесла еще одну тень, вид монаха вызывал в нем тяжелые предчувствия, его темное, тающее лицо заставляло думать о смерти. Яков Артамонов смотрел на все, что творилось дома, с высоты забот о себе самом, но хотя заботы все возрастали, однако и дома тоже возникало все больше новых тревог. Чутье мужчины, опытного в делах любви, подсказывало ему, что Полина стала холоднее с ним, а хладнокровный поручик Маврин подтверждал подозре-

ния Якова; встречаясь с ним, поручик теперь только пренебрежительно касался пальцем фуражки и прищуривал глаза, точно разглядывал нечто отдаленное и очень маленькое, тогда как раньше он был любезней, вежливее и в общественном собрании, занимая у Якова деньги на игру в карты или прося его отсрочить уплату долга, не однажды одобрительно говорил:

— У вас, Артамонов, фигура артиллериста.

Или говорил что-нибудь другое, тоже приятное. Якову льстило грубоватое добродушие этого точно из резины отлитого офицера, удивлявшего весь город своим презрением к холоду, ловкостью, силой и несомненно скрытой в нем отчаянной храбростью. Он смотрел в лица людей круглыми, каменными глазами и говорил сиповато, командующим голосом:

— Я мужчина хладнокровный и терпеть не могу преувеличений.

Поссорившись за картами с почтмейстером Дроновым, больным, но ехидного ума старичком, которого все в городе боялись, Маврин сказал ему:

— Преувеличивать не стану, но вы — старый дурак!

Подозревая в нем соперника, Яков Артамонов боялся столкновений с поручиком, но у него не возникало мысли о том, чтоб уступить Маврину Полину,— женщина становилась все приятнее ему. Все-таки он уже не однажды предупреждал ее:

— Смотри, если замечу что-нибудь между тобой и Мавриным — брошу!

Рядом с этим росла тревога, которую вызывал в нем охотник Носков. Он подстерегал Якова на окраине города, у мостика через Ватаракшу, внезапно вырастал из земли и настойчиво, как должного, просил денег, глядя в свою фуражку.

Было что-то странное, нехорошее в том, что охотник появлялся всегда на одном и том же месте, выходя из крапивы и репейника, из густой заросли сорных трав под двумя кривыми ветлами. Года два тому назад на этом месте стоял дом огородника Панфила; огородника кто-то убил, дом подожгли, ветлы обгорели, глинистая земля, смешанная с углем и золою, была плотно утоптана игроками в городки; среди остатков кирпичного фундамента стояла печь, торчала труба; в ясные ночи над трубою, невысоко в небе, дрожала зеленоватая звезда. Носков не торопясь, шурша крапивой, выходил из-за трубы, мед-

ленно стаскивал с головы своей фуражку и бормотал:

— Я вам заслужу. Тут у вас снова заводится компания...

— Эти компании не мое дело,— сердито говорил Яков и слышал в ответе Носкова явное нахальство:

— Конечно, не вы организуете, но дело-то касается вас.

«Жаль, не пристрелил я его тогда»,— в десятый раз сожалел Яков и, давая деньги шпиону, говорил:

— Ты, смотри, осторожнее!

— Я знаю.

— Меня не впутай.

— Зачем же? Будьте покойны.

«Да, конечно, он считает меня дураком...»

Понимая, что Носков человек полезный, Яков Артамонов был уверен, что кривоногий парень с плоским лицом не может не отомстить ему за выстрел. Он хочет этого. Он запугает или на деньги, которые сам же Яков дает ему, подкупит каких-нибудь рабочих и прикажет им убить. Якову уже казалось, что за последнее время рабочие стали смотреть на него внимательнее и злей.

Мирон все чаще говорил: рабочие бунтуют не ради того, чтоб улучшить свое положение, но потому, что им со стороны внушается нелепейшая, безумнейшая мысль: они должны взять в свою волю банки, фабрики и вообще все хозяйство страны. Говоря об этом, он вытягивался, выпрямлялся, шагал по комнате длинными ногами и вертел шеей, запуская палец за воротник, хотя шея у него была тонкая, а воротник рубашки достаточно широк.

— Это уж даже и не социализм, а черт знает что! И вот сторонником этой выдумки является твой родной брат. Наше правительство старых ворон...

Яков понимал, что все это говорится Мироном для того, чтоб убедить слушателей и себя в своем праве на место в Государственной думе, а все-таки гневные речи брата оставляли у Якова осадок страха, усиливая сознание его личной беззащитности среди сотен рабочих. Он даже испытал нечто близкое припадку ужаса: как-то утром его разбудил вой и крик на фабричном дворе, приподняв голову с подушки, он увидел, что по белой, гладкой стене склада мчится буйная толпа теней, они подпрыгивают, размахивая руками, и, казалось, двигают по земле все здание склада. Он, сразу весь вспотев, думал, безмолвно кричал:

«Бунт...»

Этот поток теней, почему-то более страшных, чем люди, быстро исчез, Яков понял, что у ворот фабрики разыгралась обычная в понедельник драка,— после праздников почти всегда дрались, но в памяти его остался этот жуткий бег темных, воющих пятен. Вообще вся жизнь становилась до того тревожной, что неприятно было видеть газету и не хотелось читать ее. Простое, ясное исчезало, отовсюду вторгалось неприятное, появлялись новые люди.

Сестра Татьяна вдруг привезла из Воргорода жениха, сухонького, рыжеватого человека в фуражке инженера; легкий, быстрый на ногу, очень веселый, он был на два года моложе Татьяны, и, начиная с нее, все в в доме сразу стали звать его Митя. Он играл на гитаре, пел песни, одна из них, которую он распевал особенно часто, казалась Якову обидной для сестры и очень возмущала мать.

Жена моя в гробу.
Рабу
Устрой, господь, твою
В раю!

Но сестра не обижалась; ее, как всех, забавлял этот человек, и даже мать нередко умиленно говорила ему:

— Ах ты, чижик! Да ты поешь, паяц!

Есть Митя мог, точно голубь, бесконечно много; Артамонов старший разглядывал его, как сон, удивленными глазами, мигая, и спрашивал:

— При таком характере ты должен пить. Пьешь?

— Могу,— ответил зять и за ужином доказал, что пить он может тоже изрядно. Он везде бывал: на Волге и на Урале, в Крыму и на Кавказе, он знал бесчисленное количество забавных прибауток, рассказов, смешных словечек; казалось, что он прибежал из какой-то веселой, беспечной страны.

— Жизнь — красавица!— говорил он и сразу попал в непрерывно вертящийся круг дела, понравился рабочим, молодежь смеялась, старики ткачи ласково кивали головами, и даже Мирон, слушая его сверкающую смехом речь, слизывал языком улыбки со своих тонких губ. Вот он идет рядом с Мироном по двору фабрики к пятому корпусу, этот корпус еще только вцепился в землю, пятый палец красной кирпичной лапы; он стоит весь опутанный лесами, на полках лесов возятся плотники, блестят их серебряные топоры, блестят стеклом и золотом очки Ми-

рона, он вытягивает руку, точно генерал на старинной картинке ценою в пятачок, Митя, кивая головою, тоже взмахивает руками, как бы бросая что-то на землю.

Яков смотрит на них из окна конторы. Зять нравится и ему, с ним весело, забываешь многое, что тяготит; Яков даже завидует характеру этого человека, он чувствует к нему странное недоверие: кажется, что этот человек ненадолго, до завтра, а завтра он объявит себя актером, парикмахером или исчезнет так же внезапно, как явился. В нем было еще одно хорошее качество,— он, видимо, не жаден, не спрашивает, сколько приданого за Татьяной, хотя в этом, может быть, скрыта какая-то Татьянина хитрость. Но отец, трезвый, ворчал:

— Вот на какого рыженького работал я...

И Мирон женился.

— Позвольте представить вам жену мою,— сказал он, приехав из Москвы, и поставил пред собою голубоглазую, пухленькую куколку с кудрявой, свернутой набок головкой. Его жена была игрушечно маленьких размеров, но сделана как-то особенно отчетливо, и это придавало ей в глазах Якова вид не настоящей женщины, а сходство с фарфоровой фигуркой, прилепленной к любимым часам дяди Алексея; голова фигурки была отбита и приклеена несколько наискось; часы стояли на подзеркальнике, и статуэтка, отворотясь от людей, смотрела в зеркало. Мирон объявил, что жену его зовут Анна и что ей восемнадцать лет, но умолчал, что в придачу к ней ему дали четверть миллиона и что она единственная дочь фабриканта бумаги.

— Вот как женятся,— ворчал отец, глядя на Якова красными глазами.— А ты путаешься черт знает с какой.

А Илью вымели из обихода, как сор.

Отец ходил с трудом, тяжело раскачивал обмякшее, вялое тело. Якову казалось, что тело это злит отца и он нарочно выставляет напоказ людям угнетающее безобразие старческой наготы: он щеголял в ночном белье, в неподпоясанном халате, в туфлях на босую ногу, с раскрытой, оплывшей грудью, так же, как ходил перед дочерью Еленой, чтобы позлить ее. Иногда он являлся в контору, долго сидел там и, мешая Якову, жаловался, что вот он отдал все свои силы фабрике, детям, всю жизнь прожил запряженный в каменные оглобли дела, в дыму забот, не испытав никаких радостей.

Сын слушал и молчал, видя, что эти жалобы, утешая

отца, раздувают, увеличивают его до размеров колокольни,— утром солнце видит ее раньше, чем ему станут заметны дома людей, и с последней с нею прощается, уходя в ночь. Но из этих жалоб Яков извлекал для себя поучительный вывод: жить так, как жил отец,— бессмысленно.

И всегда он видел, что после насыщения жалобами отцом овладевает горячий зуд, беспокойное желание обижать людей, издеваться над ними. Он шел к старухе жене, сидевшей у окна в сад, положив на колени ненужные руки, уставя пустые глаза в одну точку; он садился рядом с нею и зудел:

— О чем думаешь? Толста, а не видно тебя. Дети-то не видят. Татьяна с кухаркой говорит милее, чем с тобою. Елена-то забыла, не приезжает, а? Видно, опять нового любовника завела. А Илья — где?

Но жену дразнить было скучно, ее багровое лицо быстро потело слезами, казалось, что слезы льются не только из глаз ее, но выступают из всех точек туго надутой кожи щек, из двойного, рыхлого подбородка, просачиваются где-то около ушей.

— Ну, рассохлась,— брезгливо ворчал старик и уходил, отмахиваясь от нее, как от дыма. Нет, она не забавляла.

Якова он не дразнил, но сыну всегда казалось, что отец смотрит на него с обидной жалостью. Иногда он вздыхал:

— Эх ты, пустоглазый...

Мирон был недоступен насмешкам, отец явно и боязливо сторонился его; это было понятно Якову. Мирона все боялись и на фабрике и дома, от матери и фарфоровой его жены до Гришки, мальчика, отворявшего парадную дверь. Когда Мирон шел по двору, казалось, что длинная тень его творит вокруг тишину.

Смеяться над рыженьким зятем не было удовольствия, этот сам себя умел высмеивать, он явно предпочитал ударить сам себя раньше, чем его побьет другой. Татьяна, беременная, очень вспухла, важно надула губы, после обеда лежала, читая сразу три книги, потом шла гулять; муж бежал рядом с нею, как пудель.

Артамонов старший приказывал запрячь лошадь и ехал в город дразнить брата и Тихона; Яков неоднократно слышал, как он делает это.

— Что, студент в клобуке, проюрдонил бога-то?— привязывался он к монаху.

Никита двигал горбом, крепко гладил ладонями длинных рук острые колена свои и тихо, жалобно говорил:

— Ой, напрасно это...

— Как — напрасно? Ты не ту шляпу носишь, эта у тебя шляпа фальшивая. Вся твоя одежда фальшивая. Какой ты монах?

— Моей души дело.

— Табак нюхаешь. Нет, проиграл ты, ошибся. Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте, она бы тебе благодарно детей родила, был бы ты теперь, как я, дед. А ты допустил — помнишь?

Медленно, как огромная черепаха, монах отползал прочь, а Петр Ильич Артамонов шел к Ольге, рассказывал ей о кутежах Алексея на ярмарке. Но это тоже не забавляло его; маленькая старушка после смерти мужа заразилась какой-то непоседливостью, она все ходила, передвигая мебель, переставляя вещи с места на место, поглядывая в окно. Ходила, держа голову неподвижно, и хотя на носу ее красовались очки с толстыми стеклами, она жила на ощупь, тыкая в пол палкой, простирая правую руку вперед. А на злые рассказы старика она, усмехаясь, отвечала:

— Что хочешь говори; к такому, каким я знаю Алешу, ничего худого не пристанет, хорошего не прибавится.

— Верно сказал он про тебя: ты одним глазом смотришь.

— Обоими почти не вижу,— сказала Ольга.— Не вижу, вчера любимый его стакан фарфоровый разбила сослепа.

Пробовал Артамонов старший дразнить Тихона Вялова, но это было тоже трудно. Тихон не сердился, он, глядя вбок, покрякивал, отвечая кратко и спокойно.

— Долго ты живешь,— говорил Артамонов, Тихон резонно отвечал:

— Живут и больше.

— А вот зачем ты жил, а? Ты говори!

— Все живут.

— Верно, да — не всякий целую жизнь дворы метет, сор убирает...

У Тихона были свои мысли.

— Родился, ну, и живи до смерти,— говорил он, но Артамонов, не слушая его, продолжал:

— Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей, не было никаких забот. Это — почему?

Тебе еще отец мой другое место давал, а ты — не захотел, отвергся. Это что же за упрямство у тебя?

— Опоздал спросить, Петр Ильич,— ответил Тихон, глядя в сторону.

Сердясь, Артамонов настойчиво зудел:

— Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили...

— Копил, копил да черта и купил,— сказал Тихон, особенно кругло́ и густо произнося о́.

Яков ждал, что отец рассердится, обругает Тихона, но старик, помолчав, пробормотал что-то невнятное и отошел прочь от дворника, который хотя и линял, лысел, становился одноцветным, каким-то суглинистым, но, не поддаваясь ухищрениям старости, был все так же крепок телом, даже приобретал некое благообразие, а говорил все более важно, поучающим тоном. Якову казалось, что Тихон говорит и ведет себя более «по-хозяйски», чем отец.

Сам Яков все яснее видел, что он лишний среди родных, в доме, где единственно приятным человеком был чужой — Митя Лонгинов. Митя не казался ему ни глупым, ни умным, он выскальзывал из этих оценок, оставаясь отличным от всех. Его значительность подтверждалась и отношением к нему Мирона; черствый, властный, всеми командующий Мирон жил с Митей дружно и хотя часто спорил, но никогда не ссорился, да и спорил осторожно. В доме с утра до вечера звучал разноголосый зов:

— Митя!— кричала Татьяна.

— Где Митя?— спрашивала мать, и даже отец рычал, высунувшись в окно:

— Митрий,— обедать пора!

Митя бегал по фабрике лисьим бегом и ловко заметал пушистым хвостом смешных слов, веселых шуточек сухую, обидную строгость Мирона с рабочими и служащими. Рабочих он называл друзьями.

— Дружище, это — не так!— говорил он бородатому, солидному десятнику плотников, выхватывал из кармана книжечку в красной коже, карандаш и чертил что-то на доске и спрашивал:

— Видишь? Так? И — так? И вот так? Вышло?

— Правильно,— соглашался десятник.— А мы все по старинке, как привыкли...

— Нет, милая личность, надо привыкать к новому — выгоднее!

Десятник соглашался:

— Правильно.

Своею бойкою игрою с делом Митя был похож на дядю Алексея, но в нем не заметно было хозяйской жадности, веселым балагурством он весьма напоминал плотника Серафима, это было замечено и отцом; как-то во время ужина, когда Митя размел, рассеял сердитое настроение за столом, отец, ухмыляясь, проворчал:

— Вот тоже, был у нас Утешитель, Серафим... да!

Яков слышал, как однажды, после обычного столкновения отца с Мироном, Митя сказал Мирону:

— Соединение страшненького и противненького с жалким,— чисто русская химия!

И тотчас же утешал:

— Но — ничего! Это скоро пройдет, изживется. Мы — очищаемся...

Праздничным вечером, в саду за чаем, отец пожаловался:

— Я без праздника прожил! — Зять тотчас взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов:

— Это — ваша ошибка и ничья больше! Праздники устанавливает для себя человек. Жизнь — красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры, жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости.

Говорил он долго, ловко, точно на дудочке играя, и все за столом примолкли; всегда бывало так, что, слушая его, люди точно засыпали; Яков тоже испытывал обаяние его речей, он чувствовал в них настоящую правду, но ему хотелось спросить Митю:

«Зачем же ты женился на некрасивой, глупой девице?»

Яков видел в его отношении к жене нечто фальшивое, слишком любезное, подчеркнутую заботливость; Якову казалось, что и сестра чувствует эту фальшь, она жила уныло, молчаливо, слишком легко раздражалась и гораздо чаще, оживленнее беседовала о политике с Мироном, чем с веселым мужем своим. Кроме политики, она не умела говорить ни о чем.

Иногда Яков думал, что Митя Лонгинов явился не из веселой, беспечной страны, а выскочил из какой-то скучной, темной ямы, дорвался до незнакомых, новых для него людей и от радости, что, наконец, дорвался, пляшет пред ними, смешит, умиляется обилию их, удивлен чем-то. Вот в этом его удивлении Яков подмечал нечто глуповатое; так

удивляется мальчишка в магазине игрушек, но — мальчишка, умно и сразу отличающий, какие игрушки лучше.

Из всех людей в доме и на фабрике двое определенно не любили Татьянина мужа: дядя Никита и Тихон Вялов. На вопрос Якова: как ему нравится Митя,— дворник спокойно ответил:

— Неверный.

— Чем?

— Муха. На всякую дрянь садится.

Яков долго, настойчиво допрашивал старика, но тот не мог сказать ничего более ясного:

— Сам видишь, Яков Петрович,— сказал он.— Видишь ведь: человек фигуры выдумывает.

Дядя, монах, сказал почти то же.

— Пылит,— сказал он, вздохнув.— Я таких много видел, краснобаев. Путают они народ. И сами тоже в словах запутались. Скажи ему: горох, а он тебе: горы, ох... Да, да.

Было странно слышать, что этот короткий урод говорит сердито, почти со злобой, совершенно не свойственной ему. И еще более удивляло единогласие Тихона и дяди в оценке мужа Татьяны,— старики жили несогласно, в какой-то явной, но немой вражде, почти не разговаривая, сторонясь друг друга. В этом Яков еще раз видел надоевшую ему человеческую глупость: в чем могут быть не согласны люди, которых завтра же опрокинет смерть?

Дядя Никита умирал. Якову казалось, что отец усердно помогает ему в этом, почти при каждой встрече он мял и давил монаха упреками:

— Я весь век жил в людях волом, а ты — живешь котом. Все заботятся устроить тебе потеплее, помягче и даже будто не видят, что ты горбат. Меня все считают злым, а какой я злой? Я всю жизнь...

Втягивая голову в горб, монах просил, покашливая:

— Ты — не сердись.

Чувство брезгливости к отцу, к его обнаженной, точно из мыла слепленной груди, покрытой плесенью седоватых волос, тоже мешало жить Якову, это чувство трудно было прятать, скрыть. Он изредка должен был напоминать себе: «Отец. От него я родился».

Но это не украшало отца, не гасило брезгливость к нему, в этом было даже что-то обидное, принижающее. Отец почти ежедневно ездил в город как бы для того, чтоб наблюдать, как умирает монах. С трудом, сопя, Артамонов старший влезал на чердак и садился у постели

монаха, уставив на него воспаленные, красные глаза. Никита молчал, покашливая, глядя оловянным взглядом в потолок; руки у него стали беспокойны, он все одергивал рясу, обирал с нее что-то невидимое. Иногда он вставал, задыхаясь от кашля.

— Хрустишь?— спрашивал брат.

Никита полз к окну, хватаясь руками за плечи брата, спинку кровати, стульев; ряса висела на нем, как парус на сломанной мачте; садясь у окна, он, открыв рот, смотрел вниз, в сад и в даль, на темную, сердитую щетину леса.

— Ну, отдохни,— говорил брат, дергая дряблую мочку уха, спускался вниз и оповещал Ольгу:

— Хрустит. Скоро уж...

Приезжал толстый монах, отец Мардарий, и убеждал отправить Никиту в монастырь, по какому-то уставу он должен умереть именно там и там же его необходимо было похоронить. Но горбун уговорил Ольгу:

— После отвезете туда, когда умру.

И жалобно, трижды попросил:

— Крышечку гроба повыше сделайте, чтоб не давила. Уж не забудьте!

Умер он за четыря дня до начала войны, а накануне смерти попросил известить монастырь:

— Пусть приедут за мной, я к их прибытию успею помереть.

Утром, в день смерти его, Яков помог отцу подняться на чердак, отец, перекрестясь, уставился в темное, испепеленное лицо с полузакрытыми глазами, с провалившимся ртом; Никита неестественно громко сказал:

— Прости меня.

— Ну, что ты? За что?— проворчал Петр Артамонов.

— За дерзость мою...

— Меня прости,— сказал старший.— Я тут, иной раз, шутил с тобой...

— Бог шутку не осудит,— шепотом уверил монах, а брат, помолчав, спросил:

— Вот, как ты теперь?.. Куда?

— Забыл я,— торопливо заговорил монах, прервав брата.— Ты, Яша, скажи Тихону, спилил бы он кленок у беседки, не пойдет кленок, нет...

Невыносимо было Якову слушать этот излишне ясный голос и смотреть на кости груди, нечеловечески поднявшиеся вверх, точно угол ящика. И вообще ничего человеческого не осталось в этой кучке неподвижных костей,

покрытых черным, в руках, державших поморский, медный крест. Жалко было дядю, но все-таки думалось: зачем это установлено, чтоб старики и вообще домашние люди умирали на виду у всех?

Подождав, не скажет ли брат еще чего, отец ушел под руку с Яковом, молчаливо опустив голову. Внизу он сказал:

— Умирает.

— Да?— спросил Мирон, сидя у стола, закрыв половину тела своего огромным листом газеты; спросив, он не отвел от нее глаз, но затем бросил газету на стол и сказал в угол жене:

— Я был прав,— читай!

Его кругленькая жена подкатилась к столу, а мать, сидя у окна, испуганно спросила:

— Неужели, Мирон, неужели война?

— Вот и второй Артамонов,— громко напомнил Петр.

— Врут, конечно,— сказал Мирон жене или Якову, который тоже, наклонясь над газетой, читал тревожные телеграммы, соображая: чем все это грозит ему? Артамонов старший, махнув рукою, пошел на двор, там солнце до того накалило булыжник, что тепло его проникало сквозь мягкие подошвы бархатных сапог. Из окна сыпались сухенькие, поучающие слова Мирона; Яков, стоя с газетой в руках у окна, видел, как отец погрозил кому-то своим багровым кулаком.

На третий день, рано утром, приехали монахи; их было семеро, все разного роста и объема, они показались Якову неразличимыми, как новорожденные. Лишь один из них, самый высокий, тощий, с густейшей бородою и не подобающим ни монаху, ни случаю громким, веселым голосом, тот, который шел впереди всех с большим, черным крестом в руках, как будто не имел лица: был он лысый, нос его расплылся по щекам, и кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой у него на месте лица ничего не значилось. Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп; он пел на три голоса:

— «Святый боже»,— низко, почти басом;

— Святый крепкий»,— выше, теиористо, а —

— «Святый, бессмертный, помилуй нас!»— так пронзительно, что мальчишки, забегая вперед, с удивлением смотрели в бороду его, вместилище невидимого трехголосого рта.

Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказа-

лось, что она тесно забита обывателями, запасными солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадно, монументом стоял впереди своих солдат, его освещало солнце; конусообразные попы и дьякона стояли тоже золотыми истуканами, они таяли, плавились на солнце, сияние риз тоже падало на поручика Маврина; впереди аналоя подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяной головою.

Трехголосый монах, покачивая черным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал:

— Расступитесь!

Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей, длинной лошадью Экке, помощника исправника,— взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперек улицы и закричал упрекающе, обиженно:

— К-куда? Что вы, не видите? Назад!

Монах, подняв крест, затянул:

— Святый бо-о...

— Ур-ра!— крикнул офицер, и весь народ на площади тысячами голосов разъяренно рявкнул:

— Ур-рра-а...

А Экке, привстав на стременах, тоже кричал:

— Петр Ильич, пож-жалуйста, переулочком! В обход! Мирон Алексеевич — прошу вас! Тут — воодушевление, а вы — как же это?

Артамонов старший, стоя у изголовья гроба, поддерживаемый женою и Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Экке и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб:

— Сворачивайте, отцы...

И, всхлипнув, добавил:

— Последний раз, видно, распоряжаюсь...

Все это показалось Якову неприличным, даже несколько смешным, но когда свернули в переулок, где жила Полина, он увидал ее быстро шагающей встречу похоронам, она шла в белом платье, под розовым зонтиком, и торопливо крестила выпуклую, туго обтянутую грудь.

«Мавриным любоваться идет»,— тотчас же сообразил он и задохнулся пылью, раздражением. Монахи пошли быстрее, чернобородый стал петь тише, задумчивей, а хор певчих и совсем замолчал. За городом, против ворот бойни, стояла какая-то странная телега, накрытая черным сукном, запряженная парой пестрых лошадей, гроб по-

ставили на телегу и начали служить панихиду, а из улицы, точно из трубы, доносился торжественный рев меди, музыка играла «Боже, царя храни», звонили колокола трех церквей и притекал пыльный, дымный рык:

— Р-р-р-а-а!

Якову казалось, что он слышит команду поручика Маврина:

— Р-но-о!

После панихиды пришлось ехать в дом тетки, долго сидеть за поминальным столом, слушая сердитую воркотню отца:

— Какой дурак распорядился поставить лошадей против бойни, а?

— Полиция, полиция,— успокаивал Митя и объяснял:— Неудобно, знаете: национальное, воодушевление, а тут — похоронные дроги! Не совпадает...

Мирон, слизнув улыбку с губ своих, говорил доктору Яковлеву, который был особенно заметен в тяжелые, неприятные дни:

— Но если мы дружно навалимся брюхом, как Митька в «Князе Серебряном»... В конце концов — все на свете решается соотношением чисел...

— Техникой,— возразил доктор.

— Техника? Ну, да... Но...

Только вечером, в десятом часу, Яков мог вырваться из этой скучной канители и побежал к Полине, испытывая тревогу, еще никогда до этого часа не изведанную им, предчувствуя, что должно случиться нечно необыкновенное. Конечно, это и случилось.

— Ох,— сказала кухарка Полины, когда Яков, пройдя двором, вошел в кухню,— сказала и грузно опустилась на скамью у печи.

— Сводня, подлая,— ответил Яков и остановился пред дверью в комнату, прислушиваясь к четким, солдатским шагам и знакомому, военному голосу:

— Так вот, надо сообразить — так или не так?.. Сообразите же!

«На вы говорит,— сообразил Яков,— может быть, еще ничего не было».

Но, открыв дверь, стоя на пороге ее, он тотчас убедился, что все уже было: хладнокровный поручик, строго сдвинув брови, стоял среди комнаты в расстегнутом кителе, держа руки в карманах, из-под кителя было видно подтяжки, и одна из них отстегнута от пуговицы брюк;

Полина сидела на кушетке, закинув ногу на ногу, чулок на одной ноге спустился винтом, ее бойкие глаза необычно круглы, а лицо, густо заливаясь румянцем, багровеет.

— Н-ну-с?— спросил хладнокровный поручик и вопросом своим окончательно утвердил все подозрения Якова. Он шагнул вперед, бросил шляпу на стул и сказал незнакомым себе, сорвавшимся голосом:

— Я — с похорон... с поминок...

— Да-с?— вопросительно, тоном хозяина отозвался поручик, Полина, затянувшись так, что папироса затрещала, сказала с дымом, но не виновато, а небрежно:

— Ипполит Сергеевич уговаривает меня идти в сестры милосердия...

— В сестры? М-да,— произнес Яков, усмехаясь,— тогда хладнокровный поручик, шагнул к нему, отчетливо спросил:

— Что значит эта усмешка? Прошу помнить: я превеличенний н-не люблю-с! Не терплю!

В эти две-три минуты Яков испытал, как сквозь него прошли горячие токи обиды, злости, прошли и оставили в нем подавляющее, почти горестное сознание, что маленькая женщина эта необходима ему так же, как любая часть его тела, и что он не может позволить оторвать ее от него. От этого сознания к нему вновь возвратился гнев, он похолодел, встал, сунув руку в карман.

— Не подходи!— предупредил он поручика, чувствуя, что у него выкатываются глаза так, что им больно.

— Эт-то почему?— спросил поручик и шагнул еще. Его противная манера удваивать буквы в словах всегда не нравилась Якову, а в эту минуту привела его в бешенство, он хотел выдернуть руку из кармана, крикнул:

— Убью!

Поручик Маврин схватил его за руку, мучительно сжал ее у кисти, револьвер глухо выстрелил в кармане, затем рука Якова с резкой болью как бы сломалась в локте, вырвалась из кармана, поручик взял из его пальцев револьвер и, бросив его на кресло, сказал:

— Не вышло!

— Яша, Яша!— слышал Артамонов громкий шепот.— Ипполит Сергеевич,— господа! Вы с ума сошли? Из-за чего? Ведь это — скандал! Из-за чего же?

— Н-ну,— оглушительно сказал хладнокровный поручик, взяв Якова за бороду, дергая ее вниз и этим заставляя кланяться ему:— Проси — прощенья — дурак!

С каждым словом, и рассекая длинные надвое, он дергал бороду вниз, потом легким ударом в подбородок заставлял поднимать ее.

— Ой, как стыдно, ой!— шептала Полина, хватая поручика за локоть.

Яков не мог двигать правою рукою, но, крепко сжав зубы, отталкивал поручика левой; он мычал, по щекам его текли слезы унижения.

— Не сметь меня касаться!— рявкнул поручик и, оттолкнув его, посадил в кресло, на револьвер. Тогда Яков, закрыв лицо руками, скрывая слезы, замер в полуобмороке, едва слыша, сквозь гул в голове, крики Полины:

— Боже мой, как это неблагородно! И это вы, вы! Такой скандал! За что?

— Идите к черту, барышня!— сказал поручик чугунным голосом.— Вот вам целковый за удовольствие,— эт-того достаточно! Я не выношу преувеличений, но вы самая обыкновенная...

Растаптывая пол тяжелыми ударами ног, поручик, хлопнув дверью, исчез, оставив за собой тихий звон стекла висячей лампы и коротенький визг Полины. Яков встал на мягкие ноги, они сгибались, все тело его дрожало, как озябшее; среди комнаты под лампой стояла Полина, рот у нее был открыт, она хрипела, глядя на грязненькую бумажку в руке своей.

— Сволочь,— сказал Яков.— Зачем ты это сделала? А — говорила... Убить надо тебя...

Женщина взглянула на него, бросила бумажку на пол и хрипло, с изумлением, протянула:

— Ка-акой негодяй...

Она опустилась в кресло, согнулась, схватив руками голову, а Яков, ударив ее кулаком по плечу, крикнул:

— Пусти! Дай револьвер...

Не шевелясь, она все так же изумленно спросила:

— Так ты меня любишь?

— Ненавижу!

— Врешь! Любишь теперь!

Она прыгнула на него так быстро, что Яков не успел оттолкнуть ее, она обняла его за шею и, с яростной настойчивостью, обжигая кусающими поцелуями, горячо дыша в глаза, в рот ему, шептала:

— Врешь, любишь, любишь. И я тоже — на! Ах ты, мягкий, Солененький мой...

Солененький — ее любимое ласкательное словечко,

она произносила его только в минуты исключительно сильного возбуждения, и оно всегда опьяняло Якова до какого-то сладостного и нежного зверства. Так случилось и в эту минуту; он мял, щипал, целовал ее и бормотал, задыхаясь:

— Дрянь. Паскудница. Ведь знаешь...

Через час он сидел на кушетке, она лежала на коленях у него; покачивая ее, он с удивлением думал:

«Как быстро все прошло!..»

А она утомленно говорила:

— Озлилась я, хотела бросить тебя. Ты все хлопочешь о своих, хоронишь, а мне скучно. И я не знала: любишь ты меня? Теперь будешь крепче любить, ревновать будешь потому что. Когда есть ревность...

— Уехать бы отсюда,— устало сказал Яков.

— Да. В Париж. Я могу говорить по-французски.

Огня они не зажгли, в комнате было темно и душно, на улице кричали запасные солдаты, бабы, хотя было поздно, за полночь.

— Теперь за границу не уедешь, там — война,— вспомнил Яков.— Война, черт их возьми...

Женщина снова заговорила о своем:

— Без ревности только собаки любят. Ты посмотри: все драмы, романы — все из ревности...

Яков усмехнулся, вздрогнув:

— Хорошо выстрелил револьвер, пуля могла в ногу мне попасть, а вот только на брюках дырочка.

Полина сунула в дырочку палец и вдруг, всхлипнув, сказала с тихой, но лютой злобой:

— Ах, жалко, что ты не успел выстрелить в него! В тугой бы, в резиновый живот ему!

— Молчи!— сказал Яков, сильно тряхнув ее, но она продолжала, присвистывая сквозь зубы и все так же люто:

— Подлец! Как обругал меня! Какие вы все... Ничего вы не понимаете в женщине!

И, вздернув распухшие губы, показывая крепко сжатые лисьи зубы, она дополнила:

— Ведь если женщина изменила, это вовсе не значит, что она уже не любит!

— Молчи, говорю!— крикнул Яков и тиснул ее так, что она застонала:

— Ой, вот я чувствую, любишь! Яша, Солененький мой...

Он ушел от нее на рассвете легкой походкой, чувствуя

себя человеком, который в опасной игре выиграл нечто ценное. Тихий праздник в его душе усиливало еще и то, что когда он, уходя, попросил у Полины спрятанный ею револьвер, а она не захотела отдать его, Яков принужден был сказать, что без револьвера боится идти, и сообщил ей историю с Носковым. Его очень обрадовал испуг Полины, волнение ее убедило его, что он действительно дорог ей, любим ею. Ахая, всплескивая руками, она стала упрекать его:

— Почему ты не сказал мне об этом?

И тревожно размышляла:

— Конечно, это очень интересно — сыщик! Вот, например, Шерлок Холмс,— ты читал? Но ведь у нас, наверное, и сыщики — тоже негодяи?

— Конечно,— подтвердил Яков.

Отдавая ему револьвер, она захотела проверить, хорошо ли он стреляет, и уговорила Якова выстрелить в открытую печку, для чего Якову пришлось лечь животом на пол; легла и она; Яков выстрелил, из печки на них сердито дунуло золой, а Полина, ахнув, откатилась в сторону, потом, подняв ладонь, тихо сказала:

— Смотри!

В крашеной половице была маленькая, косо и глубоко идущая дырка.

— Как подумаешь, что туда ушла смерть!— сказала Полина, вздыхая, нахмурив тонко вычерченные брови.

И никогда еще Яков не видел ее такой милой, не чувствовал так близко к себе. Глаза ее смотрели по-детски удивленно, когда он рассказывал о Носкове, и ничего злого уже не было на ее остреньком лице подростка.

«Не чувствует вины»,— с удивлением подумал Яков, и это было приятно ему.

Провожая его, она, говорила, гладя бороду Якова:

— Ах, Яша, Яша! Так вот как, значит! Мы — серьезно? Ах, боже мой... Но этот подлец!

Сжала пальцы рук в один кулак и, потрясая им, негодуя, пожаловалась:

— Господи, сколько подлецов!

Но вдруг, схватив руку Якова, задумчиво нахмурилась, тихонько говоря:

— Постой, постой! Тут есть одна барышня, ах, разумеется!

Просияла и, перекрестив Якова, отпустила его:

— Иди, Солененький!

Утро было прохладное, росистое; вздыхал предрассветный ветер, зеленовато-жемчужное небо дышало запахом яблоков.

«Конечно, она это со зла наблудила, и надо жениться на ней, как только отец умрет»,— великодушно думал он и тут же вспоминал смешные слова Серафима Утешителя:

«Всякая девица — утопающая, за соломину хватается. Тут ее и лови!»

Тревожила мысль о хладнокровном поручике, он не похож на соломинку, он обозлился и, вероятно, будет делать пакости. Но поручика должны отправить на войну. И даже о Носкове Якову Артамонову думалось спокойнее, хотя он, подозрительно оглядываясь, чутко прислушивался и сжимал в кармане ручку револьвера,— чаще всего Носков ловил Якова именно в эти часы.

Но прошло недели две, и страх пред охотником снова обнял Артамонова чадным дымом. В воскресенье, осматривая лес, купленный у Воропонова на сруб, Яков увидал Носкова, он пробирался сквозь чащу, увешанный капканами, с мешком за спиною.

— Счастливая встреча для вас,— сказал он, подходя, сняв фуражку; носил он ее по-солдатски: с заломом верхнего круга на правую бровь и, снимая, брал не за козырек, а за верх.

Не отвечая на его странное приветствие, в котором чувствовалась угроза, Яков сжал зубы и судорожно стиснул револьвер в кармане. Носков тоже молчал с минуту, расковыривал пальцем подкладку фуражки и не смотрел на Якова.

— Ну?— спросил Артамонов; Носков поднял собачьи глаза и, приглаживая дыбом стоявшие, жесткие волосы, проговорил отчетливо:

— Ваша любовь, то есть Пелагея Андреевна, познакомилась с дочерью попа Сладкопевцева, так вы ей скажите, чтобы она это бросила.

— Почему?

— Так уж...

И, послушав звон колоколов в городе, охотник прибавил:

— Даю совет от души, желая добра. А вы мне подарите рубликов...

Он посмотрел в небо и сосчитал:

— Тридцать пять...

«Застрелить собаку!» — думал Яков Артамонов, отсчитывая деньги.

Охотник взял бумажки, повернулся на кривых ногах, звякнув железом капканов, и, не надев фуражку, полез в чащу, а Яков почувствовал, что человек этот стал еще более тяжко неприятен ему.

— Носков! — негромко позвал его, а когда тот остановился, полускрытый лапами елок, Яков предложил ему:

— Бросил бы ты это!

— Зачем? — спросил Носков, высунув голову вперед, и Артамонову показалось, что в пустых глазах Носкова светится что-то боязливое или очень злое.

— Опасное дело, — объяснил Яков.

— Надо уметь, — сказал Носков, и глаза его погасли. — Для неумеющего — все опасно.

— Как хочешь.

— Против своей пользы говорите.

— Какая же тут польза, во вражде? — пробормотал Яков, жалея, что заговорил со шпионом.

«Туда же, — рассуждает, идиот...»

А Носков поучительно сказал:

— Без этого — не живут. У всякого — своя вражда, своя нужда. До свидания!

Он повернулся спиною к Якову и вломился в густую зелень елей. Послушав, как он шуршит колкими ветвями, как похрустывают сухие сучья, Яков быстро пошел на просеку, где его ждала лошадь, запряженная в дрожки, и погнал в город, к Полине.

— Вот — подлец! — почти радостно удивилась Полина. — Уже узнал, что она приходит ко мне? Скажите, пожалуйста!

— Зачем ты знакомишься с такими? — сердито упрекнул Яков, но она тоже сердито, дергая желтый газовый шарфик на груди своей, затараторила:

— Во-первых — это надо для тебя же! А во-вторых, — что же мне кошек, собак завести, Маврина? Я сижу одна, как в тюрьме, на улицу выйти не с кем. А она — интересная, она мне романы, журналы дает, политикой занимается, обо всем рассказывает. Я с ней в гимназии у Поповой училась, потом мы разругались...

Тыкая его пальцем в плечо, она говорила все более раздраженно:

— Ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Сладкопевцева говорит, что любовница, как резино-

вые галоши,— нужна, когда грязно, вот! У нее роман с вашим доктором, и они это не скрывают, а ты меня прячешь, точно болячку, стыдишься, как будто я кривая или горбатая, а я — вовсе не урод...

— Погоди,— сказал Яков,— женюсь! Серьезно говорю, хотя ты и свинья...

— Еще вопрос, кто из нас свиноватее!— крикнула и ребячливо расхохоталась, повторяя:— Свиноватее, виноватее,— запуталась! Солененький мой... Милый ты, не жадный! Другой бы — молчал; ведь тебе шпион этот полезен...

Как всегда, Яков ушел от нее успокоенный, а через семь дней, рано утром табельщик Елагин, маленький, рябой, с кривым носом, сообщил, что на рассвете, когда ткачи ловили бреднем рыбу, ткач Мордвинов, пытаясь спасти тонувшего охотника Носкова, тоже едва не утоп и лег в больницу. Слушая гнусавый доклад, Яков сидел, вытянув ноги для того, чтоб глубже спрятать руки в карманы, руки у него дрожали.

«Утопили»,— думал он и, представляя себе добродушного Мордвинова, человека с мягким, бабьим лицом, не верил, чтоб этот человек мог убивать кого-то.

«Счастливый случай»,— думал он, облегченно вздыхая, Полина тоже согласилась, что это — счастливый случай.

— Конечно,— лучше так,— сказала она. серьезно нахмурясь,— потому что, если б как-нибудь иначе убивали его,— был бы шум.

Но — пожалела:

— Было бы интереснее поймать его, заставить раскаяться и — повесить или расстрелять. Ты читал...

— Ерунду говоришь, Полька,— прервал ее Яков.

Прошло несколько тихих дней, Яков съездил в Воргород, возвратился, и Мирон, озабоченно морщась, сказал:

— У нас еще какая-то грязная история; по предписанию из губернии Экке производит следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовал Мордвинова, Кирьякова, кочегара Кротова, шута горохового,— всех, кто ловил рыбу с охотником. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое... Не в надорванном ухе, конечно...

Он остановился у рояля, раскачивая пенсне на пальце, глядя в угол прищуренными глазами. В измятой шведской куртке, в рыжеватых брюках и высоких, по колено, пыльных сапогах он был похож на машиниста; его кости-

стые, гладко обритые щеки и подстриженные усы напоминали военного; малоподвижное лицо его почти не изменялось, что бы и как бы он ни говорил.

— Идиотское время! — раздумчиво говорил он. — Вот, влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз от собственной глупости; воевать с глупостью — не умеем, нет сил. А все наши задачи пока — внутри страны. В крестьянской земле рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии — купеческий сын Илья Артамонов, человек сословия, призванного совершить великое дело промышленной и технической европеизации страны. Нелепость на нелепости! Измена интересам сословия должна бы караться как уголовное преступление, в сущности — это государственная измена... Я понимаю какого-нибудь интеллигента, Горицветова, который ни с чем не связан, которому некуда девать себя, потому что он бездарен, нетрудоспособен и может только читать, говорить; я вообще нахожу, что революционная деятельность в России — единственное дело для бездарных людей...

Якову казалось, что брат говорит, видя пред собою полную комнату людей, он все более прищуривал глаза и наконец совсем закрыл их. Яков перестал слушать его речь, думая о своем: чем кончится следствие о смерти Носкова, как это заденет его, Якова?

Вошла беременная, похожая на комод, жена Мирона, осмотрела его и сказала усталым голосом:

— Поди, переоденься!

Мирон покорно взбросил пенсне на нос и ушел.

Через месяц приблизительно всех арестованных выпустили; Мирон строго, не допускающим возражений голосом, сказал Якову:

— Рассчитай всех.

Яков давно уже, незаметно для себя, привык подчиняться сухой команде брата, это было даже удобно, снимало ответственность за дела на фабрике, но он все-таки сказал:

— Кочегара надо бы оставить.

— Почему?

— Веселый. Давно работает. Развлекает людей.

— Да? Ну, пожалуй, оставим.

И, облизнув губы, Мирон сказал:

— Шуты действительно полезны.

Некоторое время Якову казалось, что в общем все идет хорошо, война притиснула людей, все стали задумчи-

вее, тише. Но он привык испытывать неприятности, предчувствовал, что не все они кончились для него, и смутно ждал новых. Ждать пришлось не очень долго, в городе снова явился Нестеренко под руку с высокой дамой, похожей на Веру Попову; встретив на улице Якова, он, еще издали, посмотрел сквозь него, а подойдя, поздоровавшись, спросил:

— Можете зайти ко мне через час? Я — у тестя. Знаете — жена моя умирает. Так что я вас попрошу: не звоните с парадного, это беспокоит больную, вы — через двор. До свидания!

Час был тяжел и неестественно длинен, и когда Яков Артамонов устало сел на стул в комнате, заставленной книжными шкафами, Нестеренко, тихо и прислушиваясь к чему-то, сказал:

— Ну-с, приятеля нашего укокали. Это несомненно, хотя и не доказано. Сделано ловко, можно похвалить. Теперь вот что: дама вашего сердца, Пелагея Назарова, знакома с девицей Сладкопевцевой, на днях арестованной в Воргороде. Знакома?

— Не знаю,— сказал Яков и сразу весь вспотел, а жандарм поднес руку свою к носу и, рассматривая ногти, сказал очень спокойно:

— Знаете.

— Кажется — знакома.

— Вот именно.

«Что ему надо?» — соображал Яков, исподлобья рассматривая серое, в красных жилках, плоское лицо с широким носом, мутные глаза, из которых как будто капала тяжкая скука и текли остренькие струйки винного запаха.

— Я говорю с вами не официально, а как знакомый, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы,— слышал Яков сиповатый голос.— Тут, видите ли, какая штука, дорогой мой... стрелок!— Жандарм усмехнулся, помолчал и объяснил:

— Я говорю — стрелок, потому что мне известен еще один случай неудачного пользования вами огнестрельным оружием. Да, так вот, видите ли: девица Сладкопевцева знакома с Назаровой, дамой вашего сердца. Теперь — сообразите: род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я — исключаюсь из этой цепи знакомств. Носков был не глуп, хотя — вял и...

Нестеренко, вздохнув, посмотрел под стол:

— Ничто не вечно. Остаетесь — вы...

Якову Артамонову казалось, что изо рта офицера тянутся не слова, но тонкие, невидимые петельки, они захлестывают ему шею и душат так крепко, что холодеет в груди, останавливается сердце и все вокруг, качаясь, воет, как зимняя вьюга. А Нестеренко говорил с медленностью — явно нарочитой:

— Я думаю, я почти уверен, что вами была допущена некоторая неосторожность в словах, да? Вспомните-ка!

— Нет,— тихо сказал Яков, опасаясь, как бы голос не выдал его.

— Так ли?— спросил офицер, размахнув усы красными пальцами.

— Нет,— повторил Яков, качая головою.

— Странно. Очень странно. Однако — поправимо. Вот что-с: Носкова нужно заменить таким же человеком, полезным для вас. К вам явится некто Минаев, вы наймете его, да?

— Хорошо,— сказал Яков.

— Вот и все. Кончено. Будьте осторожны, прошу вас! Никаким дамам — ни-ни! Ни слова. Понимаете?

«Он говорит как с мальчишкой, с дураком»,— подумал Яков.

Потом жандарм говорил о близости осеннего перелета птиц, о войне и болезни жены, о том, что за женою теперь ухаживает его сестра.

— Но — надо готовиться к худшему,— сказал Нестеренко и, взяв себя за усы, приподнял их к толстым мочкам ушей, приподнялась и верхняя губа его, обнажив желтые косточки.

«Бежать,— думал Яков.— Запутает он меня. Уехать».

«Черт вас всех возьми,— думал он, идя берегом Оки.— На что вы мне нужны? На что?»

Мелкий дождь, предвестник осени, лениво кропил землю, желтая вода реки покрылась рябью, в воздухе, теплом до тошноты, было что-то еще более углублявшее уныние Якова Артамонова. Неужели нельзя жить спокойно, просто, без всех этих ненужных, бессмысленных тревог?

Но, как обоз в зимнюю метель, двигались один за другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные необычно тревожным.

Пришел с войны один из Морозовых, Захар, с георгиевским крестом на груди, с лысой, в красных язвах, обгоревшей головою; ухо у него было оторвано, на месте правой брови — красный рубец, под ним прятался какой-

то раздавленный, мертвый глаз, а другой глаз смотрел строго и внимательно. Он сейчас же сдружился с кочегаром Кротовым, и хромой ученик Серафима Утешителя запел, заиграл:

Эх, ветер дует, дождь идет,
Я лежу в окопе.
Помогаю, идиёт,
Воевать Европе!

Яков спросил Морозова:

— Что, Захар, плохо воюем?

— Хорошо-то нечем,— ответил ткач. Голос у него был дерзко лающий, в словах слышалось отчаянное бесстыдство песенок кочегара.

— Хозяина нет у нас, Яков Петрович,— говорил он в лицо хозяину.— Хозяйствуют жулики.

Это человек и Васька кочегар стали как-то особенно заметны, точно фонари, зажженные во тьме осенней ночи. Когда веселый Татьянин муж нарядился в штаны с широкой, до смешного, мотней и такого же цвета, как гнилая Захарова шинель, кочегар посмотрел на него и запел:

Вот так брючки для растяп!
Сразу видно разницу:
Одни — голову растят,
А другие — задницу!

К удивлению Якова, зять не обиделся на эту насмешку, а захохотал, явно поощряя кочегара на дальнейшее словестное озорство. Рабочие тоже смеялись, и особенно хохотала фабрика, когда Захар Морозов привел на двор мохнатого кутенка, с пушистым, геройски загнутым на спину хвостом, на конце хвоста, привязан мочалом, болтался беленький георгиевский крест. Мирон не стерпел этого озорства, Захара арестовала полиция, а кутенок очутился у Тихона Вялова.

По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всякие изломанные люди в солдатских шинелях, и все вокруг окрашивалось в гнойный цвет их одежды. Изломанных, испорченных солдат водили на прогулки городские дамы, дамами командовала худая, тонкая, похожая на метлу, Вера Попова, она привлекла к этому делу и Полину, но та, потряхивая головою, кричала, жаловалась:

— Ой, нет, я не могу! Это безобразие! Ты посмотри,

Яша, они все молодые, здоровые и все изувечены, и такой запах от них — не могу! Послушай — уедем!

— Куда? — уныло спрашивал Яков, видя, что его женщина становится все более раздражительной, страшно много курит и дышит горькой гарью. Да и вообще все женщины в городе, а на фабрике — особенно, становились злее, ворчали, фыркали, жаловались на дороговизну жизни, мужья их, посвистывая, требовали увеличения заработной платы, а работали все хуже; поселок вечерами шумел и рычал по-новому громко и сердито.

Среди рабочих мелькал солидный слесарь Минаев, человек лет тридцати, черный и носатый, как еврей. Яков боязливо сторонился его, стараясь не встречаться со взглядом слесаря, который смотрел на всех людей темными глазами так, как будто он забыл о чем-то и не может вспомнить.

Грязным обломком плавал по двору отец, едва передвигая больные ноги. Теперь на его широких плечах висела дорожная лисья шуба с вытертым мехом, он останавливал людей, строго спрашивая:

— Куда идешь?

А когда ему отвечали, махал рукою, бормотал:

— Ну, ступай. Бездельники. Клопы, моей кровью живете!

Его лиловатое, раздутое лицо брезгливо дрожало, нижняя губа отваливалась; за отца было стыдно пред людями. Сестра Татьяна целые дни шуршала газетами, тоже чем-то испуганная до того, что у нее уши всегда были красные. Мирон птицей летал в губернию, в Москву и Петербург, возвратясь, топал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал о пьяном, распутном мужике, пиявкой присосавшемся к царю.

— В живого такого мужика — не верю! — упрямо говорила полуслепая Ольга, сидя рядом со снохой на диване, где возился и кричал ее двухлетний сын Платон. — Это нарочно выдумано, для примера...

— Это — замечательно! — возглашал веселый Татьянин муж. — Это изумительно! Деревня — мстит! Ага?

Он радостно потирал жирненькие руки свои, обросшие рыжей шерстью. Он один уверенно ждал какого-то праздника.

— Боже мой! — с досадой восклицала Татьяна. — Что тебя радует? Не понимаю!

Удивленно открыв рот, Митя каркал:

— Ка-ак? Ты — не понимаешь? Так — пойми же! За все, что она претерпела, деревня — мстит! В лице этого мужика она выработала в себе разрушающий яд...

— Позвольте! — морщась, сказал Мирон. — Еще недавно вы говорили иное...

Но Митя почти исступленно, захлебываясь словами, говорил проникновенным шепотом:

— Это — символ, а не просто — мужик! Три года тому назад они праздновали трехсотлетний юбилей своей власти и вот...

— Чепуха, — резко сказал Мирон; доктор Яковлев, как всегда, усмехался, а Яков Артамонов думал, что если эти речи станут известны жандарму Нестеренке...

— Зачем вы все это говорите? — спрашивал он. — Какой толк?

И уговаривал:

— Перестаньте!

Он замечал, что и Мирон необыкновенно рассеян, встревожен, это особенно расстраивало Якова. В конце концов из всех людей только один Митя оставался таким же, каким был, так же вертелся волчком, брызгал шуточками и по вечерам, играя на гитаре, пел:

Жена моя в гробу...

Но Татьяне уже не нравились его песенки.

— Фу, как это надоело! — говорила она и шла к детям.

Митя ловко умел успокаивать рабочих; он посоветовал Мирону закупить в деревнях муки, круп, гороха, картофеля и продавать рабочим по своей цене, начисляя только провоз и утечку. Рабочим это понравилось, а Якову стало ясно, что фабрика верит веселому человеку больше, чем Мирону, и Яков видел, что Мирон все чаще ссорится с Татьяниным мужем.

— Вы хотите держать нос по ветру? — четко, не скрывая злобы, спрашивает Мирон, а Митя, улыбаясь, отвечает:

— Воля народа... право народа...

— Я спрашиваю: кто же, собственно, вы? — кричит Мирон.

— Будет вам орать, — ворчит Артамонов старший, но Яков видит в тусклых глазах отца искорки удовольствия, старику приятно видеть, как ссорятся зять и племянник, он усмехается, когда слышит раздраженный визг Татьяны, усмехается, когда мать робко просит:

— Налей мне, Таня, еще чашечку...

Все новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг, без связи с предыдущим. Вдруг совершенно ослепшая тетка Ольга простудилась и через двое суток умерла, а через несколько дней после ее смерти город и фабрику точно громом оглушило: царь отказался от престола.

— Что ж теперь — республика будет? — спросил Яков брата, радостно воткнувшего нос в газету.

— Республика, конечно! — ответил Мирон, склонясь над столом; он упирался ладонями в распластанный лист газеты так, что бумага натянулась и вдруг лопнула с треском. Якову это показалось дурным предзнаменованием, а Мирон разогнулся, лицо у него было необыкновенное, и он сказал не свойственным ему голосом, крикливо, но ласково:

— Начнется выздоровление, обновление России — вот что, брат!

И размахнул руками, как бы желая обнять Якова, но тотчас одну руку опустил, а другую, подержав протянутой, поднял, поправил пенсне, снова протянул руку, стал похож на семафор и заявил, что завтра же вечером едет в Москву.

Митя тоже размахивал руками, точно озябший извозчик, но кричал:

— Теперь все пойдет отлично; теперь народ скажет, наконец, свое мощное слово, давно назревшее в душе его!

Мирон уже не спорил с ним, задумчиво улыбаясь, он облизывал губы; а Яков видел, что так и есть: все пошло отлично, все обрадовались, Митя с крыльца рассказывал рабочим, собравшимся на дворе, о том, что делалось в Петербурге, рабочие кричали ура, потом, схватив Митю за руки, за ноги, стали подбрасывать в воздух. Митя сжался в комок, в большой мяч, и взлетал очень высоко, а Мирон, когда его тоже стали качать, как-то разламывался в воздухе, казалось, что у него отрываются и руки и ноги. Митю окружила толпа старых рабочих, и огромный, жилистый ткач Герасим Воинов кричал в лицо ему:

— Митрий Павлов, ты — удобный человек, удобный, — понял? Ребята — ура ему!

Кричали ура, а кочегар Васька, приплясывая, блестя лысоватым черепом, орал, точно пьяный:

Эх, — далеко люди сидели
От царева трона!
Подошли да поглядели —
На троне — ворона!

— Делай, Вася! — поощряли его.

Якова тоже хотели качать, но он убежал и спрятался в доме, будучи уверен, что рабочие, подбросив его вверх, — не подхватят на руки, и тогда он расшибется о землю. А вечером, сидя в конторе, он услыхал на дворе под окном голос Тихона:

— Зачем отнял кутенка? Ты продай его мне. Я из него хорошую собаку сделаю.

— Э, старик, разве теперь время собак воспитывать? — ответил Захар Морозов.

— А ты чего делаешь? Продай, возьми целковый, ну?

— Отстань.

Яков, выглянув из окна, сказал:

— Царь-то, Тихон, а?

— Да, — отозвался старик и, посмотрев за угол дома, тихонько свистнул.

— Свергли царя-то!

Тихон наклонился, подтягивая голенище сапога, и сказал в землю:

— Разыгрались. Вот оно, Антоново слово: потеряла кибитка колесо!..

Выпрямился и пошел за угол дома, покрикивая негромко:

— Тулун, Тулун...

Хороводом пошли крикливо веселые недели; Мирон, Татьяна, доктор да и все люди стали ласковее друг с другом; из города явились какие-то незнакомые и увезли с собою слесаря Минаева. Потом пришла весна, солнечная и жаркая.

— Послушай, Солененький, — говорила Полина, — я все-таки не понимаю, как же это! Царь отказался царствовать, солдат всех перебили, изувечили; полицию разогнали, командуют какие-то штатские, — как же теперь жить? Всякий черт будет делать все, что хочет, и, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он и все другие, кто ухаживал за мной и кому я отказала. Я не хочу, не могу теперь, когда все заодно, жить здесь, я должна жить там, где меня никто не знает! И потом: ведь уж если это сделано — революция и свобода, — то, конечно, для того, чтоб каждый жил, как ему нравится!

Полина говорила все настойчивее, все многословней, Яков чувствовал в ее речах нечто неоспоримое и успокаивал:

— Подожди немного, утрясется это, тогда...

Но он уже не верил, что волнение вокруг успокоится, он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Человек, который привык бояться, всегда найдет причину для страха; Якова стал пугать жареный череп Захара Морозова, Захар ходил царьком, рабочие следовали за ним, как бараны за овчаркой, Митя летал вокруг него ручной сорокой. В самом деле, Морозов приобрел сходство с большой собакой, которая выучилась ходить на задних лапах; сожженная кожа на голове его, должно быть, полопалась, он иногда обертывал голову, как чалмой, купальным, мохнатым полотенцем Татьяны, которое дал ему Митя; огромная голова, придавив Захара, сделала его ниже ростом; шагал он важно, как толстый помощник исправника Экке, большие пальцы держал за поясом отрепанных солдатских штанов и, пошевеливая остальными пальцами, как рыба плавниками, покрикивал:

— Товарищи — порядок!

Он судил троих парней за кражу полотна; громко, так что было слышно на всем дворе, он спрашивал воров:

— Вы понимаете, у кого украли?

И сам же отвечал:

— Вы украли у себя, у всех нас! Разве можно теперь воровать, сукины дети?

Он приказал высечь воров, и двое рабочих с удовольствием отхлестали их прутьями ветлы, а Васька кочегар исступленно пел, приплясывая:

Вот как нынче насекомых секут!
Вот какой у нас праведный судья...

Сорвался, забормотал что-то, разводя руками, и вдруг крикнул:

Спаси, господи, люди твоя!

Митя закричал:

— Браво-о!

Митя бегал в сереньких брючках, в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок, на рыжем лице его блестел пот, а в глазах сияла хмельная, зеленоватая радость. Вчера ночью он крепко поссорился с женою; Яков слышал, как из окна их комнаты в сад летел сначала громкий шепот, а потом несдерживаемый крик Татьяны:

— Вы — клоун! Вы — бесчестный человек! Ваши

убеждения? У нищих — нет убеждений. Ложь! Месяц тому назад эти твои убеждения... Довольно! Завтра я уезжаю в город, к сестре... Да, дети со мной...

Это не удивило Якова, он давно уже видел, что рыженький Митя становится все более противным человеком, но Яков был удивлен и даже несколько гордился тем, что он первый подметил ненадежность рыженького. А теперь даже мать, еще недавно любившая Митю, как она любила петухов, ворчала:

— Что уж это, какой он стал несогласный, будто жиденок! Вот, корми их...

Митя кричал:

— Все — превосходно! Жизнь — красавица, умница! Но басни о возможности мирного сожительства волков с баранами,— это надо забыть, Татьяна Петровна! С этим — опоздали!

Мирон озлобленно и сухо спросил его:

— А что вы скажете завтра?

— Что жизнь подскажет! Да! Ну-с, дальше?

Жена и Мирон ходили около Мити так осторожно, точно он был выпачкан сажей. А через несколько дней Митя переехал в город, захватив с собою имущество свое: три больших связки книг и корзину с бельем.

Всюду Яков наблюдал бестолковую, пожарную суету, все люди дымились дымом явной глупости, и ничто не обещало близкого конца этим сумасшедшим дням.

— Ну,— сказал он Полине,— я решил: едем! Сначала — в Москву, а там — подумаем...

— Наконец-то!— обрадовалась женщина, обнимая, целуя его.

Июльский вечер, наполнив сад красноватым сумраком, дышал в окна тяжким запахом земли, размоченной дождем, нагретой солнцем. Было хорошо, но грустно.

Сняв со своей шеи горячие, влажные руки Полины, Яков задумчиво сказал:

— Прикрой грудь... Вообще — оденься! Надо — серьезно.

Она соскочила на пол с колен его, в два прыжка подбежала к постели, окуталась халатом и деловито села рядом с ним.

— Видишь ли,— заговорил Яков, растирая ладонью бороду по щеке так, что волоса скрипели.— Надо подумать, поискать такое место, государство, где спокойно.

Где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот!

— Конечно,— сказала Полина.

— Все надо делать осторожно. Мирон говорит: поезда набиты беглыми солдатами. Надо прибедниться...

— Только ты возьми с собой побольше денег.

— Ну да, разумеется. Я уеду так, чтоб мои не знали — куда. Я будто в Воргород поеду,— понимаешь?

— А — зачем скрывать?— удивленно и недоверчиво спросила Полина.

Он не знал — зачем; эта мысль только что явилась у него, но он чувствовал, что это — хорошая мысль.

— Ну, знаешь — отец, Мирон, расспросы... Это все — не нужно. Деньги — в Москве, денег я могу достать много, хороших...

— Только — скорее!— просила Полина.— Ты видишь: жить — нельзя. Все дорого, и ничего нет. И, наверное, будут грабить, потому что — как жить?

Оглянувшись на дверь, она шептала:

— Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая и всегда точно пьяная. Она может зарезать меня во сне, почему же не зарезать, если все так спуталось? Вчера слышу — перешептывается с кем-то. Боже мой!— думаю,— вот! Но приотворила тихонько дверь, а она стоит на коленях и — рычит! Ужас!

— Подожди,— остановил Яков быстрый поток ее тревожного шепота.— Сначала уеду я...

— Нет,— громко сказала она, ударив кулачком своим по колену.— Сначала я! Ты даешь мне денег и...

— Что ж ты — не веришь мне?— обиженно и сердито спросил мужчина и получил твердо сказанный ответ:

— Не верю. Я — честная, я говорю прямо: нет! Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили и всему изменяют? Ты — кому веришь?

Она говорила убедительно, и еще более убедительно говорила грудь ее из складок распахнувшегося халата. Яков Артамонов уступил ей; решили, что она завтра же начнет собираться, поедет в Воргород и там подождет его.

На другой же день Яков стал жаловаться на боли в желудке, в голове, это было весьма правдоподобно; за последние месяцы он сильно похудел, стал вялым, рассеянным, радужные глаза его потускнели. И через восемь дней он ехал по дороге от города на станцию; тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником,

торчавшим среди глубоких выбоин, в них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченная трещинами. Сзади его оставалась такая же разбитая, развороченная жизнь, а внереди из мягкой ямы в центре дымных туч белесым пятном просвечивало мертвенькое солнце.

Через месяц Мирон Артамонов, приехав из Москвы, сказал Татьяне, наклонив голову, разглядывая ладонь свою:

— Должен сообщить тебе нечто печальное: в Москве ко мне явилась эта пошлая девица, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди — гм, какие теперь люди?— избили его и выбросили из вагона...

— Нет!— крикнула Татьяна, попробовав встать со стула.

— На ходу поезда. Через двое суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки.

Татьяна молча прижала платок к своим глазам, ее острые плечи задрожали, черное платье как-то потекло с них, как будто эта женщина, тощая, с длинной шеей, стала таять.

Мирон поправил пенсне, хрустнул пальцами, потирая руки, слушал звон одинокого колокола, благовест ко всенощной, затем, шагая по комнате, сказал:

— Что же плакать? Между нами — он был совершенно бесполезный человек. И — неприлично глуп, прости! Разумеется — жалко. Да.

— Боже мой,— сказала Татьяна, мигая покрасневшими веками, и, помуслив палец, пригладила брови.

— Эта бойкая девица,— говорил Мирон, сунув руки в карманы,— весьма неискусно притворяется печальной вдовой, но одета настолько шикарно, что — ясно: она обобрала Якова. Она говорит, что писала нам сюда.

Татьяна отрицательно мотнула головою.

— Нет? Я так и знал. Я полагаю, что отцу и матери не нужно говорить об этом, пусть думают, что Яков жив. Так?

— Да, это лучше,— согласилась Татьяна.

— Впрочем, дядя, кажется, ничего уже не понимает, но мать утопила бы себя в слезах...

Покачав головою, Татьяна сказала:

— Скоро мы все погибнем.

— Возможно, если останемся здесь. Но я немедля отправляю жену и детей прочь отсюда. Советую и тебе

убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов... Итак: мы старикам ничего не скажем. Ну, извини меня, еду домой; жена нездорова...

Длинной рукою своей он встряхнул руку сестры и ушел, сказав:

— Невероятно трудно ездить теперь, дороги — в ужаснейшем состоянии!

Артамонов старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон, все более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в кресле против окна; за окном голубая пустота, иногда ее замазывали облака; в зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, клочковатой, серой бородою. Артамонов смотрел на свое лицо и думал:

«Хорош комар».

Приходила жена, наклонялась над ним, тормошила и хныкала:

— Уехать надо, лечиться надо...

— Уйди,— лениво говорил Артамонов.— Уйди, лошадь. Надоела. Дай покою.

И, оставаясь один, прислушивался, как празднично шумят люди на дворе, в саду, везде. А фабрика — молчит.

Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек,— исчез, умер. И хорошо сделал,— думать старику было трудно, не хотелось, да он давно уже понял, что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все: Яков, Татьяна, зять?

Иногда он спрашивал жену:

— Илья — воротился?

— Нет.

— Нет еще?

— Нет.

— А — Яков?

— И Яков.

— Так. Гуляют. А дело Мирошка сосет.

— Ты не думай про это,— советовала Наталья.

— Уйди.

Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У нее тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые, она похудела, оплыла, как сальная свеча.

Изредка, но все чаще, Петра Артамонова будила непонятная суета в доме: являлись какие-то чужие люди, он

присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред, слышал вопли жены:

— Господи, да — что же это? За что? Ведь это — хозяин, хозяева мы! Ну, дайте я увезу его, ему лечиться надо, в город надо ему! Да — позвольте же увезти-то...

«Спрятать хочет. А — чего прятать?— соображал Артамонов.— Дура. Весь век свой дурой жила. Яков — в нее родился. И — все. А Илья — в меня. Вот он воротится — он наведет порядок...»

Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель.

Из этого состояния полуяви-полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидал себя в саду, в беседке; сквозь ее стекла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо, казалось, что оно висит тут же, за деревьями, и до него можно дотронуться рукою.

— Есть хочу,— сказал Артамонов; ему не ответили.

Синеватая, сырая мгла наполняла сад; пред беседкой стояли, положив головы на шеи друг другу, две лошади, серая и темная; на скамье за ними сидел человек в белой рубахе, распутывая большую связку веревок.

— Наталья,— слышишь? Есть давай...

Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась, она всегда была где-то близко, а сегодня — нет ее.

«Неужто?— подумал Артамонов, и в голове его стало яснее.— Или — захворала?»

Он приподнял голову, у двери в баню сквозь кусты что-то блестело, потом оказалось, что это ружье со штыком за спиною зеленоватого солдата, неразличимого в кустах. На дворе кто-то кричал:

— Вы что, товарищи,— шутите? Разве так лошадей держат? Так — свиней не держат! А почему сено не убрано и намокло? А в баню, под замок — хочешь?

Человек в белой рубахе сбросил веревки с колен на землю и встал, сказав негромко в сторону солдата:

— Явился еси, с небеси, черт его унеси!

— Командиров стало больше прежнего,— ответил солдат.

— И кто их, дьяволов, назначает?

— Сами себя. Теперь, браток, все само собой делается, как в старухиной сказке.

Человек подошел к лошадям, взял их за гривы,— Артамонов старший крикнул как мог громко:

— Эй, позови жену!

— Молчи, старик,— ответили ему.— Ишь ты, жену захотел...

Лошади ушли. Артамонов провел ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой незастекленной стены беседки, под яблоней, на которой красные яблоки висели гроздьями, как рябина; лежать было жестко; он покрыт своей изношенной лисьей шубой, и на нем толстый зимний пиджак. Но — не жарко. Нельзя понять — зачем он тут? Может быть — в доме предпраздничная уборка? Какой же праздник? Зачем лошади в саду и солдат у бани? И кто это орет на дворе: «Вы, товарищ,— бестолковый мальчишка! Чего? Люди устали? Уставать — рано! Без дураков...»?

Кричали далеко, но крик оглушал, вызывая шум в голове. И ног как будто нет; от колен не двигаются ноги. Яблоню на стене писал маляр Ванька Лукин, вор; он потом обокрал церковь и помер, сидя в тюрьме.

В беседку вошел кто-то очень широкий, в мохнатой шапке; он внес холодную тень и густой запах дегтя.

— Это — Тихон?

— А как же...

Ворчливый ответ Тихона тоже оглушил. Старый дворник развел руками, точно поплыл над скрипучим полом.

— Кто это орет?

— Захарка Морозов.

— А — солдат к чему тут?

— Война.

Помолчав, Артамонов спросил:

— И сюда враг дошел?

— Это — против тебя война, Петр Ильич...

Хозяин строго сказал:

— Ты, старый дурак, не шути, я тебе не товарищ!

Он услыхал спокойный ответ:

— Последняя война, больше не хотят. И теперь — все товарищи. А для дурака я действительно стар.

Было ясно, что Тихон издевается. Вот он бесцеремонно сел в ногах хозяина, не сняв шапки. На дворе сиповато, сорванным голосом, командуют:

— И чтобы после восьми часов на улицах — никаких фигур!

— Где жена?— спросил Артамонов.

— Ушла хлеба искать.

— Как это — искать?

— А как же? Хлеб — не кирпич, на земле не валяется.

Сумрак в саду становился все гуще, синее; около бани зевнул, завыл солдат, он стал совсем невидим, только штык блестел, как рыба в воде. О многом хотелось спросить Тихона, но Артамонов молчал: все равно у Тихона ничего не поймешь. К тому же и вопросы как-то прыгали, путались, не давая понять, который из них важнее. И очень хотелось есть.

Тихон заворчал:

— Дурак, а правду понял раньше всех. Вот оно как повернулось. Я говорил: всем каторга! И — пришло. Смахнули, как пыль тряпицей. Как стружку смели. Так-то, Петр Ильич. Да. Черт строгал, а ты — помогал. А — к чему все? Грешили, грешили,— счета нет грехам! Я все смотрел: диво! Когда конец? Вот наступил на вас конец. Отлилось вам свинцом все это... Потеряла кибитка колесо...

— «Бредит»,— сообразил Артамонов, но все-таки спросил:

— Зачем я тут?

— Выгнали из дома.

— Мирон?

— Всех.

— А... Яков?

— Его давано нет.

— Где Илья?

— Слышно — с этими. Надо быть, потому ты и жив, что он — с ними, а то...

«Бредит,— уверенно решил Петр Артамонов и замолчал, думая:— Выжил из ума, старичишко. Так и надо было ждать».

Мелкие, тускленькие звезды высыпались в небо; раньше как будто не было таких звезд. И не было их так много.

Тихон взял шапку и, тиская ее в руках, снова заворчал:

— Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Нищим — легче.

Вдруг, иным голосом, он спросил:

— Помнишь мальчишку-то, конторщикова-то?

— Ну? Так — что?

Петр Артамонов не мог понять: испугал или только удивил его этот неожиданный вопрос? Но он тотчас понял, как только Тихон сказал:

— Убил ты его, как Захар кутенка. А на что убил?

Артамонову стало ясно: Тихон, наконец, все-таки донес на него, и вот он, больной, арестован. Но это не очень испугало его, а скорей возмутило нечеловеческой глупостью. Он оперся локтями, приподнял голову, заговорил тихо, с укором и насмешкой, чувствуя на языке какую-то горечь и сухость во рту:

— Это ты — врешь! И — для каждого проступка есть срок, давность! А ты — все сроки пропустил. Да! И — сошел с ума. И — забыл, что сам видел, сам сказал тогда...

— А — что я сказал?— перебил его старик.— Я, конечно, не видел, ну — я понял! Сказал, чтоб поглядеть: что ты будешь делать? Я — лжу сказал, а ты — рад, схватился за лжу. Я глядел-глядел, ждал-ждал... И все вы — такие. Алексей Ильич научил тестя своего, пьяницу, трактир Барского поджечь, а твой отец догадался об этом, устроил, что убили пьяницу до смерти. Никита Ильич знал это, он тоже до всего доходил умом. Ему бы молчать, а он, со зла на тебя, мне сказал. Я говорю: «Ты монах, тебе все это забыть надо, а я — буду помнить». Запугали вы его делами вашими. Послал его в петлю, а после в монастырь: молись за нас! А ему за вас и молиться страшно было — не смел! И оттого — бога лишился...

Казалось, Тихон может говорить до конца всех дней. Говорил он тихо, раздумчиво и как будто беззлобно. Он стал почти невидим в густой, жаркой тьме позднего вечера. Его шершавая речь, напоминая ночной шорох тараканов, не пугала Артамонова, но давила своей тяжестью, изумляя до немоты. Он все более убеждался, что этот непонятный человек сошел с ума. Вот он длительно вздохнул, как бы свалив с плеч своих тяжесть, и продолжал все так же однотонно раскапывать прошлое, ненужное:

— Веры вы, Артамоновы, и меня лишили. Никита Ильич сбил меня из-за вас, сам обезбожел и меня... Ни бога, ни черта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть что-то. Обманщики. Обманом жили. Теперь — все видно: раздели вас...

С трудом пошевелив тело свое, Артамонов сбросил на пол страшно тяжелые ноги, но кожа подошв не почувствовала пола, и старику показалось, что ноги отделились, ушли от него, а он повис в воздухе. Это — испугало его, он схватился руками за плечо Тихона.

— Куда?— спросил дворник, грубо стряхнув его руки.— Не тронь. Силы у тебя нет, не задушишь. У отца твоего — была сила,— хвастовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня; не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас, беси...

Артамонов все сильнее хотел есть, и его очень пугали ноги.

«Неужто — умираю? Мне еще семидесяти пяти нет. Господи...»

Он снова попробовал лечь, но не хватило сил поднять ноги. Тогда он приказал Тихону:

— Помоги, подними ноги мои!

Положив на скамью мертвые ноги бывшего хозяина, Тихон сплюнул, снова сел, тыкая рукою в шапку, в руке его что-то блестело. Артамонов присмотрелся: это игла, Тихон в темноте ушивал шапку, утверждая этим свое безумие. Над ним мелькала серая, ночная бабочка. В саду, в воздухе вытянулись три полосы желтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал:

— Назад, товарищи, оборота нет и не будет для нас...

Тихон заглушал этот голос:

— Тоже и отец твой; он брата моего убил.

— Врешь,— невольно сказал Артамонов, но тотчас спросил:— Когда?

— Вот те и когда...

— Что ты все врешь, безумный?— вдруг возмутился Артамонов, ощущая, как голод сосет и сушит его.— Что тебе надо? Совесть мне ты, судья? Зачем ты молчал тридцать лет с лишком?

— Вот и молчал. Значит — думал!

— Злобу копил? Эх... Ну, ступай, донеси полиции.

— Полиции — нет.

— Скажи — вот, он меня всю жизнь поил, кормил — судите его! Так ведь донес уж! Чего же надо, ну? Прижми, припугни меня,— денег требуй, ну?

— Денег у тебя нет. Ничего у тебя нет. И — не было. А на судей мне — наплевать. Я — сам себе судья.

— Так чем ты грозишь, бредовой человек?

Но Тихон как будто не грозил, Артамонов смутно чувствовал это. Тихон ворчал:

— Конец всем Каинам. За что брата убили?

— Врешь про брата!

Старики начали говорить быстрее, перебивая друг друга.

— Я — вру? Я с ним был тогда...
— С кем?
— С братом. Я убежал, когда отец твой кокнул его. Это его кровью истек отец-то. Для чего кровь-то?
— Опоздал ты...
— Ну, вот — опрокинули вас, свалили, остался ты беззащитный, а я, как был, в стороне...
— Безумный остался...
Артамонов чувствовал, что бывший землекоп загоняет его в угол, в яму, где все неразличимо, непонятно и страшно. Он настойчиво твердил:
— Опоздал ты. Брата — врешь — не было у тебя, у таких, как ты,— ничего не бывает...
— Совесть бывает.
— Ты сам сбил мне с толку сына, Илью!
— Это вы, Артамоновы, сбили меня с толку, Никита Ильич разбередил!
— А он говорил — ты его!
— Мне сколько раз убить хотелось отца-то твоего. Я его чуть лопатой по голове не хряснул... Вы — хитрые...
— Ты сам...
— Серафима завели. Он тоже мутил меня: никого не обижает, а живет неправедно. Как это так? Везде — хитрости...
— Кто идет? К-куда?— сердито, громко крикнули во тьме.— Сказано вам, гадам,— после восьми не двигаться?
Тихон встал, подошел к двери и вывалился из нее во тьму. Артамонов, раздавленный волнением, голодом, усталостью, видел, как сквозь три полосы масляного света в саду промелькнуло широкое, черное. Он закрыл глаза, ожидая теперь чего-то окончательно страшного.
— Достала?— спросил Тихон кого-то.
— Вот — все!
Это — голос жены. Где была она, зачем она оставила его с этим стариком?
Артамонов открыл глаза, приподнялся на локтях, глядя в дверь, заткнутую двумя черными фигурами. Внезапно ему вспомнилось, что он всю жизнь думал о том, кто виноват пред ним, по чьей вине жизнь его была так тяжело запутана, насыщена каким-то обманом. И вот сейчас все это стало ясно.
Жена подошла к нему, наклонилась, зашептала:
— Ну, слава тебе, господи...

— Вот, Тихон, кто виноват во всем! — решительно сказал Артамонов и облегченно вздохнул.— Она жадничала, она меня настраивала, да!

Он с торжеством зарычал:

— Из-за нее и брат Никита пропал. Ты сам знаешь, да...

Артамонов задохнулся. Было странно видеть, что жена не обиделась, не испугалась, не заплакала. Она гладила трясущейся рукою волосы на голове его и тревожно, но ласково шептала:

— Тихонько, не кричи, тут — злые все...

— Есть давай...

Жена сунула в руку его огурец и тяжелый кусок хлеба; огурец был теплый, а хлеб прилип к пальцам, как тесто.

Артамонов изумился:

— Это — что? Мне? Всё?

— Тише, Христа ради,— шептала Наталья,— ведь — нет ничего! И солдатики тоже...

— Это ты мне — за все? За весь страх, за всю жизнь?

Он, взвешивая хлеб на руке, бормотал и догадывался, что случилось что-то невыносимо, смертельно оскорбительное, в чем даже и она, Наталья, не виновата.

Он швырнул хлеб к двери, сказав глухо, но твердо:

— Не хочу.

Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него, Наталья снова стала совать кусок в руку мужа, пришептывая:

— Кушай, кушай, не сердись...

Оттолкнув ее руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью:

— Не хочу. Прочь.



ПЬЕСА

НА ДНЕ

Посвящаю
Константину Петровичу Пятницкому
М. Горький

НА ДНЕ

КАРТИНЫ. ЧЕТЫРЕ АКТА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Михаил Иванов Костылев, 54 года, содержатель ночлежки.

Василиса Карповна, его жена, 26 лет.

Наташа, ее сестра, 20 лет.

Медведев, их дядя, полицейский, 50 лет.

Васька Пепел, 28 лет.

Клещ, Андрей Митрич, слесарь, 40 лет.

Анна, его жена, 30 лет.

Настя, девица, 24 года.

Квашня, торговка пельменями, под 40 лет.

Бубнов, картузник, 45 лет.

Барон, 33 года.

Сатин, Актер — приблизительно одного возраста: лет под 40.

Лука, странник, 60 лет.

Алешка, сапожник, 20 лет.

Кривой Зоб, Татарин — крючники.

Несколько босяков без имен и речей.

АКТ ПЕРВЫЙ

Подвал, похожий на пещеру. Потолок — тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет — от зрителя и, сверху вниз,— из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла, около двери в эту комнату — нары Бубнова. В левом углу — большая русская печь; в левой, каменной, стене — дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между печью и дверью у стены — широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам — нары. На переднем плане у левой стены — обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем — перед наковальней — сидит К л е щ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его — две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки — большой стол, две скамьи, табурет, всё — неокрашеное и грязное. За столом, у самовара, К в а ш н я — хозяйничает, Б а р о н жует черный хлеб и Н а с т я, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет А н н а, Б у б н о в, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него — изодранная картонка из-под шляпы — для козырьков, куски клеенки, тряпье. С а т и н только что проснулся, лежит на нарах и — рычит. На печке, невидимый, возится и кашляет А к т е р.

Начало весны. Утро.

Б а р о н. Дальше!

К в а ш н я. Не-ет, говорю, милый, с этим ты от меня — поди прочь. Я, говорю, это испытала... и теперь уж — ни за сто печеных раков — под венец не пойду!

Б у б н о в (*Сатину*). Ты чего хрюкаешь?

Сатин рычит.

К в а ш н я. Чтобы я,— говорю,— свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала — нет! Да будь он хоть принц американский — не подумаю замуж за него идти.

К л е щ. Врешь!

К в а ш н я. Чего-о?

К л е щ. Врешь. Обвенчаешься с Абрамкой...

Б а р о н (*выхватив у Насти книжку, читает название*). «Роковая любовь»... (*Хохочет.*)

Н а с т я (*протягивая руку*). Дай... отдай! Ну... не балуй!

Барон смотрит на нее, помахивая книжкой в воздухе.

К в а ш н я (*Клещу*). Козел ты рыжий! Туда же — врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?

Б а р о н (*ударяя книгой по голове Настю*). Дура ты, Настька...

Н а с т я (*отнимает книгу*). Дай...

К л е щ. Велика барыня!.. А с Абрамкой ты обвенчаешься... только того и ждешь...

К в а ш н я. Конечно! Еще бы... как же! Ты вон заездил жену-то до полусмерти...

К л е щ. Молчать, старая собака! Не твое это дело...

К в а ш н я. А-а! Не терпишь правды!

Б а р о н. Началось! Настька — ты где?

Н а с т я (*не поднимая головы*). А?.. Уйди!

А н н а (*высовывая голову из-за полога*). Начался день! Бога ради... Не кричите... не ругайтесь вы!

К л е щ. Заныла.

А н н а. Каждый божий день... Дайте хоть умереть спокойно!

Б у б н о в. Шум — смерти не помеха...

К в а ш н я (*подходя к Анне*). И как ты, мать моя, с таким злыднем жила?

А н н а. Оставь... отстань...

К в а ш н я. Ну-ну! Эх ты... терпеливица!.. Что, не легче в груди-то?

Б а р о н. Квашня! На базар пора...

К в а ш н я. Идем, сейчас! (*Анне.*) Хочешь — пельмешков горяченьких дам?

А н н а. Не надо... спасибо. Зачем мне есть?

К в а ш н я. А ты — поешь. Горячее — мягчит. Я тебе в чашку отложу и оставлю... захочешь когда, и покушай! Идем, барин... (*Клещу.*) У, нечистый дух... (*Уходит в кухню.*)

А н н а (*кашляя*). Господи...

Б а р о н (*тихонько толкает Настю в затылок*). Брось... дуреха!

Н а с т я (*бормочет*). Убирайся... я тебе не мешаю.

Барон, насвистывая, уходит за Квашней.

С а т и н (*приподнимаясь на нарах*). Кто это бил меня вчера?

Б у б н о в. А тебе не все равно?..

С а т и н. Положим — так... А за что били?

Б у б н о в. В карты играл?

С а т и н. Играл...

Б у б н о в. За это и били...

С а т и н. М-мерзавцы...

А к т е р (*высовывая голову с печи*). Однажды тебя совсем убьют... до смерти...

С а т и н. А ты — болван.

А к т е р. Почему?

С а т и н. Потому что — дважды убить нельзя.

А к т е р (*помолчав*). Не понимаю... почему — нельзя?

К л е щ. А ты слезай с печи-то да убирай квартиру... чего нежишься?

А к т е р. Это дело не твое...

К л е щ. А вот Василиса придет — она тебе покажет, чье дело...

А к т е р. К черту Василису! Сегодня Баронова очередь убираться... Барон!

Б а р о н (*выходя из кухни*). Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашней.

А к т е р. Это меня не касается... иди хоть на каторгу... а пол мести твоя очередь... я за других на стану работать...

Б а р о н. Ну черт с тобой! Настенка подметет... Эй, ты, роковая любовь! Очнись! (*Отнимает книгу у Насти.*).

Н а с т я (*вставая*). Что тебе нужно? Дай сюда! Озорник! А еще — барин...

Б а р о н (*отдавая книгу*). Настя! Подмети пол за меня — ладно?

Н а с т я (*уходя в кухню*). Очень нужно... как же!

К в а ш н я (*в двери из кухни — Барону*). А ты — иди! Уберутся без тебя... Актер! Тебя просят — ты и сделай... не переломишься, чай!

А к т е р. Ну... всегда я... не понимаю...

Б а р о н (*выносит из кухни на коромысле корзины. В них — корчаги, покрытые тряпками*). Сегодня что-то тяжело...

С а т и н. Стоило тебе родиться бароном...

К в а ш н я (*Актеру*). Ты смотри же,— подмети! (*Выходит в сени, пропустив вперед себя Барона.*)

А к т е р (*слезая с печи*). Мне вредно дышать пылью. (*С гордостью.*) Мой организм отравлен алкоголем... (*Задумывается, сидя на нарах.*)

С а т и н. Организм... органон...

А н н а. Андрей Митрич...

К л е щ. Что еще?

Анна. Там пельмени мне оставила Квашня... возьми, поешь.

Клещ (*подходя к ней*). А ты — не будешь?

Анна. Не хочу... На что мне есть? Ты — работник... тебе — надо...

Клещ. Боишься? Не бойся... может, еще...

Анна. Иди, кушай! Тяжело мне... видно, скоро уж...

Клещ (*отходя*). Ничего... может — встанешь... бывает! (*Уходит в кухню.*)

Актер (*громко, как бы вдруг проснувшись*). Вчера, в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, организм — совершенно отравлен алкоголем...

Сатин. (*улыбаясь*). Органон...

Актер (*настойчиво*). Не органон, а ор-га-ни-зм...

Сатин. Сикамбр...

Актер (*машет на него рукой*). Э, вздор! Я говорю — серьезно... да. Если организм — отравлен... значит — мне вредно мести пол... дышать пылью...

Сатин. Микробиотика... ха!

Бубнов. Ты чего бормочешь?

Сатин. Слова... А то еще есть — транс-сцедентальный...

Бубнов. Это что?

Сатин. Не знаю... забыл...

Бубнов. А к чему говоришь?

Сатин. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова — надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...

Актер. В драме «Гамлет» говорится: «Слова, слова, слова!» Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика...

Клещ (*выходя из кухни*). Ты с метлой играть скоро будешь?

Актер. Не твое дело... (*Ударяет себе в грудь рукой.*) «Офелия! О... помяни меня в твоих молитвах!..»

За стеной, где-то далеко,— глухой шум, крики, свисток полицейского. Клещ садится за работу и скрипит подпилком.

Сатин. Люблю непонятные, редкие слова... Когда я был мальчишкой... служил на телеграфе... я много читал книг...

Бубнов. А ты был и телеграфистом?

Сатин. Был... (*Усмехаясь.*) Есть очень хорошие книги... и множество любопытных слов... Я был образованным человеком... знаешь?

Б у б н о в. Слыхал... сто раз! Ну и был... эка важность!.. Я вот — скорняк был... свое заведение имел... Руки у меня были такие желтые — от краски: меха подкрашивал я,— такие, брат, руки были желтые — по локоть! Я уж думал, что до самой смерти не отмою... так с желтыми руками и помру... А теперь вот они, руки... просто грязные... да!

С а т и н. Ну, и что же?

Б у б н о в. И больше ничего...

С а т и н. Ты это к чему?

Б у б н о в. Так... для соображения... Выходит: снаружи как себя ни раскрашивай — все сотрется... все сотрется, да!

С а т и н. А... кости у меня болят!

А к т е р (*сидит, обняв руками колени*). Образование — чепуха, главное — талант. Я знал артиста... он читал роли по складам, но мог играть героев так, что... театр трещал и шатался от восторга публики...

С а т и н. Бубнов, дай пятачок!

Б у б н о в. У меня всего две копейки...

А к т е р. Я говорю — талант, вот что нужно герою. А талант — это вера в себя, в свою силу...

С а т и н. Дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, частный пристав... Клещ, дай пятак!

К л е щ. Пошел к черту! Много вас тут...

С а т и н. Чего ты ругаешься? Ведь у тебя нет ни гроша, я знаю...

А н н а. Андрей Митрич... Душно мне... трудно...

К л е щ. Что же я сделаю?

Б у б н о в. Дверь в сени отвори...

К л е щ. Ладно! Ты сидишь на нарах, а я — на полу... пусти меня на свое место да и отворяй... а я и без того простужен...

Б у б н о в (*спокойно*). Мне отворять не надо... твоя жена просит...

К л е щ (*угрюмо*). Мало ли кто чего попросил бы...

С а т и н. Гудит у меня голова... эх! И зачем люди бьют друг друга по башкам?

Б у б н о в. Они не только по башкам, а и по всему прочему телу. (*Встает.*) Пойти ниток купить... А хозяев наших чего-то долго не видать сегодня... словно издохли (*Уходит.*)

Анна кашляет. Сатин, закинув руки под голову, лежит неподвижно.

Актер (*тоскливо осмотревшись вокруг, подходит к Анне*). Что? Плохо?

Анна. Душно.

Актер. Хочешь — в сени выведу? Ну, вставай. (*Помогает женщине подняться, накидывает ей на плечи какую-то рухлядь и, поддерживая, ведет в сени.*). Ну-ну... твердо! Я — сам больной... отравлен алкоголем...

Костылев (*в дверях*). На прогулку? Ах, и хороша парочка, баран да ярочка...

Актер. А ты — посторонись... видишь — больные идут?..

Костылев. Проходи, изволь... (*Напевая под нос что-то божественное, подозрительно осматривает ночлежку и склоняет голову налево, как бы прислушиваясь к чему-то в комнате Пепла.*)

Клещ ожесточенно звякает ключами и скрипит подпилком, исподлобья следя за хозяином.

Скрипишь?

Клещ. Чего?

Костылев. Скрипишь, говорю?

Пауза

А-а... того... что, бишь, я хотел спросить? (*Быстро и негромко.*) Жена не была здесь?

Клещ. Не видал...

Костылев (*осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла*). Сколько ты у меня за два-то рубля в месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет накинуть на тебя полтинничек...

Клещ. Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а все о полтинниках думаешь...

Костылев. Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи знай в свое удовольствие... А я на тебя полтинку накину,— маслица в лампаду куплю... и будет перед святой иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот... Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для всех...

К л е щ (*кричит*). Ты что меня... травить пришел?

Сатин громко рычит.

К о с т ы л е в (*вздрогнув*). Эк, ты, батюшка...

А к т е р (*входит*). Усадил бабу в сенях, закутал...

К о с т ы л е в. Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтется все тебе...

А к т е р. Когда?

К о с т ы л е в. На том свете, братик... там все, всякое деяние наше усчитывают...

А к т е р. А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...

К о с т ы л е в. Это как же я могу?

А к т е р. Скости половину долга...

К о с т ы л е в. Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, все играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта — она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...

А к т е р. Шельма ты, старец... (*Уходит в кухню.*)

К л е щ встает и уходит в сени.

К о с т ы л е в (*Сатину*). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...

С а т и н. Кто тебя — кроме черта — любит?..

К о с т ы л е в (*посмеиваясь*). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя несчастная, никудышная, пропащая... (*Вдруг, быстро.*) А... Васька — дома?

С а т и н. Погляди...

К о с т ы л е в (*подходит к двери и стучит*). Вася!

А к т е р появляется в двери из кухни. Он что-то жует.

П е п е л. Кто это?

К о с т ы л е в. Это я... я, Вася.

П е п е л. Что надо?

К о с т ы л е в (*отодвигаясь*). Отвори...

С а т и н (*не глядя на Костылева*). Он отворит, а она — там...

Актер фыркает.

К о с т ы л е в (*беспокойно, негромко*). А? Кто — там? Ты... что?

Сатин. Чего? Ты — мне говоришь?

Костылев. Ты что сказал?

Сатин. Это я так... про себя...

Костылев. Смотри, брат! Шути в меру... да! (*Сильно стучит в дверь.*) Василий!

Пепел (*отворяя дверь*). Ну? Чего беспокоишь?

Костылев (*заглядывая в комнату*). Я... видишь — ты...

Пепел. Деньги принес?

Костылев. Дело у меня к тебе...

Пепел. Деньги — принес?

Костылев. Какие? Погоди...

Пепел. Деньги, семь рублей, за часы — ну?

Костылев. Какие часы, Вася?.. Ах, ты...

Пепел. Ну, ты гляди! Вчера, при свидетелях, я тебе продал часы за десять рублей... три — получил, семь — подай! Чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей... а дела своего не знает...

Костылев. Ш-ш! Не сердись, Вася... Часы — они...

Сатин. Краденые...

Костылев (*строго*). Я краденого не принимаю... как ты можешь...

Пепел (*берет его за плечо*). Ты — зачем меня встревожил? Чего тебе надо?

Костылев. Да... мне — ничего... я уйду... если ты такой...

Пепел. Ступай, принеси деньги!

Костылев (*уходит*). Экие грубые люди! Ай-яй...

Актер. Комедия!

Сатин. Хорошо! Это я люблю...

Пепел. Чего он тут?

Сатин (*смеясь*). Не понимаешь? Жену ищет... И чего ты не пришибешь его, Василий?!

Пепел. Стану я из-за такой дряни жизнь себе портить...

Сатин. А ты — умненько. Потом — женись на Василисе... хозяином нашим будешь...

Пепел. Велика радость! Вы не токмо все мое хозяйство, а и меня, по доброте моей, в кабаке пропьете... (*Садится на нары.*) Старый чёрт... разбудил... А я — сон хороший видел: будто ловлю я рыбу, и попал мне — огромаднейший лещ! Такой лещ,— только во сне эдакие и бывают... И вот я его вожу на удочке и боюсь,— леса оборвется! И приготовил сачок... вот, думаю, сейчас...

С а т и н. Это не лещ, а Василиса была...

А к т е р. Василису он давно поймал...

П е п е л (*сердито*). Подите вы к чертям... да и с ней вместе!

К л е щ (*входит из сеней*). Холодище... собачий...

А к т е р. Ты что же Анну не привел? Замерзнет...

К л е щ. Ее Наташка в кухню увела к себе...

А к т е р. Старик — выгонит...

К л е щ (*садясь работать*). Ну... Наташка приведет...

С а т и н. Василий! Дай пятак...

А к т е р (*Сатину*). Эх ты... пятак! Вася! Дай нам двугривенный...

П е п е л. Надо скорее дать... пока рубля не просите... на!

С а т и н. Гиблартарр! Нет на свете людей лучше воров!

К л е щ (*угрюмо*). Им легко деньги достаются... Они — не работают...

С а т и н. Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются... Работа? Сделай так, чтобы работа была мне приятна — я, может быть, буду работать... да! Может быть! Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство! (*Актеру.*) Ты, Сарданапал! Идем...

А к т е р. Идем, Навухудоносор! Напьюсь — как... сорок тысяч пьяниц...

Уходят

П е п е л (*зевая*). Что, как жена твоя?

К л е щ. Видно, скоро уж...

Пауза.

П е п е л. Смотрю я на тебя,— зря ты скрипишь.

К л е щ. А что делать?

П е п е л. Ничего...

К л е щ. А как есть буду?

П е п е л. Живут же люди...

К л е щ. Эти? Какие они люди? Рвань, золотая рота... люди! Я — рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... я с малых лет работаю... Ты думаешь — я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот, погоди... умрет жена... Я здесь полгода прожил... а все равно как шесть лет...

П е п е л. Никто здесь тебя не хуже... напрасно ты говоришь...

К л е щ. Не хуже! Живут без чести, без совести...

П е п е л (*равнодушно*). А куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести... Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть...

Б у б н о в (*входит*). У-у... озяб!

П е п е л. Бубнов! У тебя совесть есть?

Б у б н о в. Чего-о? Совесть?

П е п е л. Ну да!

Б у б н о в. На что совесть? Я — не богатый...

П е п е л. Вот я и то же говорю: честь-совесть богатым нужна, да! А Клещ ругает нас, нет, говорит, у нас совести...

Б у б н о в. А он что — занять хотел?

П е п е л. У него — своей много...

Б у б н о в. Значит, продает? Ну, здесь этого никто не купит. Вот картонки ломаные я бы купил... да и то в долг...

П е п е л (*поучительно*). Дурак ты, Андрюшка! Ты бы, насчет совести, Сатина послушал... а то — Барона...

К л е щ. Не о чем мне с ними говорить...

П е п е л. Они — поумнее тебя будут... хоть и пьяницы...

Б у б н о в. А кто пьян да умен — два угодья в нем...

П е п е л. Сатин говорит: всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, не выгодно иметь-то ее... И это — верно...

Н а т а ш а входит. За нею — Л у к а с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у пояса.

Л у к а. Доброго здоровья, народ честной!

П е п е л (*приглаживая усы*). А-а, Наташа!

Б у б н о в (*Луке*). Был честной, да позапрошлой весной...

Н а т а ш а. Вот — новый постоялец...

Л у к а. Мне — все равно! Я и жуликов уважаю, помоему, ни одна блоха — не плоха: все — черненькие, все — прыгают... так-то. Где тут, милая, приспособиться мне?

Н а т а ш а (*указывая на дверь в кухню*). Туда иди, дедушка...

Л у к а. Спасибо, девушка! Туда, так туда... Старику — где тепло, там и родина...

П е п е л. Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа...

Н а т а ш а. Поинтереснее вас... Андрей! Жена твоя в кухне у нас... ты, погодя, приди за ней.

К л е щ. Ладно... приду...

Н а т а ш а. Ты бы, чай, теперь поласковее с ней обращался... ведь уж недолго...

К л е щ. Знаю...

Н а т а ш а. Знаешь... Мало знать, ты — понимай. Ведь умирать-то страшно...

П е п е л. А я вот — не боюсь...

Н а т а ш а. Как же!.. Храбрость...

Б у б н о в (*свистнув*). А нитки-то гнилые...

П е п е л. Право — не боюсь! Хоть сейчас — смерть приму! Возьмите вы нож, ударьте против сердца... умру — не охну! Даже — с радостью, потому что — от чистой руки...

Н а т а ш а (*уходит*). Ну, вы другим уж зубы-то заговаривайте.

Б у б н о в (*протяжно*). А ниточки-то гнилые...

Н а т а ш а (*у двери в сени*). Не забудь, Андрей, про жену...

К л е щ. Ладно...

П е п е л. Славная девка!

Б у б н о в. Девица — ничего...

П е п е л. Чего она со мной... так? Отвергает... Все равно ведь — пропадет здесь...

Б у б н о в. Через тебя пропадет...

П е п е л. Зачем — через меня? Я ее — жалею.

Б у б н о в. Как волк овцу...

П е п е л. Врешь ты! Я очень... жалею ее. Плохо ей тут жить... я вижу...

К л е щ. Погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней...

Б у б н о в. Василиса? Н-да, она своего даром не отдаст... баба — лютая...

П е п е л (*ложится на нары*). Подите вы к чертям оба... пророки!

К л е щ. Увидишь... погоди!..

Л у к а (*в кухне, напевает*). Середь но-очи... пу-уть-дорогу не-е видать...

К л е щ (*уходя в сени*). Ишь, воет... тоже...

П е п е л. А скушно... чего это скушно мне бывает? Живешь-живешь — все хорошо! И вдруг — точно озябнешь: сделается скушно...

Б у б н о в. Скушно? М-м...

П е п е л. Ей-ей!

Л у к а (*поет*). Эх, и не вида-ать пути-и...

П е п е л. Старик! Эй!

Л у к а (*выглядывая из двери*). Это я?

П е п е л. Ты. Не пой.

Л у к а (*выходит*). Не любишь?

П е п е л. Когда хорошо поют — люблю...

Л у к а. А я, значит, не хорошо?

П е п е л. Стало быть...

Л у к а. Ишь ты! А я думал — хорошо пою. Вот всегда так выходит: человек-то думает про себя — хорошо я делаю! Хвать — а люди недовольны...

П е п е л (*смеясь*). Вот! Верно...

Б у б н о в. Говоришь — скушно, а сам хохочешь.

П е п е л. А тебе что? Ворон...

Л у к а. Это кому — скушно?

П е п е л. Мне вот...

Б а р о н входит

Л у к а. Ишь ты! А там, в кухне, девица сидит, книгу читает и — плачет! Право! Слезы текут... Я ей говорю: милая, ты чего это, а? А она — жалко! Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке... Вот чем человек занимается, а? Тоже, видно, со скуки...

Б а р о н. Это — дура...

П е п е л. Барон! Чай пил?

Б а р о н. Пил... дальше!

П е п е л. Хочешь — полбутылки поставлю?

Б а р о н. Разумеется... дальше!

П е п е л. Становись на четвереньки, лай собакой!

Б а р о н. Дурак! Ты что — купец? Или — пьян?

П е п е л. Ну, полай! Мне забавно будет... Ты барин... было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал... и все такое...

Б а р о н. Ну, дальше!

П е п е л. Чего же? А теперь вот я тебя заставлю лаять собакой — ты и будешь... ведь будешь?

Б а р о н. Ну, буду! Болван! Какое тебе от этого может быть удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть ли не хуже тебя? Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я был неровня тебе...

Б у б н о в. Верно!

Л у к а. И я скажу — хорошо!..

Б у б н о в. Что было — было, а остались — одни пус-



тяки... Здесь господ нету... все слиняло, один голый человек остался...

Лука. Все, значит, равны... А ты, милый, бароном был?

Барон. Это что еще? Ты кто, кикимора?

Лука (*смеется*). Графа видал я и князя видал... а барона — первый раз встречаю, да и то испорченного...

Пепел (*хохочет*). Барон! А ты меня сконфузил...

Барон. Пора быть умнее, Василий...

Лука. Эхе-хе! Погляжу я на вас, братцы,— житье ваше — о-ой!..

Бубнов. Такое житье, что как поутру встал, так и за вытье...

Барон. Жили и лучше... да! Я... бывало... проснусь утром и, лежа в постели, кофе пью... кофе!— со сливками... да!

Лука. А всё — люди! Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь... И всё, гляжу я, умнее люди становятся, все занятнее... и хоть живут — все хуже, а хотят — все лучше... упрямые!

Барон. Ты, старик, кто такой?.. Откуда ты явился?

Лука. Я-то?

Барон. Странник?

Лука. Все мы на земле странники... Говорят,— слыхал я,— что и земля-то наша в небе странница.

Барон (*строго*). Это так, ну, а — паспорт имеешь?

Лука (*не сразу*). А ты кто,— сыщик?

Пепел (*радостно*). Ловко, старик! Что, Бароша, и тебе попало?

Бубнов. Н-да, получил барин...

Барон (*сконфуженный*). Ну, чего там? Я ведь... шучу, старик! У меня, брат, у самого бумаг нет...

Бубнов. Врешь!

Барон. То есть... я имею бумаги... но — они никуда не годятся...

Лука. Они, бумажки-то, все такие... все никуда не годятся.

Пепел. Барон! Идем в трактир...

Барон. Готов! Ну, прощай, старик... Шельма ты!

Лука. Всяко бывает, милый...

Пепел (*у двери в сени*). Ну, идем, что ли! (*Уходит.*)

Барон быстро идет за ним.

Л у к а. В самом деле, человек-то бароном был?

Б у б н о в. Кто его знает? Барин, это верно... Он и теперь — нет-нет, да вдруг и покажет барина из себя. Не отвык, видно, еще.

Л у к а. Оно, пожалуй, барство-то — как оспа... и выздоровеет человек, а знаки-то остаются...

Б у б н о в. Он ничего все-таки... Только так иногда брыкнется... вроде как насчет твоего паспорта...

А л е ш к а (*входит выпивши, с гармонией в руках. Свистит*). Эй, жители!

Б у б н о в. Чего орешь?

А л е ш к а. Извините... простите! Я человек вежливый...

Б у б н о в. Опять загулял?

А л е ш к а. Сколько угодно! Сейчас из участка помощник пристава Медякин выгнал и говорит: чтобы, говорит, на улице тобой и не пахло... ни-ни! Я — человек с характером... А хозяин на меня фыркает.. А что такое — хозяин? Ф-фе! Недоразумение одно... Пьяница он, хозяин-то... А я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и — шабаш! На, возьми меня за рубль за двадцать! А я — ничего не хочу.

Н а с т я выходит из кухни.

Давай мне миллион — н-не хочу! И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой... пьяница,— не желаю! Не хочу!

Настя, стоя у двери, качает головой, глядя на Алешку.

Л у к а (*добродушно*). Эх, парень, запутался ты...

Б у б н о в. Дурость человеческая...

А л е ш к а (*ложится на пол*). На, ешь меня! А я — ничего не хочу! Я — отчаянный человек! Объясните мне — кого я хуже? Почему я хуже прочих? Вот! Медякин говорит: на улицу не ходи — морду побью! А я — пойду...пойду лягу середь улицы — дави меня! Я — ничего не желаю!

Н а с т я. Несчастный!.. молоденький еще, а уж... так ломается...

А л е ш к а (*увидав ее, встает на колени*). Барышня! Мамзель! Парле франсе... прейскурант! Загулял я...

Н а с т я (*громко шепчет*). Василиса!

В а с и л и с а (*быстро отворяя дверь, Алешке*). Ты опять здесь?

А л е ш к а. Здравствуйте... пожалуйте...

В а с и л и с а. Я тебе, щенку, сказала, чтобы духа твоего не было здесь... а ты опять пришел?

А л е ш к а. Василиса Карповна... хошь, я тебе... похоронный марш сыграю?

В а с и л и с а (*толкает его в плечо*). Вон!

А л е ш к а (*подвигаясь к двери*). Постой... так нельзя! Похоронный марш... недавно выучил! Свежая музыка... Погоди! так нельзя!

В а с и л и с а. Я тебе покажу — нельзя... я всю улицу натравлю на тебя... язычник ты проклятый... молод ты лаять про меня...

А л е ш к а (*выбегая*). Ну, я уйду...

В а с и л и с а (*Бубнову*). Чтобы ноги его здесь не было! Слышишь?.

Б у б н о в. Я тут не сторож тебе...

В а с и л и с а. А мне дела нет, кто ты таков! Из милости живешь — не забудь! Сколько должен мне?

Б у б н о в (*спокойно*). Не считал...

В а с и л и с а. Смотри — я посчитаю!

А л е ш к а (*отворив дверь, кричит*). Василиса Карповна! А я тебя не боюсь... н-не боюсь! (*Прячется.*)

Лука смеется.

В а с и л и с а. Ты кто такой?..

Л у к а. Проходящий... странствующий...

В а с и л и с а. Ночуешь или жить?

Л у к а. Погляжу там...

В а с и л и с а. Пачпорт!

Л у к а. Можно...

В а с и л и с а. Давай!

Л у к а. Я тебе принесу... на квартиру тебе приволоку его...

В а с и л и с а. Прохожий... тоже! Говорил бы — проходимец... все ближе к правде-то...

Л у к а (*вздохнув*). Ах, и неласкова ты, мать...

Василиса идет к двери в комнату Пепла.

А л е ш к а (*выглядывая из кухни, шепчет*). Ушла? а?

В а с и л и с а (*оборачивается к нему*). Ты еще здесь?

А л е ш к а, скрываясь, свистит, Настя и Лука смеются.

Б у б н о в (*Василисе*). Нет его...

В а с и л и с а. Кого?

Б у б н о в. Васьки...

В а с и л и с а. Я тебя спрашивала про него?

Б у б н о в. Вижу я... заглядываешь ты везде...

В а с и л и с а. Я за порядком гляжу — понял? Это почему у вас до сей поры не метено? Я сколько раз приказывала, чтобы чисто было?

Б у б н о в. Актеру мести...

В а с и л и с а. Мне дела нет — кому! А вот если санитары придут да штраф наложат, я тогда... всех вас — вон!

Б у б н о в (*спокойно*). А чем жить будешь?

В а с и л и с а. Чтобы соринки не было! (*Идет в кухню. Насте.*). Ты чего тут торчишь? Что рожа-то вспухла? Чего стоишь пнем? Мети пол! Наталью... видела? Была она тут?

Н а с т я. Не знаю... не видела...

В а с и л и с а. Бубнов! Сестра была здесь?

Б у б н о в. А... вот его привела она...

В а с и л и с а. Этот... дома был?

Б у б н о в. Василий? Был... С Клещом она тут говорила, Наталья-то...

В а с и л и с а. Я тебя не спрашиваю — с кем! Грязь везде... грязища! Эх, вы... свиньи! Чтобы было чисто... слышите! (*Быстро уходит.*).

Б у б н о в. Сколько в ней зверства, в бабе этой!

Л у к а. Сурьезная бабочка...

Н а с т я. Озвереешь в такой жизни... Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как ее...

Б у б н о в. Ну, она не очень крепко привязана...

Л у к а. Всегда она так... разрывается?

Б у б н о в. Всегда... К любовнику, видишь, пришла, а его нет...

Л у к а. Обидно, значит, стало. Охо-хо! Сколько это разного народа на земле распоряжается... и всякими страхами друг дружку стращает, а всё порядка нет в жизни... и чистоты нет...

Б у б н о в. Все хотят порядка, да разума нехватка. Однако же надо подмести... Настя!.. Ты бы занялась...

Н а с т я. Ну да, как же! Горничная я вам тут... (*Помолчав.*). Напьюсь вот я сегодня... так напьюсь!

Б у б н о в. И то — дело...

Л у к а. С чего же это ты, девица, пить хочешь? Давеча ты плакала, теперь вот говоришь — напьюсь!

Н а с т я (*вызывающе*). А напьюсь — опять плакать буду... вот и все!

Б у б н о в. Не много...

Л у к а. Да от какой причины, скажи? Ведь так, без причины, и прыщ не вскочит...

Настя молчит, качая головой.

Л у к а. Так... Эхе-хе... господа люди! И что с вами будет?.. Ну-ка хоть я помету здесь. Где у вас метла?

Б у б н о в. За дверью, в сенях...

Л у к а идет в сени.

Б у б н о в. Настенка!

Н а с т я. А?

Б у б н о в. Чего Василиса на Алешку бросилась?

Н а с т я. Он про нее говорил, что надоела она Ваське и что Васька бросить ее хочет... а Наташу взять себе... Уйду я отсюда... на другую квартиру.

Б у б н о в. Чего? Куда?

Н а с т я. Надоело мне... Лишняя я здесь...

Б у б н о в (*спокойно*). Ты везде лишняя... да и все люди на земле — лишние...

Н а с т я качает головой. Встает, тихо уходит в сени. М е д в е д е в входит. За ним — Л у к а с метлой.

М е д в е д е в. Как будто я тебя не знаю...

Л у к а. А остальных людей — всех знаешь?

М е д в е д е в. В своем участке я должен всех знать... а тебя вот — не знаю...

Л у к а. Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоем участке поместилась... осталось маленько и опричь его... (*Уходит в кухню.*)

М е д в е д е в (*подходя к Бубнову*). Правильно, участок у меня невелик... хоть хуже всякого большого... Сейчас, перед тем как с дежурства смениться, сапожника Алешку в часть отвез... Лег, понимаешь, среди улицы, играет на гармонии и орет: ничего не хочу, ничего не желаю! Лошади тут ездят и вообще — движение... могут раздавить колесами и прочее... Буйный парнишка... Ну, сейчас я его и... представил. Очень любит беспорядок...

Б у б н о в. Вечером в шашки играть придешь?

М е д в е д е в. Приду. М-да... А что... Васька?
Б у б н о в. Ничего... все так же...
М е д в е д е в. Значит... живет?
Б у б н о в. Что ему не жить? Ему можно жить...
М е д в е д е в (*сомневаясь)*. Можно?

Л у к а выходит в сени с ведром в руке

М-да... тут — разговор идет... насчет Васьки... ты не слыхал?

Б у б н о в. Я разные разговоры слышу...

М е д в е д е в. Насчет Василисы, будто... не замечал?

Б у б н о в. Чего?

М е д в е д е в. Так... вообще... Ты, может, знаешь, да врешь? Ведь все знают... (*Строго.*) Врать нельзя, брат...

Б у б н о в. Зачем мне врать!

М е д в е д е в. То-то!.. Ах, псы! Разговаривают: Васька с Василисой... дескать... а мне что? Я ей не отец, я — дядя.. Зачем надо мной смеяться?..

Входит К в а ш н я.

Какой народ стал... надо всем смеется... А-а! Ты... пришла...

К в а ш н я. Разлюбезный мой гарнизон! Бубнов! Он опять на базаре приставал ко мне, чтобы венчаться...

Б у б н о в. Валяй... чего же? У него деньги есть, и кавалер он еще крепкий...

М е д в е д е в. Я-то? Хо-хо!

К в а ш н я. Ах ты, серый! Нет, ты меня за это мое, за больное место не тронь! Это, миленький, со мной было... Замуж бабе выйти — всё равно как зимой в прорубь прыгнуть: один раз сделала — на всю жизнь памятно...

М е д в е д е в. Ты — погоди... мужья — они разные бывают.

К в а ш н я. Да я-то все одинакова! Как издох мой милый муженек,— ни дна бы ему ни прокрышки,— так я целый день от радости одна просидела: сижу и все не верю счастью своему...

М е д в е д е в. Ежели тебя муж бил... зря — надо было в полицию жаловаться...

К в а ш н я. Я богу жаловалась восемь лет,— не помогал!

М е д в е д е в. Теперь запрещено жен бить... теперь

во всем — строгость и закон-порядок! Никого нельзя зря бить... бьют — для порядку...

Лука (*вводит Анну*). Ну, вот и доползли... эх ты! И разве можно в таком слабом составе одной ходить? Где твое место?

Анна (*указывая*). Спасибо, дедушка...

Квашня. Вот она — замужняя... глядите!

Лука. Бабочка совсем слабого состава... Идет по сеням, цепляется за стенки и — стонет... Пошто вы ее одну пущаете?

Квашня. Не доглядели, простите, батюшка! А горничная ейная, видно, гулять ушла...

Лука. Ты вот — смеешься... а разве можно человека здак бросать? Он — каков ни есть — а всегда своей цены стоит...

Медведев. Надзор нужен! Вдруг — умрет? Канитель будет из этого... Следить надо!

Лука. Верно, господин ундер...

Медведев. М-да... хоть я... еще не совсем ундер...

Лука. Н-ну? А видимость — самая геройская!

В сенях шум и топот. Доносятся глухие крики.

Медведев. Никак — скандал?

Бубнов. Похоже...

Квашня. Пойти поглядеть...

Медведев. И мне надо идти... Эх, служба! И зачем разнимают людей, когда они дерутся? Они и сами перестали бы... ведь устаешь драться... Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет... стали бы меньше драться, потому побои-то помнили бы дольше...

Бубнов (*слезая с нар*). Ты начальству поговори насчет этого...

Костылев (*распахивая дверь, кричит*). Абрам! Иди... Василиса Наташку... убивает... иди!

Квашня, Медведев, Бубнов бросаются в сени. Лука, качая головой, смотрит вслед им.

Анна. О господи... Наташенька бедная!

Лука. Кто дерется там?

Анна. Хозяйки... сестры...

Лука (*подходя к Анне*). Чего делят?

Анна. Так они... сытые обе... здоровые...

Лука. Тебя как звать-то?

А н н а. Анной... Гляжу я на тебя... на отца ты похож моего... на батюшку... такой же ласковый... мягкий...

Л у к а. Мяли много, оттого и мягок... (*Смеется дребезжащим смехом.*)

З а н а в е с

АКТ ВТОРОЙ

Та же обстановка.

Вечер. На нарах около печи Сатин, Барон, Кривой Зоб и Татарин играют в карты. Клещ и Актер наблюдают за игрой. Бубнов на своих нарах играет в шашки с Медведевым. Лука сидит на табурете у постели Анны. Ночлежка освещена двумя лампами: одна висит на стене около играющих в карты, другая — на нарах Бубнова.

Татарин. Еще раз играю,— больше не играю...

Бубнов. Зоб! Пой! (*Запевает.*)

Солнце всходит и заходит...

Кривой Зоб (*подхватывает голос*).

А в тюрьме моей темно...

Татарин (*Сатину*). Мешай карта! Хорошо мешай! Знаем мы, какой такой ты...

Бубнов и Кривой Зоб (*вместе*).

Дни и ночи часовые — э-эх!
Стерегут мое окно...

Анна. Побои... обиды... ничего кроме — не видела я... ничего не видела!

Лука. Эх, бабочка! Не тоскуй!

Медведев. Куда ходишь? Гляди!

Бубнов. А-а! Так, так, так...

Татарин (*грозя Сатину кулаком*). Зачем карта прятать хочешь? Я вижу... э, ты!

Кривой Зоб. Брось, Асан! Все равно — они нас объегорят... Бубнов, заводи!

Анна. Не помню — когда я сыта была... Над каждым куском хлеба тряслась... Всю жизнь мою дрожала... Мучилась... как бы больше другого не съесть... Всю жизнь в отрепьях ходила... всю мою несчастную жизнь... За что?

Лука. Эх ты, детынька! Устала? Ничего!

Актер (*Кривому Зобу*). Валетом ходи... валетом, черт!

Барон. А у нас — король.

Клещ. Они всегда побьют.

С а т и н. Такая у нас привычка...

М е д в е д е в. Дамка!

Б у б н о в. И у меня... н-ну...

А н н а. Помираю, вот...

К л е щ. Ишь, ишь как! Князь, бросай игру! Бросай, говорю!

А к т е р. Он без тебя не понимает?

Б а р о н. Гляди, Андрюшка, как бы я тебя не швырнул ко всем чертям!

Т а т а р и н. Сдавай еще раз! Кувшин ходил за вода, разбивал себя... и я тоже!

Клещ, качая головой, отходит к Бубнову.

А н н а. Все думаю я: господи! Неужто и на том свете мука мне назначена? Неужто и там?

Л у к а. Ничего не будет! Лежи знай! Ничего! Отдохнешь там!... Потерпи еще! Все, милая, терпят... всяк посвоему жизнь терпит... (*Встает и уходит в кухню быстрыми шагами.*)

Б у б н о в (*запевает*).

Как хотите, стерегите...

К р и в о й З о б.

Я и так не убегу...

В два голоса.

Мне и хочется на волю... эх!
Цепь порвать я не могу...

Т а т а р и н (*кричит*). А! Карта рукав совал!

Б а р о н (*конфузясь*). Ну... что же мне — в нос твой сунуть?

А к т е р (*убедительно*). Князь! Ты ошибся... никто, никогда...

Т а т а р и н. Я видел! Жулик! Не буду играть!

С а т и н (*собирая карты*). Ты, Асан, отвяжись... Что мы — жулики, тебе известно. Стало быть, зачем играл?

Б а р о н. Проиграл два двугривенных, а шум делаешь на трешницу... еще князь!

Т а т а р и н (*горячо*). Надо играть честна!

С а т и н. Это зачем же?

Т а т а р и н. Как зачем?
С а т и н... А так... Зачем?
Т а т а р и н. Ты не знаешь?
С а т и н. Не знаю. А ты — знаешь?

Татарин плюет, озлобленный. Все хохочут над ним.

К р и в о й З о б (*благодушно*). Чудак ты, Асан! Ты — пойми! Коли им честно жить начать, они в три дня с голоду издохнут...

Т а т а р и н. А мне какое дело! Надо честно жить!

К р и в о й З о б. Заладил! Идем чай пить лучше... Бубен!

И-эх вы, цепи, мои цепи...

Б у б н о в.

Да вы железны сторожа...

К р и в о й З о б. Идем, Асанка! (*Уходит, напевая.*)

Не порвать мне, не разбить вас...

Т а т а р и н грозит Барону кулаком и выходит вслед за товарищем.

С а т и н (*Барону, смеясь*). Вы, ваше вашество, опять торжественно сели в лужу! Образованный человек, а карту передернуть не можете...

Б а р о н (*разводя руками*). Черт знает, как она...

А к т е р. Таланта нет... нет веры в себя... а без этого... никогда, ничего...

М е д в е д е в. У меня одна дамка... а у тебя две... н-да!

Б у б н о в. И одна — не бедна, коли умна... Ходи!

К л е щ. Проиграли вы, Абрам Иваныч!

М е д в е д е в. Это не твое дело... понял? И молчи...

С а т и н. Выигрыш — пятьдесят три копейки...

А к т е р. Три копейки мне... А впрочем, зачем мне нужно три копейки?

Л у к а (*выходя из кухни*). Ну, обыграли татарина? Водочку пить пойдете?

Б а р о н. Идем с нами!

С а т и н. Посмотреть бы, каков ты есть пьяный!

Л у к а. Не лучше трезвого-то...

А к т е р. Идем, старик... я тебе продекламирую куплеты...

Лука. Чего это?

Актер. Стихи,— понимаешь?

Лука. Стихи-и! А на что они мне, стихи-то?..

Актер. Это — смешно... А иногда — грустно...

Сатин. Ну, куплетист, идешь? (*Уходит с Бароном.*)

Актер. Иду... я догоню! Вот, например, старик, из одного стихотворения... начало я забыл... забыл! (*Потирает лоб.*)

Бубнов. Готово! Пропала твоя дамка... ходи!

Медведев. Не туда я пошел... пострели ее!

Актер. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память... А теперь вот... кончено, брат! Всё кончено для меня! Я всегда читал это стихотворение с большим успехом... гром аплодисментов! Ты... не знаешь, что такое аплодисменты... это, брат, как... водка!.. Бывало, выйду, встану вот так... (*Становится в позу.*) Встану... и... (*Молчит.*) Ничего не помню... ни слова... не помню! Любимое стихотворение... плохо это, старик?

Лука. Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом — вся душа...

Актер. Пропил я душу, старик... я, брат, погиб... А почему — погиб? Веры у меня не было... Кончен я...

Лука. Ну, чего? Ты... лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат... такая уж лечебница устроена для пьяниц... чтобы, значит, даром их лечить... Признали, видишь, что пьяница — тоже человек... и даже — рады, когда он лечиться желает! Ну-ка, вот, валяй! Иди...

Актер (*задумчиво*). Куда? Где это?

Лука. А это... в одном городе... как его? Название у него эдакое... Да я тебе город назову!.. Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись!.. возьми себя в руки и — терпи... А потом — вылечишься... и начнешь жить снова... хорошо, брат, снова-то! Ну, решай... в два приема...

Актер (*улыбаясь*). Снова... сначала... Это — хорошо... Н-да... Снова? (*Смеется.*) Ну... да! Я могу?! Ведь могу, а?

Лука. А чего? Человек — все может... лишь бы захотел...

Актер (*вдруг, как бы проснувшись*). Ты — чудак! Прощай пока! (*Свистит.*) Старичок... прощай... (*Уходит.*)

Анна. Дедушка!

Лука. Что, матушка?

Анна. Поговори со мной...

Лука (*подходя к ней*). Давай, побеседуем...

Клещ оглядывается, молча подходит к жене, смотрит на нее и делает какие-то жесты руками, как бы желая что-то сказать.

Лука. Что, браток?

Клещ (*негромко*). Ничего... (*Медленно идет к двери в сени, несколько секунд стоит пред ней и — уходит.*)

Лука (*проводив его взглядом*). Тяжело мужику-то твоему...

Анна. Мне уж не до него...

Лука. Бил он тебя?

Анна. Еще бы... От него, чай, и зачахла...

Бубнов. У жены моей... любовник был; ловко, бывало, в шашки играл, шельма...

Медведев. Мм-м...

Анна. Дедушка! Говори со мной, милый... Тошно мне...

Лука. Это ничего! Это — перед смертью... голубка. Ничего, милая! Ты — надейся... Вот, значит, помрешь, и будет тебе спокойно... ничего больше не надо будет, и бояться — нечего! Тишина, спокой... лежи себе! Смерть — она всё успокаивает... она для нас ласковая... Помрешь — отдохнешь, говорится... верно это, милая! Потому — где здесь отдохнуть человеку?

Пепел входит. Он немного выпивши, растрепанный, мрачный. Садится у двери на нарах и сидит молча, неподвижно.

Анна. А как там — тоже му́ка?

Лука. Ничего не будет! Ничего! Ты — верь! Спокой и — больше ничего! Призовут тебя к господу и скажут: господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна...

Медведев (*строго*). А ты почему знаешь, что́ там скажут? Эй, ты...

Пепел при звуке голоса Медведева поднимает голову и прислушивается.

Лука. Стало быть, знаю, господин ундер...

Медведев (*примирительно*). М... да! Ну... твое дело... Хоша... я еще не совсем.. ундер...

Бубнов. Двух беру...

Медведев. Ах ты... чтоб **тебе!..**

Л у к а. А господь — взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай! Пусть успокоится... Знаю я, жила она — очень трудно... очень устала... Дайте покой Анне...

А н н а (*задыхаясь*). Дедушка... милый ты... кабы так! Кабы... покой бы... не чувствовать бы ничего...

Л у к а. Не будешь! Ничего не будет! Ты — верь! Ты — с радостью помирай, без тревоги... Смерть, я те говорю, она нам — как мать малым детям...

А н н а. А... может... может, выздоровлю я?

Л у к а (*усмехаясь*). На что? На му́ку опять?

А н н а. Ну... еще немножко... пожить бы... немножко! Коли там му́ки не будет... здесь можно потерпеть... можно!

Л у к а. Ничего там не будет!.. Просто...

П е п е л (*вставая*). Верно... а может, и — не верно!

А н н а (*пугливо*). Господи...

Л у к а. А, красавец...

М е д в е д е в. Кто орет?

П е п е л (*подходя к нему*). Я! А что?

М е д в е д е в. Зря орешь, вот что! Человек должен вести себя смирно...

П е п е л. Э... дубина!.. А еще — дядя... х-хо!

Л у к а (*Пеплу, негромко*). Слышь,— не кричи! Тут — женщина помирает... уж губы у нее землей обметало... не мешай!

П е п е л. Тебе, дед, изволь,— уважу! Ты, брат, молодец! Врешь ты хорошо... сказки говоришь приятно! Ври, ничего... мало, брат, приятного на свете!

Б у б н о в. Вправду — помирает баба-то?

Л у к а. Кажись, не шутит...

Б у б н о в. Кашлять, значит, перестанет... Кашляла она очень беспокойно... Двух беру!

М е д в е д е в. Ах, пострели тебя в сердце!

П е п е л. Абрам!

М е д в е д е в. Я тебе — не Абрам...

П е п е л. Абрашка. Наташа — хворает?

М е д в е д е в. А тебе какое дело?

П е п е л. Нет, ты скажи: сильно ее Василиса избила?

М е д в е д е в. И это дело не твое! Это — семейное дело... А ты — кто таков?

П е п е л. Кто бы я ни был, а... захочу — и не видать вам больше Наташки!

М е д в е д е в (*бросая игру*). Ты — что говоришь?

Ты — про кого это? Племянница моя чтобы... ах, вор!

Пепел. Вор, а тобой не пойман...

Медведев. Погоди! Я — поймаю... я — скоро...

Пепел. А поймаешь,— на горе всему вашему гнезду. Ты думаешь — я молчать буду перед следователем? Жди от волка толка! Спросят: кто меня на воровство подбил и место указал? Мишка Костылев с женой! Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой!

Медведев. Врешь! Не поверят тебе!

Пепел. Поверят, потому — правда! И тебя еще запутаю... ха! Погублю всех вас, черти,— увидишь!

Медведев (*теряясь*). Врешь! И... врешь! И... что я тебе худого сделал? Пес ты бешеный...

Пепел. А что ты мне хорошего сделал?

Лука. Та-ак!

Медведев (*Луке*). Ты... чего каркаешь? Твое тут — какое дело? Тут — семейное дело!

Бубнов (*Луке*). Отстань! Не для нас с тобой петли вяжут.

Лука (*смиренно*). Я ведь — ничего! Я только говорю, что, если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил...

Медведев (*не поняв*). То-то! Мы тут... все друг друга знаем... а ты — кто такой? (*Сердито фыркая, быстро уходит.*)

Лука. Рассердился кавалер... Охо-хо, дела у вас, братцы, смотрю я... путаные дела!

Пепел. Василисе жаловаться побежал...

Бубнов. Дуришь ты, Василий. Чего-то храбрости у тебя много завелось... гляди, храбрость у места, когда в лес по грибы идешь... а здесь она — ни к чему... Они тебе живо голову свернут...

Пепел. Н-ну, нет! Нас, ярославских, голыми руками не сразу возьмешь... Ежели война — будем воевать...

Лука. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места...

Пепел. Куда? Ну-ка, выговори...

Лука. Иди... в Сибирь!

Пепел. Эге! Нет, уж я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту на казенный счет...

Лука. А ты слушай, иди-ка! Там ты себе можешь путь найти... Там таких — надобно!

Пепел. Мой путь — обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал... Я когда

маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын...

Л у к а. А хорошая сторона — Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да в разуме, тому там — как огурцу в парнике!

П е п е л. Старик! Зачем ты всё врешь?

Л у к а. Ась?

П е п е л. Оглох! Зачем врешь, говорю?

Л у к а. Это в чем же вру-то я?

П е п е л. Во всем... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь — врешь! На что?

Л у к а. А ты мне — поверь, да поди сам погляди... Спасибо скажешь... Чего ты тут трешься? И... чего тебе правда больно нужна... подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя...

П е п е л. А мне всё едино! Обух, так обух...

Л у к а. Да чудак! На что самому себя убивать?

Б у б н о в. И чего вы оба мелете? Не пойму... Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Знаешь ты правду про себя... да и все ее знают...

П е п е л. Погоди, не каркай! Пусть он мне скажет... Слушай, старик: бог есть?

Лука, молчит, улыбаясь.

Б у б н о в. Люди все живут... как щепки по реке плывут... строят дом... а щепки — прочь...

П е п е л. Ну? Есть? Говори...

Л у к а (*негромко*). Коли веришь,— есть; не веришь,— нет... Во что веришь, то и есть...

Пепел молча, удивленно и упорно смотрит на старика.

Б у б н о в. Пойду чаю попью... идемте в трактир? Эй!..

Л у к а (*Пеплу*). Чего глядишь?

П е п е л. Так... погоди! Значит...

Б у б н о в. Ну, я один... (*Идет к двери и встречается с Василисой.*)

П е п е л. Стало быть... ты...

В а с и л и с а (*Бубнову*). Настасья — дома?

Б у б н о в. Нет... (*Уходит.*)

П е п е л. А... пришла...

В а с и л и с а (*подходя к Анне*). Жива еще?

Л у к а. Не тревожь...

В а с и л и с а. А ты... чего тут торчишь?

Л у к а. Я могу уйти... коли надо...

В а с и л и с а (*направляясь к двери в комнату Пепла*). Василий! У меня к тебе дело есть...

Лука подходит к двери в сени, отворяет ее и громко хлопает ею. Затем осторожно влезает на нары и — на печь.

В а с и л и с а (*из комнаты Пепла*). Вася... поди сюда!

П е п е л. Не пойду... не хочу...

В а с и л и с а. А... что же? На что гневаешься?

П е п е л. Скушно мне... надоела мне вся эта канитель...

В а с и л и с а. И я... надоела?

П е п е л. И ты...

Василиса крепко стягивает платок на плечах, прижимая руки ко груди. Идет к постели Анны, осторожно смотрит за полог и возвращается к Пеплу.

П е п е л. Ну... говори...

В а с и л и с а. Что же говорить? Насильно мил не будешь... и не в моем это характере милости просить... Спасибо тебе за правду...

П е п е л. Какую правду?

В а с и л и с а. А что надоела я тебе... али это не правда?

Пепел молча смотрит на нее.

В а с и л и с а (*подвигаясь к нему*). Что глядишь? Не узнаешь?

П е п е л (*вздыхая*). Красивая ты, Васка...

Женщина кладет ему руку на шею, но он стряхивает руку ее движением плеча.

...а никогда не лежало у меня сердце к тебе... И жил я с тобой и все... а никогда ты не нравилась мне...

В а с и л и с а (*тихо*). Та-ак... Н-ну...

П е п е л. Ну, не о чем нам говорить! Не о чем... иди от меня...

В а с и л и с а. Другая приглянулась?

П е п е л. Не твое дело... И приглянулась — в свахи тебя не позову...

В а с и л и с а (*значительно*). А напрасно... Может, я бы и сосватала...

П е п е л (*подозрительно*). Кого это?

В а с и л и с а. Ты знаешь... что притворяться? Василий... я — человек прямой... (*Тише*). Скрывать не буду... ты меня обидел... Ни за что, ни про что — как плетью хлестнул... Говорил — любишь... и вдруг...

П е п е л. Вовсе не вдруг... я давно... души в тебе нет, баба... В женщине — душа должна быть... Мы — звери... нам надо... надо нас — приучать... а ты — к чему меня приучила?

В а с и л и с а. Что было — того нет... Я знаю — человек сам в себе не волен... Не любишь больше... ладно! Так тому и быть...

П е п е л. Ну, значит, и — шабаш! Разошлись смирно, без скандала... и хорошо!

В а с и л и с а. Нет, погоди! Все-таки... когда я с тобой жила... я всё дожидалась, что ты мне поможешь из омута этого выбраться... освободишь меня от мужа, от дяди... от всей этой жизни... И, может, я не тебя, Вася, любила, а... надежду мою, думу эту любила в тебе... Понимаешь? Ждала я, что вытащишь ты меня...

П е п е л. Ты — не гвоздь, я — не клещи... Я сам думал, что ты, как умная... ведь ты умная... ты — ловкая!

В а с и л и с а (*близко наклоняясь к нему*). Вася! давай... поможем друг другу...

П е п е л. Как это?

В а с и л и с а (*тихо, сильно*). Сестра... тебе нравится, я знаю...

П е п е л. За то ты и бьешь ее зверски! Смотри, Васка! Ее — не тронь...

В а с и л и с а. Погоди! Не горячись! Можно всё сделать тихо, по-хорошему... Хочешь — женись на ней? И я тебе еще денег дам... целковых... триста! Больше соберу — больше дам...

П е п е л (*отодвигаясь*). Постой... как это? За что?

В а с и л и с а. Освободи меня... от мужа! Сними с меня петлю эту...

П е п е л (*тихо свистит*). Вон что-о! Ого-го! Это — ты ловко придумала... мужа, значит, в гроб, любовника — на каторгу, а сама...

В а с и л и с а. Вася! Зачем — каторга? Ты — не сам... через товарищей! Да если и сам — кто узнает? Наталья — подумай! Деньги будут... уедешь куда-нибудь... меня навек освободишь... И что сестры около меня не будет — это хорошо для нее. Видеть мне ее — трудно... злоблюсь я на нее за тебя... и сдержаться не могу... мучаю

девку, бью ее... так — бью... что — сама плачу от жалости к ней... А — бью. И — буду бить.

Пепел. Зверь! Хвастаешься зверством своим?

Василиса. Не хвастаюсь — правду говорю. Подумай, Вася... Ты два раза из-за мужа моего в тюрьме сидел... из-за его жадности... Он в меня, как клоп, впился... четыре года сосет! А какой он мне муж? Наташу теснит, измывается над ней, нищая, говорит! И для всех он — яд...

Пепел. Хитро ты плетешь...

Василиса. В речах моих — все ясно... Только глупый не поймет, чего я хочу...

Костылев осторожно входит и крадется вперед.

Пепел (*Василисе*). Ну... иди!

Василиса. Подумай! (*Видит мужа.*) Ты — что? За мной?

Пепел вскакивает и дико смотрит на Костылева.

Костылев. Это я... я! А вы тут... одни? А-а... Вы — разговаривали? (*Вдруг топает ногами и громко визжит.*) Васка... поганая! Нищая... шкура! (*Пугается своего крика, встреченного молчанием и неподвижностью.*) Прости господи... опять ты меня, Василиса, во грех ввела... Я тебя ищу везде... (*Взвизгивая.*) Спать пора! Масла в лампады забыла налить... у, ты! Нищая... свинья... (*Дрожащими руками машет на нее.*)

Василиса медленно идет к двери в сени, оглядываясь на Пеплв.

Пепел (*Костылеву*). Ты! Уйди... пошел!

Костылев (*кричит*). Я — хозяин! Сам пошел, да! Вор...

Пепел (*глухо*). Уйди, Мишка...

Костылев. Не смей! Я тут... я тебя...

Пепел хватает его за шиворот и встряхивает. На печи раздается громкая возня и воющее позевываиье. Пепел выпускает Костылева, старик с криком бежит в сеии.

Пепел (*вспрыгнув на нары*). Кто это... кто на печи?

Лука (*высовывая голову*). Ась?

Пепел. Ты?!

Лука (*спокойно*). Я... я самый... О господи Исусе Христе!

Пепел (*затворяет дверь в сени, ищет запора и не находит*). А, черти... Старик, слезай!

Лука. Сейча-ас... лезу...

Пепел (*грубо*). Ты зачем на печь залез?

Лука. А куда надо было?

Пепел. Ведь... ты в сени ушел?

Лука. В сенях, браточек, мне, старику, холодно...

Пепел. Ты... слышал?

Лука. А — слышал! Как не слышать? Али я — глухой? Ах, парень, счастье тебе идет... Вот идет счастье!

Пепел (*подозрительно*). Какое счастье? В чем?

Лука. А вот в том, что я на печь залез.

Пепел. А... зачем ты там возиться начал?

Лука. Затем, значит, что — жарко мне стало... на твое сиротское счастье... И — опять же — смекнул я, как бы, мол, парень не ошибся... не придушил бы старичка-то...

Пепел. Да-а... я это мог... ненавижу...

Лука. Что мудреного? Ничего нет трудного. Часто эдак-то ошибаются...

Пепел (*улыбаясь*). Ты — что? Сам, что ли, ошибся однажды?

Лука. Парень! Слушай-ка, что я тебе скажу: бабу эту — прочь надо! Ты ее — ни-ни!— до себя не допускай... Мужа — она и сама со света сживет, да еще половчее тебя, да! Ты ее, дьяволицу, не слушай... Гляди — какой я? Лысый... А отчего? От этих вот самых разных баб... Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было... А эта Василиса — она... хуже черемиса!

Пепел. Не понимаю я... спасибо тебе сказать, или ты... тоже...

Лука. Ты — не говори! Лучше моего не скажешь! Ты слушай: которая тут тебе нравится, бери ее под руку да отсюда — шагом марш!— уходи! Прочь уходи...

Пепел (*угрюмо*). Не поймешь людей. Которые — добрые, которые — злые?.. Ничего не понятно...

Лука. Чего там понимать? Всяко живет человек... как сердце налажено, так и живет... сегодня — добрый, завтра — злой... А коли девка эта за душу тебя задела всурьез... уйди с ней отсюда, и кончено... А то — один иди... Ты — молодой, успеешь бабой обзавестись.

П е п е л (*берет его за плечо*). Нет, ты скажи — зачем ты все это...

Л у к а. Погоди-ка, пусти... Погляжу я на Анну... чего-то она хрипела больно... (*Идет к постели Анны, открывает полог, смотрит, трогает рукой.*)

Пепел задумчиво и растерянно следит за ним.

Исусе Христе, многомилостивый! Дух новопреставленной рабы твоей Анны с миром прими...

П е п е л (*тихо*). Умерла?.. (*Не подходя, вытягивается и смотрит на кровать.*)

Л у к а (*тихо*). Отмаялась!.. А где мужик-то ее?

П е п е л. В трактире, наверно...

Л у к а. Надо сказать...

П е п е л (*вздрагивая*). Не люблю покойников...

Л у к а (*идет к двери*). За что их любить?.. Любить — живых надо... живых...

П е п е л. И я с тобой...

Л у к а. Боишься?

П е п е л. Не люблю...

Торопливо выходят. Пустота и тишина. За дверью в сени слышен глухой шум, неровный, непонятный. Потом — входит А к т е р.

А к т е р (*останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит*). Старик, эй! Ты где? Я — вспомнил... слушай. (*Шатаясь, делает два шага вперед и, принимая позу, читает.*)

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,—
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Н а т а ш а является сзади Актера в двери.

Старик!..

Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло,
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь...

Н а т а ш а (*смеется*). Чучело! Нализался...

А к т е р (*оборачиваясь к ней*). А-а, это ты? А — где старичок... милый старикашка? Здесь, по-видимому,— никого нет... Наташа, прощай! Прощай... да!

Н а т а ш а (*входя*). Не здоровался, а прощаешься...

А к т е р (*загораживая ей дорогу*). Я — уезжаю, ухожу... Настанет весна — и меня больше нет...

Н а т а ш а. Пусти-ка... куда это ты?

А к т е р. Искать город... лечиться... Ты — тоже уходи... Офелия... иди в монастырь... Понимаешь — есть лечебница для организмов... для пьяниц... Превосходная лечебница... Мрамор... мраморный пол! Свет... чистота; пища... все — даром! И мраморный пол, да! Я ее найду, вылечусь и... снова буду... Я на пути к возрождению... как сказал... король... Лир! Наташа... по сцене мое имя Сверчков-Заволжский... никто этого не знает, никто! Нет у меня здесь имени... Понимаешь ли ты, как это обидно — потерять имя? Даже собаки имеют клички...

Наташа осторожно обходит Актера, останавливается у кровати Анны, смотрит.

Без имени — нет человека...

Н а т а ш а. Гляди... голубчик... померла ведь...

А к т е р (*качает головой*). Не может быть...

Н а т а ш а (*отступая*). Ей-богу... смотри...

Б у б н о в (*в двери*). Чего смотреть?

Н а т а ш а. Анна-то... померла!

Б у б н о в. Кашлять перестала значит. (*Идет к постели Анны, смотрит, идет на свое место.*) Надо Клещу сказать... это — его дело...

А к т е р. Я иду... скажу... потеряла имя!.. (*Уходит.*)

Н а т а ш а (*посреди комнаты*). Вот и я... когда-нибудь так же... в подвале... забитая...

Б у б н о в (*расстилая на своих нарах какое-то тряпье*). Чего? Ты чего бормочешь?

Н а т а ш а. Так... про себя...

Б у б н о в. Ваську ждешь? Гляди — сломит тебе голову Васька...

Н а т а ш а. А не все равно — кто сломит? Уж пускай лучше он...

Б у б н о в (*ложится*). Ну, твое дело...

Н а т а ш а. Ведь вот... хорошо, что она умерла... а жалко... Господи! Зачем жил человек?

Б у б н о в. Все так: родятся, поживут, умирают. И я помру... и ты... Чего жалеть?

Входят: Л у к а, Т а т а р и н, К р и в о й З о б и К л е щ. Клещ идет сзади всех, медленно, съежившись.

Н а т а ш а. Ш-ш! Анна...

К р и в о й З о б. Слышали... царство небесное, коли померла...

Т а т а р и н (*Клещу*). Надо вон тащить! Сени надо тащить! Здесь — мертвый — нельзя, здесь — живой спать будет...

К л е щ (*негромко*). Вытащим...

Все подходят к постели. Клещ смотрит на жену через плечи других.

К р и в о й З о б (*Татарину*). Ты думаешь — дух пойдет? от нее духа не будет... она вся еще живая высохла...

Н а т а ш а. Господи! Хоть бы пожалели... хоть бы кто слово сказал какое-нибудь! Эх, вы...

Л у к а. Ты, девушка, не обижайся... ничего. Где им... куда нам — мертвых жалеть? Э, милая! Живых — не жалеем... сами себя пожалеть-то не можем... где тут!

Б у б н о в (*зевая*). И опять же — смерть слова не боится!.. Болезнь — боится слова, а смерть — нет!

Т а т а р и н (*отходя*). Полицию надо...

К р и в о й З о б. Полицию — это обязательно! Клещ! Полиции заявил?

К л е щ. Нет... Хоронить надо... а у меня сорок копеек всего...

К р и в о й З о б. Ну, на такой случай — займи... а то мы соберем... кто пятак, кто — сколько может... А полиции заяви... скорее! А то она подумает — убил ты бабу... или что... (*Идет к нарам и собирается лечь рядом с Татарином.*)

Н а т а ш а (*отходя к нарам Бубнова*). Вот... будет она мне сниться теперь... мне всегда покойники снятся... Боюсь идти одна... в сенях — темно...

Л у к а (*следуя за ней*). Ты — живых опасайся... вот что я скажу...

Н а т а ш а. Проводи меня, дедушка...

Л у к а. Идем... идем, провожу!

Уходят. Пауза.

К р и в о й З о б. Охо-хо-о! Асан! Скоро весна, друг... тепло нам жить будет! Теперь уж в деревнях мужики сохи, бороны чинят... пахать налаживаются... н-да! А мы... Асан!.. Дрыхнет уж, Магомет окаянный...

Б у б н о в. Татары спать любят...

К л е щ (*стоит посредине ночлежки и тупо смотрит пред собой*). Чего же мне теперь делать?

К р и в о й З о б. Ложись да спи... только и всего...

К л е щ (*тихо*). А... она... как же?

Никто не отвечает ему. С а т и н и А к т е р входят.

А к т е р (*кричит*). Старик! Сюда, мой верный Кент...

С а т и н. Миклуха-Маклай идет... х-хо!

А к т е р. Кончено и решено! Старик, где город... где ты?

С а т и н. Фата-моргана! Наврал тебе старик... Ничего нет! Нет городов, нет людей... ничего нет!

А к т е р. Врешь!

Т а т а р и н (*вскакивая*). Где хозяин? Хозяину иду! Нельзя спать — нельзя деньги брать... Мертвые... пьяные... (*Быстро уходит.*)

Сатин свистит вслед ему.

Б у б н о в (*сонным голосом*). Ложись, ребята, не шуми... ночью — спать надо!

А к т е р. Да... здесь — ага! Мертвец... «Наши сети притащили мертвеца»... стихотворение... Б-беранжера!

С а т и н (*кричит*). Мертвецы — не слышат! Мертвецы не чувствуют... Кричи... реви... мертвецы не слышат!

В двери является Л у к а.

З а н а в е с

«Пустырь» — засоренное разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место. В глубине его — высокий кирпичный брандмауер. Он закрывает небо. Около него — кусты бузины. Направо — темная, бревенчатая стена какой-то надворной постройки — сарая или конюшни. А налево — серая, покрытая остатками штукатурки стена того дома, в котором помещается ночлежка Костылевых. Она стоит наискось, так что ее задний угол выходит почти на средину пустыря. Между ею и красной стеной — узкий проход. В серой стене два окна: одно — в уровень с землей, другое — аршина на два выше и ближе к брандмауеру. У этой стены лежат розвальни кверху полозьями и обрубок бревна, длиною аршина в четыре. Направо у стены — куча старых досок, брусьев. Вечер, заходит солнце, освещая брандмауер красноватым светом. Ранняя весна, недавно стаял снег. Черные сучья бузины еще без почек. На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровнях — Лука и Барон. Клещ лежит на куче дерева у правой стены. В окне у земли — рожа Бубнова.

Настя (*закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает*). Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились... а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и — белый, как мел, а в руках у него леворверт...

Наташа (*грызет семечки*). Ишь! Видно, правду говорят, что студенты — отчаянные...

Настя. И говорит он мне страшным голосом: «Драгоценная моя любовь...»

Бубнов. Хо-хо! Драгоценная?

Барон. Погоди! Не любо — не слушай, а врать не мешай... Дальше!

Настя. «Ненаглядная, говорит, моя любовь! Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой... и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни...» А леворверт у него — агромадный и заряжен десятью пулями... «Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца! — решился я бесповоротно... жить без тебя — никак не могу». И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой Рауль...»

Бубнов (*удивленный*). Чего-о? Как? Краул?

Барон (*хохочет*). Настька! Да ведь... ведь прошлый раз — Гастон был!

Настя (*вскакивая*). Молчите... несчастные! Ах... бродячие собаки! Разве... разве вы можете понимать... любовь? Настоящую любовь? А у меня — была она...



настоящая! (*Барону.*) Ты! Ничтожный!.. Образованный ты человек... говоришь — лежа кофей пил...

Лука. А вы — погоди-ите! Вы — не мешайте! Уважьте человеку... не в слове — дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело! Рассказывай, девушка, ничего!

Бубнов. Раскрашивай, ворона, перья... валяй!

Барон. Ну — дальше!

Наташа. Не слушай их... что они? Они — из зависти это... про себя им сказать нечего...

Настя (*снова садится*). Не хочу больше! Не буду говорить... Коли они не верят... коли смеются... (*Вдруг, прерывая речь, молчит несколько секунд и, вновь закрыв глаза, продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в отдаленную музыку.*) И вот — отвечаю я ему: «Радость жизни моей! Месяц ты мой ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете... потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни... как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты — вся их радость... Брось меня! Пусть лучше я пропаду... от тоски по тебе, жизнь моя... я — одна... я — таковская! Пускай уж я... погибаю, — все равно! Я — никуда не гожусь... и нет мне ничего... нет ничего...» (*Закрывает лицо руками и беззвучно плачет.*)

Наташа (*отвертываясь в сторону, негромко*). Не плачь... не надо!

Лука, улыбаясь, гладит голову Насти.

Бубнов (*хохочет*). Ах... чертова кукла! а?

Барон (*тоже смеется*). Дедка! Ты думаешь — это правда? Это все из книжки «Роковая любовь»... Все это — ерунда! Брось ее!..

Наташа. А тебе что? Ты! Молчи уж... коли бог убил...

Настя (*яростно*). Пропащая душа! Пустой человек! Где у тебя — душа?

Лука (*берет Настю за руку*). Уйдем, милая! ничего... не сердись! Я — знаю... Я — верю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит — была она! Была! А на него — не сердись, на сожителя-то... Он... может, и впрямь из зависти сме-

ется... у него, может, вовсе не было настоящего-то... ничего не было! Пойдем-ка!..

Настя (*крепко прижимая руки ко груди*). Дедушка! Ей-богу... было это! Все было!.. Студент он... француз был... Гастошей звали... с черной бородкой... в лаковых сапогах ходил... разрази меня гром на этом месте! И так он меня любил... так любил!

Лука. Я — знаю! Ничего! Я верю! В лаковых сапогах, говоришь? А-яй-ай! Ну — и ты его тоже — любила?

Уходят за угол.

Барон. Ну и глупа же эта девица... добрая, но... глупа — нестерпимо!

Бубнов. И чего это... человек врать так любит? Всегда — как перед следователем стоит... право!

Наташа. Видно, вранье-то... приятнее правды... Я — тоже.

Барон. Что — тоже? Дальше?!

Наташа. Выдумываю... Выдумываю и — жду...

Барон. Чего?

Наташа (*смущенно улыбаясь*). Так... Вот, думаю, завтра... приедет кто-то... кто-нибудь... особенный... Или — случится что-нибудь... тоже небывалое... Подолгу жду... всегда — жду... А так... на самом деле — чего можно ждать?

Пауза.

Барон (*с усмешкой*). Нечего ждать... Я — ничего не жду! Все уже... было! Прошло... кончено!.. Дальше!

Наташа. А то... воображу себе, что завтра я... скоропостижно помру... И станет от этого — жутко... Летом хорошо воображать про смерть... грозы бывают летом... всегда может грозой убить...

Барон. Нехорошо тебе жить... эта сестра твоя... дьявольский характер!

Наташа. А кому — хорошо жить? Всем плохо... я вижу...

Клещ (*до этой поры неподвижный и безучастный — вдруг вскакивает*). Всем? Врешь! Не всем! Кабы — всем... пускай! Тогда — не обидно... да!

Бубнов. Что тебя — черт боднул? Ишь ты... взвыл как!

Клещ снова ложится на свое место и ворчит.

Б а р о н. А... надо мне к Настёнке мириться идти... не помиришься — на выпивку не даст...

Б у б н о в. Мм... Любят врать люди... Ну, Настька... дело понятное! Она привыкла рожу себе подкрашивать... вот и душу хочет подкрасить... румянец на душу наводит... А... другие — зачем? Вот — Лука, примерно... много он врет... и без всякой пользы для себя... Старик уж... Зачем бы ему?

Б а р о н (*усмехаясь, отходит*). У всех людей — души серенькие... все подрумяниться желают...

Л у к а (*выходит из-за угла*). Ты, барин, зачем девку тревожишь? Ты бы не мешал ей... пускай плачет-забавляется... Она ведь для своего удовольствия слезы льет... чем тебе это вредно?

Б а р о н. Глупо, старик! Надоела она... Сегодня — Рауль, завтра — Гастон... а всегда одно и то же! Впрочем — я иду мириться с ней... (*Уходит.*)

Л у к а. Поди-ка, вот... приласкай! Человека приласкать — никогда не вредно...

Н а т а ш а. Добрый ты, дедушка... Отчего ты — такой добрый?

Л у к а. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да!

За красной стеной тихо звучит гармоника и песня.

Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-от всех жалел и нам так велел... Я те скажу — вовремя человека пожалеть... хорошо бывает! Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском-городом... Ну, ладно! В лесу дача стояла, место — глухое... а зима была, и — один я, на даче-то... Славно-хорошо! Только раз — слышу — лезут!

Н а т а ш а. Воры?

Л у к а. Они. Лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел... Гляжу — двое... открывают окно — и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: ах вы!.. пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором... Я их упреждаю — отстаньте, мол! А то сейчас стрелю!.. Да ружьишко-то то на одного, то на другого и навожу. Они — на коленки пали: дескать,— пусти! Ну, а я уж того... осердился... за топор-то, знаешь! Говорю — я вас, лешие, прогонял, не шли... а теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь! Наломали они. Теперь, приказываю,

один — ложись, а другой — пори его! Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку. А как выпоролись они... и говорят мне — дедушка, говорят, дай хлебца Христа ради! Идем, говорят, не жрамши. Вот те и воры, милая... (*смеется*)... вот те и с топором! Да... Хорошие мужики оба... Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили. А они — надоело, говорят... просишь-просишь, а никто не дает... обидно!.. Так они у меня всю зиму и жили. Один,— Степаном звать,— возьмет, бывало, ружьишко и закатится в лес... А другой — Яков был, все хворал, кашлял все... Втроем, значит, мы дачу-то и стерегли. Пришла весна — прощай, говорят, дедушка! И ушли... в Россию побрели...

Наташа. Они — беглые? Каторжные?

Лука. Действительно — так,— беглые... с поселенья ушли... Хорошие мужики!.. Не пожалей я их — они бы, может, убили меня... Али еще что... А потом — суд, да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма — добру не научит, и Сибирь не научит... а человек — научит... да! Человек — может добру научить... очень просто!

Пауза.

Бубнов. Мм-да!.. А я вот... не умею врать! Зачем? По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

Клещ (*вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит*). Какая — правда? Где — правда? (*Треплет руками лохмотья на себе.*) Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанища... пристанища нету! Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне — правду? Жить — дьявол — жить нельзя... вот она — правда!..

Бубнов. Вот так... забрало!

Лука. Господи Исусе... слышь-ка, милый! Ты...

Клещ (*дрожит от возбуждения*). Говорите тут — пра-авда! Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех! И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она — проклята! (*Бежит за угол, оглядываясь.*)

Лука. Ай-яй-ай! Как встревожился человек... И куда побежал?

Наташа. Все равно как рехнулся...

Бубнов. Здо́рово пущено! Как в театре разыграл... Бывает это, частенько... Не привык еще к жизни-то...

Пепел (*медленно выходит из-за угла*). Мир честно́й компании! Что, Лука, старец лукавый, все истории рассказываешь?

Лука. Видел бы ты... как тут человек кричал!

Пепел. Это Клещ, что ли? Чего он? Бежит, как ошпаренный...

Лука. Побежишь, если этак... к сердцу подступит...

Пепел (*садится*). Не люблю его... больно он зол да горд... (*Передразнивая Клеща.*) «Я — рабочий человек». И — все его ниже будто... Работай, коли нравится... чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и — молчит! Наташа! Твои — дома?

Наташа. На кладбище ушли... потом — ко всенощной хотели...

Пепел. То-то, я гляжу, свободна ты... редкость!

Лука (*задумчиво, Бубнову*). Вот... ты говоришь — правда... Она, правда-то,— не всегда по недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь... Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил...

Бубнов. Во что-о?

Лука. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают... и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти... праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай,— духа он не терял, а всё, бывало, усмехался только да высказывал: «Ничего! потерплю! Еще несколько — пожду... а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю...» Одна у него радость была — земля эта...

Пепел. Ну? Пошел?

Бубнов. Куда? Хо-хо!

Лука. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками... Человек и говорит ученому: «Покажи ты мне, сделай милость — где лежит праведная земля и как туда дорога?» Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... гля-

дел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет!

Пепел (*негромко*). Ну? Нету?

Бубнов хохочет.

Наташа. Погоди ты... ну, дедушка?

Лука. Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет... Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! а по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: «Ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый...» Да в ухо ему — раз! Да еще!.. (*Помолчав.*) А после того пошел домой и — удавился!..

Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.

Пепел (*негромко*). Ч-черт те возьми... история — невеселая...

Наташа. Не стерпел обмана...

Бубнов (*угрюмо*). Все — сказки...

Пепел. Н-да... вот те и праведная земля... не оказалось, значит...

Наташа. Жалко... человека-то...

Бубнов. Все — выдумки... тоже! Хо-хо! Праведная земля! Туда же! Хо-хо-хо! (*Исчезает из окна.*)

Лука (*кивая головой на окно Бубнова*). Смеется! Эхе-хе...

Пауза

Ну, ребята!.. живите богато! Уйду скоро от вас...

Пепел. Куда теперь?

Лука. В хохлы... Слыхал я — открыли там новую веру... поглядеть надо... да!.. Все ищут люди, все хотят — как лучше... Дай им, господи, терпенья!

Пепел. Как думаешь... найдут?

Лука. Люди-то? Они — найдут! Кто ищет — найдет... Кто крепко хочет — найдет!

Наташа. Кабы нашли что-нибудь... придумали бы получше что...

Лука. Они — придумают! Помогать только надо им, девонька... уважать надо...

Наташа. Как я помогу? Я сама... без помощи...

П е п е л (*решительно*). Опять я... снова я буду говорить с тобой... Наташа... Вот — при нем... он — все знает... Иди... со мной!

Н а т а ш а. Куда? По тюрьмам?

П е п е л. Я сказал — брошу воровство! Ей-богу — брошу! Коли сказал — сделаю! Я — грамотный... буду работать... Вот он говорит — в Сибирь-то по своей воле надо идти... Едем туда, ну?.. Ты думаешь — моя жизнь не претит мне? Эх, Наташа! Я знаю... вижу!.. Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут... только это мне не помогает! Это... не то! Я — не каюсь... в совесть, я не верю... Но — я одно чувствую: надо жить... иначе! Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать...

Л у к а. Верно, милый! Дай тебе господи... помоги тебе Христос! Верно: человек должен уважать себя...

П е п е л. Я — сызмалетства — вор... все всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага? Так? Ну — нате! Вот — я вор!.. Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то... оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня... Назови ты... Наташа, ну?

Н а т а ш а (*грустно*). Не верю я как-то... никаким словам... И беспокойно мне сегодня... сердце щемит... будто жду я чего-то... Напрасно ты, Василий, разговор этот сегодня завел...

П е п е л. Когда же? Я не первый раз говорю...

Н а т а ш а. И что же я с тобой пойду? Ведь... любить тебя... не очень я люблю... Иной раз — нравишься ты мне... а когда — глядеть на тебя тошно... Видно — не люблю я тебя... когда любят — плохого в любимом не видят... а я — вижу...

П е п е л. Полюбишь — не бойся! Я тебя приучу к себе... ты только согласись! Больше года я смотрел на тебя... вижу, ты девица строгая... хорошая... надежный человек... Очень полюбил тебя!..

В а с и л и с а, нарядная, является в окне и, стоя у косяка, слушает.

Н а т а ш а. Так. Меня — полюбил, а сестру мою...

П е п е л (*смущенно*). Ну, что она? Мало ли... эдаких-то...

Л у к а. Ты... ничего, девушка! Хлеба нету,— лебеду едят... если хлебушка-то нету...

П е п е л (*угрюмо*). Ты... пожалей меня! Несладко живу... вольчья жизнь — мало радует... Как в трясине тону...

за что ни схватишься... все — гнилое... все — не держит... Сестра твоя... я думал, она... не то... Ежели бы она... не жадная до денег была — я бы ее ради... на все пошел! Лишь бы она — вся моя была... Ну, ей другого надо... ей — денег надо... и воли надо... а воля ей — чтобы развратничать. Она — помочь мне не может... А ты — как молодая елочка — и колешься, а сдержишь...

Лука. И я скажу — иди за него, девонька, иди! Он — парень ничего, хороший! Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он тебе — поверит... Ты только поговаривай ему: «Вася, мол, ты — хороший человек... не забывай!» Ты подумай, милая, куда тебе идти окромето? Сестра у тебя — зверь злой... про мужа про ее — и сказать нечего: хуже всяких слов старик... И вся эта здешняя жизнь... Куда тебе идти? А парень — крепкий...

Наташа. Идти некуда... я знаю... думала... Только вот... не верю я никому... А идти мне — некуда...

Пепел. Одна дорога... ну, на эту дорогу я не допущу... Лучше убью...

Наташа (*улыбаясь*). Вот... еще не жена я тебе, а уж хочешь убить...

Пепел (*обнимает ее*). Брось, Наташа! Все равно!..

Наташа (*прижимаясь к нему*). Ну... одно я тебе скажу, Василий... вот как перед богом говорю!— как только ты меня первый раз ударишь... или иначе обидишь... я — себя не пожалею... или сама удавлюсь, или...

Пепел. Пускай у меня рука отсохнет, коли я тебя трону!..

Лука. Ничего, не сумневайся, милая! Ты ему нужнее, чем он — тебе...

Василиса (*из окна*). Вот и сосватались! Совет да любовь!

Наташа. Пришли!.. ох, господи! Видели... эх, Василий!

Пепел. Чего ты испугалась? Теперь никто не смеет тронуть тебя!

Василиса. Не бойся, Наталья! Он тебя бить не станет... Он ни бить, ни любить не может... я знаю!

Лука (*негромко*). Ах, баба... гадюка ядовитая...

Василиса. Он больше на словах удал...

Костылев (*выходит*). Наташка! Ты что тут делаешь, дармоедка? Сплетни плетешь? На родных жалуешься? А самовар не готов? На стол не собрано?

Н а т а ш а (*уходя*). Да ведь вы в церковь идти хотели...

К о с т ы л е в. Не твое дело, чего мы хотели! Ты должна свое дело делать... что тебе приказано!

П е п е л. Цыц, ты! Она тебе больше не слуга... Наталья, не ходи... не делай ничего!..

Н а т а ш а. Ты — не командуй... рано еще! (*Уходит.*)

П е п е л (*Костылеву*). Будет вам! Поиздевались над человеком... достаточно! Теперь она — моя!

К о с т ы л е в. Тво-оя? Когда купил? Сколько дал?

Василиса хохочет.

Л у к а. Вася! Ты — уйди...

П е п е л. Глядите вы... веселые! Не заплакать бы вам!

В а с и л и с а. Ой, страшно! Ой, боюсь!

Л у к а. Василий — уйди! Видишь — подстрекает она тебя... подзадоривает — понимаешь?

П е п е л. Да... ага! Врет... врешь! Не быть тому, чего тебе хочется!

В а с и л и с а. И того не будет, чего я не захочу, Вася!

П е п е л (*грозит ей кулаком*). Поглядим!.. (*Уходит.*)

В а с и л и с а (*исчезая из окна*). Устрою я тебе свадебку!

К о с т ы л е в (*подходит к Луке*). Что, старичок?

Л у к а. Ничего, старичок!..

К о с т ы л е в. Так... уходишь, говорят?

Л у к а. Пора...

К о с т ы л е в. Куда?

Л у к а. Куда глаза поведут...

К о с т ы л е в. Бродяжить, значит... Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить?

Л у к а. Под лежач камень — сказано — и вода не течет...

К о с т ы л е в. То — камень. А человек должен на одном месте жить... Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет — туда и ползет... Человек должен определять себя к месту... а не путаться зря на земле...

Л у к а. А если которому — везде место?

К о с т ы л е в. Стало быть, он — бродяга... бесполезный человек... Нужно, чтобы от человека польза была... чтобы он работал...

Л у к а. Ишь ты!

К о с т ы л е в. Да. А как же?.. Что такое... странник? Странный человек... непохожий на других... Ежели он —

настояще странен... что-нибудь знает... что-нибудь узнал эдакое... не нужное никому... может, он и правду узнал там... ну, не всякая правда нужна... да! Он — про себя ее храни... и — молчи! Ежели он настояще-то... странен... он — молчит! А то — так говорит, что никому не понятно... И он — ничего не желает, ни во что не мешается, людей зря не мутит... Как люди живут — не его дело... Он должен преследовать праведную жизнь... должен жить в лесах... в трущобах... невидимо! И никому не мешать, никого не осуждать... а за всех — молиться за все мирские грехи... за мои, за твои... за все! Он для того и суеты мирской бежит... чтобы молиться. Вот как...

Пауза

А ты... какой ты странник?.. Пачпорта не имеешь... Хороший человек должен иметь пачпорт... Все хорошие люди пачпорта имеют... да!..

Л у к а. Есть — люди, а есть — иные — и человеки...

К о с т ы л е в. Ты... не мудри! Загадок не загадывай... Я тебя не глупее... Что такое — люди и человеки?

Л у к а. Где тут загадка? Я говорю — есть земля, неудобная для посева... и есть урожайная земля... что ни посеешь на ней — родит... Так-то вот...

К о с т ы л е в. Ну? Это к чему же?

Л у к а. Вот ты, примерно... Ежели тебе сам господь бог скажет: «Михайло! Будь человеком!..» Всё равно — никакого толку не будет... как ты есть — так и останешься...

К о с т ы л е в. А... а — ты знаешь;— у жены моей дядя — полицейский? И если я...

В а с и л и с а (*входит*). Михайло Иваныч, иди чай пить.

К о с т ы л е в (*Луке*). Ты... вот что: пошел-ка вон! долой с квартиры!..

В а с и л и с а. Да, убирайся-ка, старик!.. Больно у тебя язычок длинен... Да и кто знает?.. может, ты беглый какой...

К о с т ы л е в. Сегодня же чтобы духу твоего не было! А то я... смотри!

Л у к а. Дядю позовешь? Позови дядю... Беглого, мол, изловил... Награду дядя получить может... копейки три...

Б у б н о в (*в окне*). Чем тут торгуют? За что — три копейки?

Л у к а. Меня вот грозятся продать...

В а с и л и с а (*мужу*). Идем...

Б у б н о в. За три копейки? Ну, гляди, старик... Они и за копейку продадут...

К о с т ы л е в (*Бубнову*). Ты... вытаращился, ровно домовой из-под печки! (*Идет с женой.*)

В а с и л и с а. Сколько на свете темных людей... и жуликов разных!..

Л у к а. Приятного вам аппетиту!..

В а с и л и с а (*оборачиваясь*). Попридержи язык... гриб поганый! (*уходит с мужем за угол.*)

Л у к а. Сегодня в ночь — уйду...

Б у б н о в. Это — лучше. Вовремя уйти всегда лучше...

Л у к а. Верно говоришь...

Б у б н о в. Я — знаю! Я, может, от каторги спасся тем, что вовремя ушел.

Л у к а. Ну?

Б у б н о в. Правда. Было так: жена у меня с мастером связалась... Мастер, положим, хороший... очень он ловко собак в енотов перекрашивал... кошек тоже — в кенгурий мех... выхухоль... и всяко. Ловкач. Так вот — связалась с ним жена... и так они крепко друг за друга взялись, что — того и гляди — либо отравят меня, либо еще как со свету сживут. Я было — жену бить... а мастер — меня... Очень злобно дрался! Раз — половину бороды выдрал у меня и ребро сломал. Ну и я тоже обозлился... однажды жену по башке железным аршином тяпнул... и вообще — большая война началась! Однако вижу — ничего эдак не выйдет... одолевают они меня! И задумал я тут — укокошить жену... крепко задумал! Но вовремя спохватился — ушел...

Л у к а. Эдак-то лучше! Пускай их там из собак енотов делают!..

Б у б н о в. Только... мастерская-то на жену была... и остался я — как видишь! Хоть, по правде говоря, пропил бы я мастерскую... Запой у меня, видишь ли...

Л у к а. Запой? А-а!

Б у б н о в. Злющий запой! Как начну я заливать — весь пропьюсь, одна кожа остается... И еще — ленив я. Страсть как работать не люблю!..

С а т и н. Чепуха! Никуда ты не пойдешь... все это чертовщина! Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?

А к т е р. Врешь! Дед! Скажи ему, что он — врет! Я —

иду! Я сегодня — работал, мел улицу... а водки — не пил! Каково? Вот они — два пятиалтынных, а я — трезв!

Сатин. Нелепо, и все тут! Дай, я пропью... а то — проиграю...

Актер. Пошел прочь! Это — на дорогу!

Лука (*Сатину*). А ты — почто его с толку сбиваешь?

Сатин. «Скажи мне, кудесник, любимец богов,— что сбудется в жизни со мною?» Продулся, брат, я — вдребезги! Еще не все пропало, дед,— есть на свете шулера поумнее меня!

Лука. Веселый ты, Костянтин... приятный!

Бубнов. Актер! Поди-ка сюда!

Актер идет к окну и садится пред ним на корточки. Вполголоса разговаривают.

Сатин. Я, брат, молодой — занятен был! Вспомнить хорошо!.. Рубаха-парень... плясал великолепно, играл на сцене, любил смешить людей... славно!

Лука. Как же это ты свихнулся со стези своей, а?

Сатин. Какой ты любопытный, старикашка! Все бы тебе знать... а — зачем?

Лука. Понять хочется дела-то человеческие... а на тебя гляжу — не понимаю! Эдакий ты бравый... Костянтин... неглупый... и вдруг...

Сатин. Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел... а после тюрьмы — нет ходу!

Лука. Ого-го! За что сидел-то?

Сатин. За подлеца... убил подлеца в запальчивости и раздражении... В тюрьме я и в карты играть научился...

Лука. А убил — из-за бабы?

Сатин. Из-за родной сестры... Однако — ты отвяжись! Я не люблю, когда меня расспрашивают... И... все это было давно... Сестра — умерла... уже девять лет... прошло... Славная, брат, была человечинка сестра у меня!..

Лука. Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь — так взвыл... а-а-яй!

Сатин. Клещ?

Лука. Он. «Работы, кричит, нету... ничего нету!»

Сатин. Привыкнет... Чем бы мне заняться?

Лука (*тихо*). Гляди! Идет...

Сатин. Эй, вдовец! Чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать?

Клещ. Думаю... чего делать буду? Инструмента — нет... все — похороны съели!

С а т и н. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто — обременяй землю!..

К л е щ. Ладно... говори... Я — стыд имею пред людьми...

С а т и н. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется... Подумай — ты не станешь работать, я — не стану... еще сотни... тысячи, все! — понимаешь? все бросают работать! Никто, ничего не хочет делать — что тогда будет?

К л е щ. С голоду подохнут все...

Л у к а (*Сатину*). Тебе бы с такими речами к бегунам идти... Есть такие люди, бегуны называются...

С а т и н. Я знаю... они — не дураки, дедка!

Из окна Костылевых докосится крик Наташк: «За что? Постой... за что-о?»

Л у к а (*беспокойно*). Наташа? Она кричит? а? Ах ты...

В квартире Костылевых — шум, возня, звон разбитой посуды и визгливый крик Костылева: «А-а... еретица... шкуреха...»

В а с и л и с а. Стой... погоди... Я ее... вот... вот...

Н а т а ш а. Бьют! Убивают...

С а т и н (*кричит в окно*). Эй, вы там!

Л у к а (*суетясь*). Василья бы... позвать бы Васю-то... ах, господи! Братцы... ребята...

А к т е р (*убегая*). Вот я... сейчас его...

Б у б н о в. Ну и часто они ее бить стали.

С а т и н. Идем, старик... свидетелями будем!

Л у к а (*идет вслед за Сатиным*). Какой я свидетель! Куда уж... Василья-то бы скорее... Э-эхма!..

Н а т а ш а. Сестра... сестрица... Ва-а-а...

Б у б н о в. Рот заткнули... пойду взгляну...

Шум в квартнре Костылевых стихает, удаляясь, должно быть, в сеии из комиаты. Слышеи крик старика: «Стой!» Громко хлопает дверь, и этот звук, как топором, обрубает весь шум. На сцене — тихо. Вечерний сумрак.

К л е щ (*безучастно сидит на дровнях, крепко потирает руки. Потом начинает что-то бормотать, сначала — невнятно, далее:*). Как же? Надо жить... (*Громко.*) Пристанище надо... ну? Нет пристанища... ничего нет! Один человек... один весь тут... Помощи нет...

Медленно, согнувшись, уходнт. Несколько секунд зловещей ткшкны. Потом — где-то в проходе рождается смутный шум, хаос звуков. Он растет, приближается. Слышны отдельные голоса.

В а с и л и с а. Я ей — сестра! Пусти...

К о с т ы л е в. Какое ты имеешь право?

В а с и л и с а. Каторжник...

С а т и н. Ваську зови!.. скорее... Зоб — бей его!

Полицейский саисток.

Т а т а р и н (*выбегает. Правая рука у него на перевязи*). Какой такой закон есть — днем убивать?

К р и в о й З о б (*за ним Медведев*). Эх, и дал я ему разочек!

М е д в е д е в. Ты — как можешь драться?

Т а т а р и н. А ты? Твоя какая обязанность?

М е д в е д е в (*гонится за крючником*). Стой! Отдай свисток...

К о с т ы л е в (*выбегает*). Абрам! Хватай... бери его! Убил...

Из-за угла выходят К а а ш я я и Н а с т я — они ведут под руки Н а т а ш у, растрепаиную. С а т и и пятится задом, отталкивая В а с и л и с у, которая, размахивая руками, пытается ударить сестру. Около нее прыгает, как бесноаатый, А л е ш к а, саистит ей а уши, кричит, воет. Потом еще несколько оборванных фигур м у ж ч и и и ж е н щ и н.

С а т и н (*Василисе*). Куда? Сова, проклятая...

В а с и л и с а. Прочь, каторжник! Жизни решусь, а — растерзаю...

К в а ш н я (*отводя Наташу*). А ты, Карповна, полно... постыдись! Что зверствуешь?

М е д в е д е в (*хватает Сатина*). Ага... попал!

С а т и н. Зоб! Лупи их!.. Васька... Васька!

Все сталкиваются в кучу около прохода, у красной стены. Наташу уводят направо и там усаживают на куче дерева.

П е п е л (*выскочив из проулка, он молча сильными движениями расталкивает всех*). Где — Наталья? Ты...

К о с т ы л е в (*скрываясь за углом*). Абрам! Хватай Ваську... Братцы — помогите Ваську взять! Вора... грабителя.

П е п е л. А, ты... блудня старая! (*Сильно размахнувшись, бьет старика.*)

Костылев падает так, что из-за угла видна только верхняя полоаина его тела. Пепел бросается к Наташе.

В а с и л и с а. Бейте Ваську! Голубчики... бейте вора!

М е д в е д е в (*кричит Сатину*). Не можешь... тут — дело семейное! Они — родные... а ты кто?

П е п е л. Как... чем она тебя? Ножом?

К в а ш н я. Гляди-ко, звери какие! Кипятком ноги девке сварили....

Н а с т я. Самовар опрокинули...

Т а т а р и н. Может — нечаянно... надо — верно знать... нельзя зря говорить...

Н а т а ш а (*почти в обмороке*). Василий... возьми меня... схорони меня...

В а с и л и с а. Батюшки! Глядите-ка... смотрите-ка... помер! Убили...

Все толпятся у прохода, около Костылева.
Из толпы выходит Бубнов, идет к Василию.

Б у б н о в (*негромко*). Васька! Старик-то... того... готов!

П е п е л (*смотрит на него, как бы не понимая*). Иди... зови... в больницу надо... ну, я рассчитаюсь с ними!

Б у б н о в. Я говорю — старика-то кто-то уложил...

Шум на сцене гаснет, как огонь костра, заливаемый водою. Раздаются отдельные возгласы вполголоса: «Неужто?», «Вот те раз!», «Ну-у?», «Уйдем-ка, брат!», «Ах, чёрт!», «Теперь — держись!», «Айда, прочь, покуда полиции нет!» Толпа становится меньше. Уходят Б у б н о в, Т а т а р и н. Настя и Квашня бросаются к трупу Костылева.

В а с и л и с а (*поднимаясь с земли, кричит торжествующим голосом*). Убили! Мужа моего... вот кто убил! Васька убил! Я — видела! Голубчики — я видела! Что — Вася? Полиция!

П е п е л (*отходит от Наташи*). Пусти... прочь! (*Смотрит на старика. Василисе.*) Ну? рада? (*Трогает труп ногой.*) Околел... старый пес! По-твоему вышло... А... не прихлопнуть ли и тебя? (*Бросается на нее.*)

Сатин и Кривой Зоб быстро хватают его.
В а с и л и с а скрывается в проулке.

С а т и н. Опомнись!

К р и в о й З о б. Тпруу! Куда скачешь?

В а с и л и с а (*появляясь*). Что, Вася, мил друг? От судьбы — не уйдешь... Полиция! Абрам... свисти!

М е д в е д е в. Свисток сорвали, дьяволы...

А л е ш к а. Вот он! (*Свистит.*)

Медведев бежит за ним.

С а т и н (*отводя Пепла к Наташе*). Васька — не трусь! Убийство в драке... пустяки! Это — недорого стоит...

В а с и л и с а. Держите Ваську! Он убил... я видела!

С а т и н. Я тоже раза три ударил старика... Много ли ему надо! Зови меня в свидетели, Васька...

П е п е л. Мне... оправдываться не надо... Мне — Василису надо подвести... я же ее подведу! Она этого хотела... Она меня подговаривала мужа убить... подговаривала!..

Н а т а ш а (*вдруг, громко*). А-а... я поняла! Так, Василий?! Добрые, люди! Они — заодно! Сестра моя и — он... они заодно! Они всё это подстроили! Так, Василий? Ты... для того со мной давеча говорил... чтобы она всё слышала? Люди добрые! Она — его любовница... вы — знаете... это — все знают... они — заодно! Она... это она его подговорила мужа убить... муж им мешал... и я — мешала... Вот — изувечили меня...

П е п е л. Наталья! Что ты... что ты?!

С а т и н. Вот так... черт!

В а с и л и с а. Врешь! Врет она... я... Он, Васька, убил!

Н а т а ш а. Они — заодно! Будь вы прокляты! Вы оба...

С а т и н. Н-ну, игра!.. Держись, Василий! Утопят они тебя!..

К р и в о й З о б. Понять невозможно!.. Ах ты... дела!

П е п е л. Наталья! Неужто ты... вправду? Неужто веришь, что я... с ней...

С а т и н. Ей-богу, Наташа, ты... сообрази!

В а с и л и с а (*в проулке*). Убили мужа моего... ваше благородие... Васька Пепел, вор... он убил... господин пристав! Я — видела... все видели...

Н а т а ш а (*мечется почти в беспамятстве*). Люди добрые... сестра моя и Васька убили! Полиция — слушай... Вот эта, сестра моя, научила... уговорила... своего любовника... вот он, проклятый! — они убили! Берите их... судите... Возьмите и меня... в тюрьму меня! Христа ради... в тюрьму меня!..

З а н а в е с

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Обстановка первого акта. Но комнаты Пепла — нет, переборки сломаны, И на месте, где сидел Клещ, нет наковальни. В углу, где была комната Пепла, лежит Татарин, возится и стоиет изредка. За столом сидит Клещ; он чинит гармонию, порою пробуя лады. На другом конце стола — Сатин, Барон и Настя. Пред ними бутылка водки, три бутылки пива, большой ломоть черного хлеба. На печи возится и кашляет Актер. Ночь. Сцена освещена лампой, стоящей посреди стола. На дворе — ветер.

Клещ. Д-да... он во время суматохи этой и пропал...

Барон. Исчез от полиции... яко дым от лица огня...

Сатин. Тако исчезают грешники от лица праведных!

Настя. Хороший был старичок!.. А вы... не люди... вы — ржавчина!

Барон (*пьет*). За ваше здоровье, леди!

Сатин. Любопытный старикан... да! Вот Настёнка — влюбилась в него...

Настя. И влюбилась... и полюбила! Верно! Он — все видел... все понимал...

Сатин (*смеясь*). И вообще... для многих был... как мякиш для беззубых...

Барон (*смеясь*). Как пластырь для нарывов...

Клещ. Он... жалостливый был... У вас вот... жалости нет...

Сатин. Какая польза тебе, если я тебя пожалею?..

Клещ. Ты — можешь... не то, что пожалеть можешь... ты умеешь не обижать...

Татарин (*садится на нарах и качает свою больную руку, как ребенка*). Старик хорош был... закон душе имел! Кто закон душа имеет — хорош! Кто закон терял — пропал!..

Барон. Какой закон, князь?

Татарин. Такой... Разный... Знаешь какой...

Барон. Дальше!

Татарин. Не обижай человека — вот закон!

Сатин. Это называется «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»...

Барон. И еще — «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»...

Татарин. Коран называет... ваш Коран должна быть закон... Душа — должен быть. Коран... да!

Клещ (*пробуя гармонию*). Шипит, дьявол!.. А князь

верно говорит... надо жить — по закону... по Евангелию...

С а т и н. Живи...

Б а р о н. Попробуй...

Т а т а р и н. Магомет дал Коран, сказал: «Вот — закон! Делай, как написано тут!» Потом придет время — Коран будет мало... время даст свой закон, новый... Всякое время дает свой закон...

С а т и н. Ну да... пришло время и дало «Уложение о наказаниях»... Крепкий закон... не скоро износишь!

Н а с т я (*ударяет стаканом по столу*). И чего... зачем я живу здесь... с вами? Уйду... пойду куда-нибудь... на край света!

Б а р о н. Без башмаков, леди?

Н а с т я. Голая! На четвереньках поползу!

Б а р о н. Это будет картинно, леди... если на четвереньках...

Н а с т я. Да, и поползу! Только бы мне не видеть твоей рожи... Ах, опротивело мне все!. Вся жизнь... все люди!

С а т и н. Пойдешь,— так захвати с собой Актера... Он туда же собирается... ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для органонов...

А к т е р (*высовываясь с печи*). Орга-ни-змо-в, дурак!

С а т и н. Для органонов, отравленных алкоголем...

А к т е р. Да! Он — уйдет! Он уйдет... увидите!

Б а р о н. Кто — он, сэр?

А к т е р. Я!

Б а р о н. Merci, служитель богини... как ее? Богиня драм, трагедии... как ее звали?

А к т е р. Муза, болван! Не богиня, а — муза!

С а т и н. Лахеза... Гера... Афродита... Атропа... черт их разберет! Это всё старик... навинтил Актера... понимаешь, Барон?

Б а р о н. Старик — глуп...

А к т е р. Невежды! Дикари! Мель-по-ме-на! Люди без сердца! Вы увидите — он уйдет! «Обжирайтесь, мрачные умы»... стихотворение Беранжера... да! Он — найдет себе место... где нет... нет...

Б а р о н. Ничего нет, сэр?

А к т е р. Да! Ничего! «Яма эта... будет мне могилой... умираю, немощный и хилый!» Зачем вы живете? Зачем?

Б а р о н. Ты! Кин, или гений и беспутство! Не ори!

А к т е р. Врешь! Буду орать!

Н а с т я (*поднимая голову со стола, взмахивает руками*). Кричи! Пусть слушают!

Б а р о н. Какой смысл, леди?

С а т и н. Оставь их, Барон! К черту!.. Пускай кричат... разбивают себе головы... пускай! Смысл тут есть!.. Не мешай человеку, как говорил старик... Да, это он, старая дрожжа, проквасил нам сожителей...

К л е щ. Поманил их куда-то... а сам — дорогу не сказал...

Б а р о н. Старик — шарлатан...

Н а с т я. Врешь! Ты сам — шарлатан!

Б а р о н. Цыц, леди!

К л е щ. Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал... так и надо! Верно — какая тут правда? И без нее — дышать нечем... Вон князь... руку-то раздавил на работе... отпилить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда!

С а т и н (*ударяя кулаком по столу*). Молчать! Вы — все — скоты! Дубье... молчать о старике! (*Спокойнее.*) Ты, Барон,— всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врешь! Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я — знаю! я — читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками — тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие — прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого — зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека!

Б а р о н. Браво! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный человек!

С а т и н. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но — еще кое-что знаю! Старик? Он — умница!.. Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем, за его здоровье! Наливай...

Настя наливает стакан пива и дает Сатину.

С а т и н (*усмехаясь*). Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами. Однажды я спросил его: «Дед! зачем живут люди?..» (*Стараясь говорить голосом Луки и подражая его манерам.*) «А — для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и всё — хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля,— всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и прочие рабочие люди... и все крестьяне... и даже господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сту лет... а может, и больше — для лучшего человека живут!»

Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. Актер, высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары.

С а т и н. «Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же деток надо уважать... ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!» (*Смеется тихо.*)

Пауза.

Б а р о н (*задумчиво*). Мм-да... для лучшего? Это... напоминает наше семейство... Старая фамилия... времен Екатерины... дворяне... вояки!.. выходцы из Франции... Служили, поднимались всё выше... При Николае Первом дед мой, Густав Дебиль... занимал высокий пост... Богатство... сотни крепостных... лошади... повара...

Н а с т я. Врешь! Не было этого!

Б а р о н (*вскакивая*). Что-о? Н-ну... дальше?!

Н а с т я. Не было этого!

Б а р о н (*кричит*). Дом в Москве! Дом в Петербурге! Кареты... кареты с гербами!

Клещ берет гармонию, встает и отходит в сторону, откуда наблюдает за сценой.

Настя. Не было!
Барон. Цыц! Я говорю... десятки лакеев!..
Настя (*с наслаждением*). Н-не было!
Барон. Убью!
Настя (*приготовляясь бежать*). Не было карет!
Сатин. Брось, Настёнка! Не зли его...
Барон. Подожди... ты, дрянь! Дед мой...
Настя. Не было деда! Ничего не было!

Сатин хохочет.

Барон (*усталый от гнева, садится на скамью*). Сатин, скажи ей... шлюхе... Ты — тоже смеешься? Ты... тоже — не веришь? (*Кричит с отчаяньем, ударяя кулаками по столу*). Было, черт вас возьми!

Настя (*торжествуя*). А-а, взвыл? Понял, каково человеку, когда ему не верят?

Клещ (*возвращаясь к столу*). Я думал — драка будет...

Татарин. А-ах, глупы люди! Очень плохо!

Барон. Я... не могу позволить издеваться надо мной! У меня — доказательства есть... документы, дьявол!

Сатин. Брось их! И забудь о каретах дедушки... в карете прошлого — никуда не уедешь...

Барон. Как она смеет, однако!

Настя. Ска-ажите! Как смею!..

Сатин. Видишь — смеет! Чем она хуже тебя? Хотя у нее в прошлом, уж наверное, не было не только карет и — дедушки, а даже отца с матерью...

Барон (*успокаиваясь*). Черт тебя возьми... ты... умеешь рассуждать спокойно... А у меня... кажется, нет характера...

Сатин. Заведи. Вещь — полезная...

Пауза.

Настя! Ты ходишь в больницу?

Настя. Зачем?

Сатин. К Наташе?

Настя. Хватился! Она — давно вышла... вышла и — пропала! Нигде ее нет...

Сатин. Значит — вся вышла...

Клещ. Интересно — кто кого крепче всадит? Васька — Василису, или она его?

Настя. Василиса — вывернется. Она — хитрая. А Ваську — в каторгу пошлют...

Сатин. За убийство в драке — только тюрьма...

Настя. Жаль. В каторгу — лучше бы... Всех бы вас... в каторгу... смести бы вас, как сор... куда-нибудь в яму!

Сатин (*удивленно*). Что ты? Сбесилась?

Барон. Вот я ей в ухо дам... за дерзости!

Настя. Попробуй! Тронь!

Барон. Я — попробую!

Сатин. Брось! Не тронь... не обижай человека! У меня из головы вон не идет... этот старик! (*Хохочет.*) Не обижай человека!.. А если меня однажды обидели и — на всю жизнь сразу! Как быть? Простить? Ничего. Никому...

Барон (*Насте*). Ты должна понимать, что я — не чета тебе! Ты... мразь!

Настя. Ах ты, несчастный! Ведь ты... ты мной живешь, как червь — яблоком!

Дружный взрыв хохота мужчин.

Клещ. Ах... дура! Яблочко!

Барон. Нельзя... сердиться... вот идиотка!

Настя. Смеетесь? Врете! Вам — не смешно!

Актер (*мрачно*). Катай их!

Настя. Кабы я... могла! я бы вас (*берет со стола чашку и бросает на пол*) — вот как!

Татарин. Зачем посуда бить? Э-э... болванка!..

Барон (*вставая*). Нет, я ее сейчас.. научу манерам!

Настя (*убегая*). Черт вас возьми!

Сатин (*вслед ей*). Эй! Полно! Кого ты пугаешь? В чем дело наконец?

Настя. Волки! (*Убегает.*) Чтоб вам издохнуть! Волки!

Актер (*мрачно*). Аминь!

Татарин. У-у! Злой баба — русский баба! Дерзкий... вольна! Татарка — нет! Татарка — закон знает!

Клещ. Трепку ей надо дать...

Барон. М-мерзавка!

Клещ (*пробуя гармонию*). Готова! А хозяина ее — все нет... Горит парнишка...

Сатин. Теперь — выпей!

Клещ. Спасибо! Да и на боковую пора...

Сатин. Привыкаешь к нам?

К л е щ (*выпив, отходит в угол к нарам*). Ничего... Везде — люди... Сначала — не видишь этого... потом — поглядишь, окажется, все люди... ничего!

Татарин расстилает что-то на нарах, становится на колени и — молится.

Б а р о н (*указывая Сатину на Татарина*). Гляди!

С а т и н. Оставь! Он — хороший парень... не мешай! (*Хохочет.*) Я сегодня — добрый... черт знает почему!..

Б а р о н. Ты всегда добрый, когда выпьешь... И умный...

С а т и н. Когда я пьян... мне все нравится. Н-да... Он — молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — человек за все платит сам, и потому он — свободен!.. Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет!— это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! (*Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.*) Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, Барон! (*Встает.*) Хорошо это... чувствовать себя человеком!.. Я — арестант, убийца, шулер... ну, да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика... и сторонятся, и оглядываются... и часто говорят мне — «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (*Хохочет.*) Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми... Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!..

Б а р о н (*качая головой*). Ты — рассуждаешь... Это — хорошо... это, должно быть, греет сердце... У меня — нет этого... я — не умею! (*Оглядывается и — тихо, осторожно.*) Я, брат, боюсь... иногда. Понимаешь? Трушу... Потому — что же дальше?

С а т и н (*ходит*). Пустяки! Кого бояться человеку?

Б а р о н. Знаешь... с той поры, как я помню себя... у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего

не понимал я. Мне... как-то неловко... мне кажется, что я всю жизнь только переодевался... а зачем? Не понимаю! Учился — носил мундир дворянского института... а чему учился? Не помню... Женился — одел фрак, потом — халат... а жену взял скверную и — зачем? Не понимаю... Прожил все, что было,— носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки... а как разорился? Не заметил... Служил в казенной палате... мундир, фуражка с кокардой... растратил казенные деньги,— надели на меня арестантский халат... потом — одел вот это... И все... как во сне... а? Это... смешно?

Сатин. Не очень... Скорее — глупо...

Барон. Да... и я думаю, что глупо... А... ведь зачем-нибудь я родился... а?

Сатин (*смеясь*). Вероятно... Человек рождается для лучшего! (*Кивая головой.*) Так... хорошо!

Барон. Эта... Настька!.. Убежала... куда? Пойду, посмотрю... где она? Все-таки... она... (*Уходит.*)

Пауза.

Актер. Татарин!

Пауза

Князь!

Татарин поворачивает голову.

Актер. За меня... помолись...

Татарин. Чего?

Актер. (*тише*). Помолись... за меня!..

Татарин (*помолчав*). Сам молись...

Актер (*быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает водки, пьет и — почти бежит — в сени*). Ушел!

Сатин. Эй ты, сикамбр! Куда? (*Свистит*).

Входят — Медведев в женской ватной кофте и Бубнов; оба — выпивши, но не очень. В одной руке Бубнова — связка кренделей, в другой — несколько штук воблы, под мышкой — бутылка водки, в кармане пиджака — другая

Медведев. Верблюд — он вроде... осла! Только без ушей...

Бубнов. Брось! Ты сам — вроде осла.

М е д в е д е в. Ушей вовсе нет у верблюда... он — ноздрей слышит...

Б у б н о в (*Сатину*). Друг! Я тебя искал по всем трактирам-кабакам! Возьми бутылку, у меня все руки заняты!

С а т и н. А ты — положи крендели на стол — одна рука освободится...

Б у б н о в. Верно! Ах ты... Бутарь, гляди! Вот он, а? Умница!

М е д в е д е в. Жулики — все умные... я знаю! Им без ума — невозможно. Хороший человек, он — и глупый хорош, а плохой — обязательно должен иметь ум. Но насчет верблюда ты — неверно... он — животная ездовая... рогов у него нет... и зубов нет...

Б у б н о в. Где — народ? Отчего здесь людей нет? Эй, вылезай... я — угощаю! Кто в углу?

С а т и н. Скоро ты пропьешься? Чучело!

Б у б н о в. Я — скоро. В этот раз капитал я накопил — коротенький... Зоб! Где Зоб?

К л е щ (*подходя к столу*). Нет его...

Б у б н о в. У-у-ррр! Барбос! Бррю, брлю, брлю! Индюк! Не лай, не ворчи! Пей, гуляй, нос не вешай... Я — всех угощаю! Я, брат, угощать люблю! Кабы я был богатый... я бы... бесплатный трактир устроил! Ей-богу! С музыкой и чтобы хор певцов... Приходи, пей, ешь, слушай песни... отводи душу! Бедняк-человек... айда ко мне в бесплатный трактир! Сатин! Я бы... тебя бы... бери половину всех моих капиталов! Вот как!

С а т и н. Ты мне сейчас отдай все...

Б у б н о в. Весь капитал? Сейчас? На! Вот — рубль... вот еще... двугривенный... пятаки... семишники... все!

С а т и н. Ну и ладно! У меня — целее будет... Сыграю я на них...

М е д в е д е в. Я — свидетель... отданы деньги на сохранение... числом — сколько?

Б у б н о в. Ты? Ты — верблюд... Нам свидетелей не надо...

А л е ш к а (*входит босый*). Братцы! Я ноги промочил!

Б у б н о в. Иди — промочи горло... Только и всего! Милый ты... поешь ты и играешь... очень это хорошо! А — пьешь — напрасно! Это, брат, вредно... пить — вредно!..

А л е ш к а. По тебе вижу! Ты — только пьяный и по-

хож на человека... Клещ! Гармошку — починил? (*Поет, приплясывая.*)

Эх, кабы мое рыло
Не красиво было,
Так меня бы кума моя
Вовсе не любила!

Озяб я, братцы! Х-холодно!

М е д в е д е в. М-м... а если спросить — кто такая кума?

Б у б н о в. Отстань! Ты, брат, теперь — тю-тю! Ты уж не бутошник... кончено! И не бутошник, и не дядя...

А л е ш к а. А просто — теткин муж!

Б у б н о в. Одна твоя племянница — в тюрьме, другая — помирает...

М е д в е д е в (*гордо*). Врешь! Она — не помирает: она у меня без вести пропала!

Сатин хохочет.

Б у б н о в. Все равно, брат! Человек без племянниц — не дядя!

А л е ш к а. Ваше превосходительство! Отставной козы барабанщик!

У кумы — есть деньги,
У меня — ни гроша!
Зато я веселый мальчик,
Зато я — хороший!

Холодно!

Входит К р и в о й З о б; потом — до конца акта — еще н е с к о л ь к о ф и г у р м у ж ч и н и ж е н щ и н. Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат.

К р и в о й З о б. Бубнов! Ты чего сбежал?

Б у б н о в. Иди сюда! Садись... Запоем мы, брат! Любимую мою... а?

Т а т а р и н. Ночь — спать надо! Песня петь днем надо!

С а т и н. Ну, ничего, князь! Ты — иди сюда!

Т а т а р и н. Как — ничего? Шум будет... когда песня поют, шум бывает...

Б у б н о в (*идя к нему*). Князь! Что — рука? Отрезали тебе руку?

Т а т а р и н. Зачем? Погодим... может — не надо резать... Рука — не железный, резать — недолго...

К р и в о й З о б. Яман твое дело, Асанка! Без руки ты — никуда не годишься! Наш брат по рукам да по спине ценится... Нет руки — и человека нет! Табак твое дело!.. Иди водку пить... больше никаких!

К в а ш н я (*входит*). Ах, жители вы мои милые! На дворе-то, на дворе-то! Холод, слякоть... Бутошник мой здесь? Бутарь!

М е д в е д е в. Я!

К в а ш н я. Опять мою кофту таскаешь? И как будто ты... немножко того, а? Ты что же это?

М е д в е д е в. По случаю именин... Бубнов... и — холодно... слякоть!

К в а ш н я. Ты гляди у меня... слякоть! Не балуй... Иди-ка спать...

М е д в е д е в (*уходит в кухню*). Спать — я могу... я хочу... пора!

С а т и н. Ты чего... больно строга с ним?

К в а ш н я. Нельзя, дружок, иначе. Подобного мужчину надо в строгости держать. Я его в сожители взяла,— думала, польза мне от него будет... как он — человек военный, а вы — люди буйные... мое же дело — бабье... А он — пить! Это мне ни к чему!

С а т и н. Плохо ты выбрала помощника...

К в а ш н я. Нет — лучше-то... Ты со мной жить не захочешь... ты вон какой! А и станешь жить со мной — не больше недели сроку... проиграешь меня в карты со всей моей требухой!

С а т и н (*хохочет*). Это верно, хозяйка! Проиграю...

К в а ш н я. То-то! Алешка!

А л е ш к а. Вот он — я!

К в а ш н я. Ты — что про меня болтаешь?

А л е ш к а. Я? Все! Все, по совести. Вот, говорю, баба! Удивительная! Мяса, жиру, кости — десять пудов, а мозгу — золотника нету!

К в а ш н я. Ну, это ты врешь! Мозг у меня даже очень есть... Нет, ты зачем говоришь, что я бутошника моего бью?

А л е ш к а. Я думал, ты его била, когда за волосы таскала...

К в а ш н я (*смеясь*). Дурак! А ты — будто не видишь. Зачем сор из избы выносить?.. И, опять же, обидно ему... Он от твоего разговору пить начал...

А л е ш к а. Стало быть, правду говорят, что и курица пьет!

Сатин, Клещ — хохочут.

К в а ш н я. У, зубоскал! И что ты за человек, Алешка?

А л е ш к а. Самый первый сорт человек! На все руки! Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет!

Б у б н о в (*около нар Татарина*). Идем! Все равно — спать не дадим! Петь будем... всю ночь! Зоб!

К р и в о й З о б. Петь? Можно...

А л е ш к а. А я — подыграю!

С а т и н. Послушаем!

Т а т а р и н (*улыбаясь*). Ну, шайтан Бубна... подноси вина! Пить будим, гулять будим, смерть пришол — помирать будим!

Б у б н о в. Наливай ему, Сатин! Зоб, садись! Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот я — выпил и — рад! Зоб!.. Затягивай... любимую! Запою... заплачу!..

К р и в о й З о б (*запевает*).

Со-олнце всходит и захо-оди-ит...

Б у б н о в (*подхватывая*).

А-а в тюрьме моей темно-о!

Дверь быстро отворяется.

Б а р о н (*стоя на пороге, кричит*). Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!

Молчание. Все смотрят на Барона. Из-за его спины появляется Н а с т я и медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу.

С а т и н (*негромко*). Эх... испортил песню... дур-рак!

З а н а в е с



СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.

Андерсен

I

В Неаполе забастовали служащие трамвая: во всю длину Ривьеры Кияия вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов — все веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Над их головами, над решеткой сада сверкает в воздухе тонкая, как шпага, струя фонтана, их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного города, и все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком.

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки — полуголые дети неаполитанских улиц — скачут, точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом.

Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орган; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулкими ударами,— точно бубен гудит.

Забастовщики урюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят, и это еще более раздражает толпу, но среди нее есть и философы: спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки:

— Э, синьор! А как быть, если не хватает детям на макароны?

Группами, по два и по три, стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движения экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров, с коротенькими и легкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.

Перебранка, насмешки, упреки и увещевания — все вдруг затихает, над толпой проносится какое-то новое, словно примиряющее людей веяние,— забастовщики смотрят угрюмее и в то же время сдвигаются плотнее, в толпе раздаются возгласы:

— Солдаты!

Слышен насмешливый и ликующий свист по адресу забастовщиков, раздаются крики приветствий, а какой-то толстый человек, в легкой серой паре и в панаме, начинает приплясывать, топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки,— они стали еще угрюмее и в ответ на возгласы толпы — сурово огрызаются, заставляя уступать им дорогу. Становится тише.

Легким танцующим шагом с набережной Санта Лючия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер, с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом, рядом с ним, подпрыгивая, бежит тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами.

Толпа отхлынула от вагонов — солдаты, точно серые бусы, рассыпаются вдоль их, останавливаясь у площадок, а на площадках стоят забастовщики.

Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат:

— Последний раз... Ultima volta![1] Слышите?

[1] Последний раз.— *Ред.*

Офицер скучно крутит усы, наклонив голову, к нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь, и — раздались громкие слова команды.

Тогда солдаты стали прыгать на площадки вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами.

Толпе показалось это смешным — вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас — погас, и люди молча, с вытянутыми, посеревшими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжко отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому.

И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый, с лицом солдата, он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша, вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди...

Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие мадонну, некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и, как резиновые мячи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки.

Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом, офицер смотрит на него и пожимает плечами,— он должен заместить вагоновожатых своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовавшими.

Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров,— вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их.

Началась борьба, возня, но — вдруг вся серая, пыльная толпа зрителей покачнулась, взревела, взвыла, хлынула на рельсы,— человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом.

А за ним на рельсы стали падать — точно им ноги подрезали — какие-то веселые шумные люди,— люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь строили друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой.

А на рельсы все сыпались люди, женщины бросали свои корзины и какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком, точно озябшие собаки, перекатывались с боку на бок, пачкаясь в пыли, какие-то прилично одетые люди.

Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груду тел под колесами и — хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь, теперь — они не похожи на жестяные заводные игрушки.

Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на площадках стояли, весело ухмыляясь, победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая:

— Бильетти?!

Люди, протягивая им красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.

II

В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа — преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы — члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале — фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и — победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами:

«Побеждают только верующие».

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает, точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики — на площади тихо, душно и все облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов — женщины, с цве-

тами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив — толпа дрогнула, точно черные птицы, взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

— Кого встречают?

— Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, — мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд — очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьезные, но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди,— по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает веселою рябью улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, пред ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей,— они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад и вдруг — как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди, крикнули:

— Viva Italia![1]

— Да здравствует молодая Парма!— гремит толпа, опрокидываясь на них.

— Evviva Garibaldi![2]— кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

Все стало праздничным, все ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

---

[1] Да здравствует Италия!— *Ред.*

[2] Да здравствует Гарибальди!— *Ред.*

Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и приветствуя, и все гремит в воздухе непрерывный мощный крик:

— Viva il Socialismo![1]

— Evviva Italia!

Почти все дети расхватаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу:

— Вы берете двоих, Аннита?

— Да. Вы тоже?

— И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

— В наше время об этом не думали! — говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

— А — так просто...

— Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидев около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ощетинился, — они смотрели на него серьезно, — нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахмурились, отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он — встал, поправил шляпу и, решив, что сделал все что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь.

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и — плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

Приплясывая, идет черноволосая генуэзка, ведя за руку человека лет семи от роду, в деревянных башма-

[1] Да здравствует социализм! — *Ред.*

ках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она все падает ему на лицо, женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув голову,— весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

— Понимаешь,— если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

И густо, громко, торжествующе хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

— Evviva Parma-a![1]

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа факино и над ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.

III

Душный полдень, где-то только что бухнула пушка — мягкий, странный звук, точно лопнуло огромное, гнилое яйцо. В воздухе, потрясенном взрывом, едкие запахи города стали ощутимее, острей пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретою пылью.

Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и, снова, вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой.

Город — празднично ярок и пестр, как богато расшитая риза священника; в его страстных криках, трепете и стонах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город — храм, возведенный трудами людей, всякая работа — молитва Будущему.

Солнце — в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень

---

[1] Да здравствует Парма!— *Ред.*

города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья — солнце.

Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь, бегут обедать, многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают в море,— смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина.

Шелковые всплески воды, радостные крики освеженного тела, громкий смех и визг ребятишек — все это — и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей,— вздымается к солнцу, как веселая жертва ему.

На тротуаре в тени большого дома сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков,— серые, сухие и крепкие камни. Седой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищурив хищный, зоркий глаз, режет ножом длинный хлеб, следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязаный колпак с кистью, она падает ему на лицо, старик встряхивает большой, апостольской головою, и его длинный нос попугая сопит, раздуваются ноздри.

Рядом с ним на теплых камнях лежит, вверх грудью, бронзовый и черный, точно жук, молодец; на лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поет что-то вполголоса,— точно сквозь сон. А еще двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома, и дремлют.

К ним идет мальчик с фьяской вина в руке и небольшим узлом в другой,— идет, вскинув голову, и кричит звонко, точно птица, не видя, что сквозь солому, которой обернута бутылка, падают на землю, кроваво сверкая, точно рубины, тяжелые капли густого вина.

Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, тревожно махая рукою, зовет мальчика:

— Скорее, слепой! Смотри — вино!

Мальчик приподнял фьяску в уровень с лицом, ахнул и быстро подбежал к мостовщикам — они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фьяску, а мальчишка стрелою умчался куда-то во двор и столь же быстро выскочил оттуда с большим желтым блюдом в руках.

Блюдо поставили на землю, и старик внимательно

льет в него красную живую струю,— четыре пары глаз любуются игрою вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивают.

Идет женщина в бледно-голубом платье, на ее черных волосах золотистый кружевной шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку; размахивая правой рукой с двумя цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая:

— О, ма, о, ма, о, миа ма-а...

Остановясь за спиною старого мостовщика, замолчала, приподнялась на носки и через плечо старика серьезно смотрит, как течет вино в желтую чашу, течет и звучит, точно продолжая ее песню.

Девочка освободила руку из руки женщины, оборвала лепестки цветов и, высоко подняв ручонку, темную, точно крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина.

Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы — девочка била в ладоши и смеялась, притопывая маленькими ногами, сконфуженная мать ловила ее руку, что-то говоря высоким голосом, мальчишка — хохотал, перегибаясь, а в чаше, по темному вину, точно розовые лодочки, плавали лепестки цветов.

Старик достал откуда-то стакан, зачерпнул вина вместе с цветами, тяжело поднялся на колени и, поднося стакан ко рту, успокоительно, серьезно сказал:

— Ничего, синьора! Дар ребенка — дар бога... Ваше здоровье, красивая синьора, и твое тоже, дитя! Будь красивой, как мать, и вдвое счастлива...

Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал темную влагу.

Мать, улыбаясь и кланяясь, пошла прочь, ведя девочку за руку, а та качалась, шаркая ножонками по камню, и кричала, щурясь:

— О, ма-а... о, миа ма-а...

Мостовщики, устало поворачивая головы, смотрят на вино и вслед девочке, смотрят и, улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу.

А в чаше, на поверхности темно-красного вина, качаются алые лепестки цветов.

Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки.

IV

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и все вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

— Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле.

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

— Э, всякая работа трудна до времени, пока ее не полюбишь, а потом — она возбуждает и становится легче. Все-таки — да, было трудно!

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

— Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать — не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану,— земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости,— это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своею кровью, увидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень,— забываешь о фантазиях. Там все было фантастично, дорогой сеньор; мы, люди,— такие маленькие, и она, эта гора,— до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, ма-



леньких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли,— надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

— Человек — умеет работать!— продолжал он с гордостью.— О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать,— непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает все, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

— «Прорезать гору насквозь из страны в страну,— говорил он,— это против бога, разделившего землю стенами гор,— вы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее! Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

— «Дети бога»,— это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек,— «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и, когда коснемся его,— она сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли — огненное, это знают все! Возделывать землю — это так, помогать ее родам — нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать...»

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

— Не один он думал так, и это верно было: чем дальше — тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И все сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

— «Разве я не прав?» — говорил отец, со страхом в глазах и кашляя все чаще, глуше...— «Разве я не прав?— говорил он.— Это непобедимо, земля!»

— И наконец — лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спо-

рил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

— «Моя работа — кончена, Паоло,— сказал он мне однажды ночью.— Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

— Взял за руку меня, привлек к себе и говорит — святая правда, синьор!— «Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся — ты веришь в это?» Я — верил. «Хорошо, сын мой! Так и надо: все надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди — приди ко мне на могилу и скажи: отец — сделано! Чтобы я знал!»

— Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

— Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца — это был безумный день, синьор! О, когда мы услыхали там, под землею, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землею — вы поймите, синьор,— под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

— Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днем они становились все понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей — мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний,— это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывался долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человечьими глазами, тихо и радостно продолжал:

— А когда, наконец, рушился пласт породы, и в от-

верстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости,— о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую — нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю — в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

— Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно,— хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слушать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал,— не так ли?

— Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал — как он желал этого:

— «Отец — сделано!— сказал я.— Люди победили. Сделано, отец!»

V

Молодой музыкант, пристально глядя вдаль черными глазами, тихонько говорил:

— Музыка, которую я хотел бы написать, такова: «По дороге к большому городу не спеша идет мальчик.

Город лег на землю тяжелыми грудами зданий, прижался к ней и стонет и глухо ворчит. Издали кажется, как будто он — только что разрушен пожаром, ибо над ним еще не угасло кровавое пламя заката и кресты его церквей, вершины башен, флюгера — раскалены докрасна.

Края черных туч тоже в огне, на красных пятнах зловеще рисуются угловатые куски огромных строений; там и тут, точно раны, сверкают стекла; разрушенный, измученный город — место неутомимого боя за счастье — истекает кровью, и она дымится, горячая, желтоватым удушливым дымом.

Мальчик идет в сумраке поля по широкой серой ленте дороги; прямая, точно шпага, она вонзается в бок города, неуклонно направленная могучей незримой рукою. Деревья по сторонам ее — точно незажженные факелы, их черные большие кисти неподвижны над молчаливою, чего-то ожидающей землей.

Небо покрыто облаками, звезд не видно, теней нет; поздний вечер печален и тих, только медленные и легкие шаги мальчика едва слышны в сумеречном, утомленном молчании засыпающих полей.

А вслед мальчику бесшумно идет ночь, закрывая черною мантией забвения даль, откуда он вышел.

Сгущаясь, сумрак прячет в теплом объятии своем покорно приникшие к земле белые и красные дома, сиротливо разбросанные по холмам. Сады, деревья, трубы — все вокруг чернеет, исчезает, раздавленное тьмою ночи,— точно пугаясь маленькой фигурки с палкой в руке, прячась от нее или играя с нею.

Он же идет молча и спокойно смотрит на город, не ускоряя шага, одинокий, маленький, словно несущий что-то необходимое, давно ожидаемое всеми там, в городе, где уже тревожно загораются встречу ему голубые, желтые и красные огни.

Закат — погас. Расплавились, исчезли кресты, флюгера и железные вершины башен, город стал ниже, меньше и плотнее прижался к немой земле.

Над ним вспыхнуло и растет опаловое облако, фосфорический желтоватый туман неравномерно лег на серую сеть тесно сомкнутых зданий. Теперь город не кажется разрушенным огнем и облитым кровью,— неровные линии крыш и стен напоминают что-то волшебное, но — недостроенное, неоконченное, как будто тот, кто затеял этот великий город для людей, устал и спит, разочаровался и, бросив все,— ушел или потерял веру и — умер.

А город — живет и охвачен томительным желанием видеть себя красиво и гордо поднятым к солнцу. Он стонет в бреду многогранных желаний счастья, его волнует страстная воля к жизни, и в темное молчание полей, окруживших его, текут тихие ручьи приглушенных звуков, а черная чаша неба все полнее и полней наливается мутным тоскующим светом.

Мальчик остановился, взмахнул головой, высоко подняв брови, спокойно, смелыми глазами, смотрит вперед и, покачнувшись, пошел быстрее.

И ночь, следуя за ним, тихо, ласковым голосом матери сказала ему:

— Пора, мальчик, иди! Они — ждут...»

...Это, конечно, невозможно написать!— задумчиво улыбаясь, сказал молодой музыкант.

Потом, помолчав, сложил руки ладонями и воскликнул, негромко, тревожно и любовно:

— Пречистая дева Мария! Что его встретит?

VI

В синем небе полудня тает солнце, обливая воду и землю жаркими лучами разных красок. Море дремлет и дышит опаловым туманом, синеватая вода блестит сталью, крепкий запах морской соли густо льется на берег.

Звенят волны, лениво оплескивая груду серых камней, перекатываются через их ребра, шуршат мелкою галькой; гребни волн невысоки, прозрачны, как стекло, и пены нет на них.

Гора окутана лиловой дымкой зноя, серые листья олив на солнце — как старое серебро, на террасах садов, одевших гору, в темном бархате зелени сверкает золото лимонов, апельсинов, ярко улыбаются алые цветы гранат, и всюду цветы, цветы.

Любит солнце эту землю...

В камнях два рыбака: один — старик, в соломенной шляпе, с толстым лицом в седой щетине на щеках, губах и подбородке, глаза у него заплыли жиром, нос красный, руки бронзовые от загара. Высунув далеко в море гибкое удилище, он сидит на камне, свесив волосатые ноги в зеленую воду, волна, подпрыгнув, касается их, с темных пальцев падают в море тяжелые светлые капли.

За спиной старика стоит, опираясь локтем о камень, черноглазый смугляк, стройный и тонкий, в красном колпаке на голове, в белой фуфайке на выпуклой груди и в синих штанах, засученных по колени. Он щиплет пальцами правой руки усы и задумчиво смотрит в даль моря, где качаются черные полоски рыбацких лодок, а далеко за ними чуть виден белый парус, неподвижно тающий в зное, точно облако.

— Богатая синьора?— сиплым голосом спрашивает старик, безуспешно подсекая.

Юноша тихо ответил:

— Мне кажется — да! Такая брошь, с большим, синим камнем, серьги, и много колец, и часы... Думаю — американка...

— И красива?

— О да! Очень тонкая — правда, но такие глаза, как цветы, и — знаешь — маленький, немного открытый рот...

— Это — рот честной женщины и такой, что любит однажды в жизни.

— Так и мне кажется...

Старик взмахнул удилищем, посмотрел, прищурив глаз, на пустой крючок и заворчал, усмехаясь:

— Рыба не глупее нас, нет...

— Кто же ловит в полдень? — спросил юноша, опускаясь на корточки.

— Я, — сказал старик, насаживая наживу.

И, закинув лесу далеко в море, спросил:

— Катались до утра, ты сказал?

— Уже всходило солнце, когда мы вышли на берег, — охотно ответил молодой, глубоко вздохнув.

— Двадцать лир?

— Да.

— Она могла дать больше.

— Она много могла дать...

— О чем же говорил ты с нею?

Юноша печально и с досадой опустил голову.

— Она знает не более десяти слов, и мы молчали...

— Истинная любовь, — сказал старик, оборотясь и обнажая широкой улыбкой белые зубы, — бьет в сердце, как молния, и нема, как молния, — знаешь?

Подняв большой камень, юноша хотел бросить его в море, размахнулся и — бросил назад, через плечо, говоря:

— Иногда совсем не понимаешь — зачем нужны людям разные языки?

— Говорят — этого не будет когда-то! — подумав, заметил старик.

На синей скатерти моря, в молочном тумане дали, скользит бесшумно, точно тень облака, белый пароход.

— В Сицилию! — сказал старик, кивая головой.

Достал откуда-то длинную и неровную черную сигару, разломил ее и, подавая через плечо одну половинку юноше, спросил:

— Что же ты думал, сидя с нею?

— Человек всегда думает о счастье...

— Оттого он и глуп всегда! — спокойно вставил старик.

Закурили. Синие струйки дыма потянулись над камнями в безветренном воздухе, полном сытного запаха плодородной земли и ласковой воды.

— Я ей пел, а она улыбалась...
— И?
— Но ты знаешь — я плохо пою.
— Да.
— Потом я опустил весла и смотрел на нее.
— Эге?
— Смотрел, говоря про себя: «Вот я, молодой и сильный, а тебе — скучно, полюби меня и дай мне жить хорошей жизнью!..»
— Ей — скучно?
— Кто ж поедет в чужую страну, если он не беден и ему весело?
— Браво!
— «Обещаю именем девы Марии,— думал я,— что буду добр с тобою и всем людям будет хорошо около нас...»
— Экко!— воскликнул старик, вскинув большую голову, и засмеялся басовитым смехом.
— «Буду верен тебе всегда...»
— Гм...
— Или — думал: «Поживем немного, я буду тебя любить, сколько ты захочешь, а потом ты дашь мне денег на лодку, снасти и на кусок земли, я ворочусь тогда в свой добрый край и всегда, всю жизнь буду хорошо помнить о тебе...»
— Это — не глупо...
— Потом, к утру — думал уже — что, пожалуй, ничего не надобно мне, не нужно денег, а только ее, хотя бы на одну эту ночь...
— Так — проще...
— На одну только ночь!..
— Экко!— сказал старик.
— Мне кажется, дядя Пьетро, что маленькое счастье — всегда честнее...

Старик молчал, поджав толстые, бритые губы и пристально глядя в зеленую воду, а юноша тихонько и печально запел.

— О солнце мое...
— Да, да,— вдруг сказал старик, покачивая головой,— маленькое счастье — честнее, а большое — лучше... Бедные люди — красивее, а богатые — сильнее... И так все... все так!

Шуршат и плещут волны. Синие струйки дыма плавают над головами людей, как нимбы. Юноша встал на ноги и тихо поет, держа сигару в углу рта. Он присло-

нился плечом к серому боку камня, скрестил руки на груди и смотрит в даль моря большими глазами мечтателя.

А старик — неподвижен, он опустил голову и, кажется, дремлет.

Лиловые тени в горах становятся гуще и ласковее.

— О солнце мое! — поет юноша...

Родилось солнце
Еще прекрасней,
Еще прекраснее, чем ты!
О солнце, солнце!
Свети на грудь мою!..

Звенят веселые зеленые волны.

VII

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внес к нам маленького кривого старика.

— Очень стар! — в голос сказали они, добродушно улыбаясь.

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил:

— Позволите?

Ему дали место, он сел, вздохнул облегченно и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом.

— Далеко, дед? — спросил мой товарищ.

— О, только три станции! — охотно ответил кривой. — На свадьбу внука еду...

И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день:

— Я — лигуриец, мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь, считая внуков, это второй женится — хорошо, не правда ли?

И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом, он тихонько засмеялся, говоря:

— Вот, сколько дал я людей стране и королю!

— Как пропал глаз? О, это было давно, еще маль-

чишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля, просит большого ухода: много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз, я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня — это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили теплого хлеба, но глаз помер!

Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело.

— Тогда не было так много докторов и люди жили глупее,— о да! Может быть, они добрей были? А?

Теперь его одноглазое кожаное лицо, все в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и ликующим.

— Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?

Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то.

— Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях...

— Когда умер отец — мне было тринадцать лет,— вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе — это все, что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу... Было трудно, но молодость не боится труда — так?

— В девятнадцать лет встретилась девушка, которую мне суждено было любить,— такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и, как я,— работала где могла. Не очень красивая, но — добрая и умница. И хороший голос — о! Пела она, как артистка, а это уже — богатство! И я тоже не худо пел.

— «Женимся?» — сказал я ей.

— «Это будет смешно, кривой! — ответила она невесело.— Ни у тебя, ни у меня нет ничего — как будем жить?»

— Святая правда: ни у меня, ни у нее — ничего! Но — что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви: я настаивал и победил.

— «Да, пожалуй, ты прав,— сказала наконец Ида.— Если святая матерь помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!»

— Мы пошли к священнику.

— «Это — безумие!— говорил священник.— Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе — дорого заплатите за вашу слабость!»

— Молодежь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость — упряма и по-своему — умна! Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь.

— «Мы уйдем в поле!— сказала Ида.— Почему это плохо? Матерь божия везде одинаково добра к людям».

— Так мы и решили: земля — постель наша, и пусть оденет нас небо!

— Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания,— это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром, за день до свадьбы, старик Джиованни, у которого я много работал, сказал мне — так, знаете, сквозь зубы — ведь речь шла о пустяках!

— «Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, все же нужно хорошо убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нем».

— Вот у нас и дом!

— Работаю я, пою — в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая:

— «Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее, есть лишняя».

— А когда я шел к нему, сердитая Мария — лавочница,— закричала:

— «Женятся, несчастные, не имея ни простыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне твою невесту...»

— А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома:

— «Спроси его — много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?»

На щеке старика в глубокой морщине засверкала веселая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, тряся изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками.

— О синьоры, синьоры!— сквозь смех, задыхаясь, говорил он,— на утро дня свадьбы у нас было все, что нужно для дома,— статуя мадонны, посуда, белье, ме-

бель — все, клянусь вам! Ида плакала и смеялась, я тоже, и все смеялись — нехорошо плакать в день свадьбы, и все наши смеялись над нами!..

— Синьоры! Это дьявольски хорошо — иметь право назвать людей — наши! И еще более хорошо чувствовать их своими, близкими тебе, родными людьми, для которых твоя жизнь — не шутка, твое счастье — не игра!

— И была свадьба — э! Удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлев, который вдруг стал богатым домом... У нас было все: вино, и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это!

— И священник был. «Вот,— говорил он, строго и хорошо,— вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им стало легко в этот день, лучший день в их жизни. Так и надо было сделать вам, ибо они работали для вас, а работа — выше медных и серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за нее! Деньги — исчезают, работа — остается... Эти люди — и веселы и скромны, они жили трудно и не жаловались, они будут жить еще труднее и не застонут — вы поможете им в трудный час. У них хорошие руки и еще лучше их сердца...»

— Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!..

Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил:

— Вот, синьоры, кое-что о людях,— это вкусно, не правда ли?

VIII

Весна, ярко блестит солнце, люди веселы и даже стекла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло.

По улице маленького городка пестрым потоком льется празднично одетая толпа — тут весь город, рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки,— все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют, и все — как одно здоровое тело — насыщены радостью жить.

Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей — точно причудливые цветы, и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, сверкают, смеясь и ликуя, дети, веселые владыки земли.

Бледно-зеленая листва деревьев еще не распустилась, свернута в пышные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе.

Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастия, вчерашний день был последним днем тяжелой, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твердой, веселой верою в себя — в непобедимость своей воли, пред которой все должно склониться, и вот теперь дружно и уверенно идут к будущему.

И было странно, обидно и печально — заметить в этой живой толпе грустное лицо: под руку с молодой женщиной прошел высокий крепкий человек; наверное — не старше тридцати лет, но — седоволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебряная, худое, здоровое лицо спокойно и — печально. Большие, темные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только граза человека, который не может забыть тяжкой боли, испытанной им.

— Обрати внимание на эту пару людей,— сказал мне мой товарищ,— особенно на него: он пережил одну из тех драм, которые все чаще разыгрываются в среде рабочих северной Италии.

И товарищ рассказал мне:

«Этот человек — социалист, редактор местной рабочей газетки, он сам — рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание становится верой, а вера еще более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал,— видишь, какими глазами смотрят черные священники в спину ему.

Лет пять тому назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо, священники развивали в них эту способность много веков и добились чего хотели,— кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ; мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит геенной — она только

любит, жалеет, прощает,— ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь.

Но вот он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в ее вопросах он чувствует, рядом с наивным удивлением перед его идеями, нескрываемое недоверие к нему, а часто — страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках,— каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему, если же она спрашивала о чем-нибудь — ее слова звучали враждебно, и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке ее слово пользуется не меньшим вниманием, чем его.

Здесь относятся к женщине значительно упрощеннее и грубее, чем в России, и — до последнего времени — итальянки давали много оснований для этого; не интересуясь ничем, кроме церкви, они — в лучшем случае — чужды культурной работе мужчин и не понимают ее значения.

Мужское самолюбие его было задето, слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой, он раздражался, несколько раз удачно высмеивал ее, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нем уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она.

Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о том, как она угнетает человека, искажая его тело, его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренне свободен,— он видел ее перед собою другой: она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребенка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка в ладу с его, тоже волшебно сложной, душою.

Это возбуждало в нем предчувствие победы над врагом, который может быть прекрасным товарищем.

Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один, но наконец он первый подошел к ней.

— Синьорина — мой постоянный оппонент,— сказал он,— не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?

Она охотно согласилась с ним, и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом: девушка яростно защищала церковь, как место, где замученный человек может отдохнуть душою, где, перед лицом доброй мадонны,— все равны и все равно жалки, несмотря на разность одежды; он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ и что за спиной мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы.

С того времени эти споры наполнили всю их жизнь, каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днем все более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований. Для него жизнь — борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воле, все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума — самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник.

Пораженный, он спрашивал:

— Но зачем же вы ходите на мои лекции, чего вы ждете от социализма?

— Да, я знаю, что грешу и противоречу себе!— грустно сознавалась она.— Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей!

Она была не очень красива — тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров; она работала на фабрике шелка, жила со старухой матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно; любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотою вещей и, глядя на них, говорила:

— Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей и кто-то один имел право пользоваться ими! Красивое должны видеть все, только тогда оно живет!

Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее, они напоминали стон раненого. Он чувствовал,

что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери; он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце и тихая любовь преобразится в страсть, ему казалось, что девушка слушает его речи внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И все пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека — народа, человечества из старых цепей, ржавчина которых въелась в душу и отемняет, отравляет их.

Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что любит ее, хочет, чтобы она была его женой, и — был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова: пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиною к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его почти с ужасом, сказала:

— Я догадывалась, что это так, я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас, но — боже мой,— что же будет теперь?

— Начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы!— воскликнул он.

— Нет,— сказала девушка, опустив голову.— Нет! Нам не надо говорить о любви.

— Почему?

— Ты станешь венчаться в церкви?— тихо спросила она.

— Нет!

— Тогда — прощай!

И она быстро пошла прочь от него.

Он догнал ее, стал уговаривать, она выслушала его молча, не возражая, потом сказала:

— Я, моя мать и отец — все верующие и так умрем. Брак в мэрии — не брак для меня: если от такого брака родятся дети — я знаю — они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь, только он дает счастье и покой.

Ему стало ясно, что она не скоро уступит, он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись; прощаясь, девушка сказала:

— Не станем мучить друг друга, не ищи встреч со мною! Ах, если бы ты уехал отсюда! Я — не могу, я так бедна...

— Я не дам никаких обещаний,— ответил он.

И началась борьба сильных людей: они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде,— встречались,

потому что искали встреч, надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворенного и все разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски, после каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным, она — в слезах шла исповедоваться, а он знал это, и ему казалось, что черная стена людей в тонзурах становится все выше, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их насмерть.

Однажды в праздник, гуляя с нею в поле за городом, он сказал ей — не угрожая, а просто думая вслух:

— Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя...

Она промолчала.

— Ты слышала, что я сказал?

Ласково взглянув в лицо ему, она ответила:

— Да.

И он понял, что она умрет, но не уступит ему. До этого «да» он порою обнимал и целовал ее, она боролась с ним, но сопротивление ее слабело, и он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда ее инстинкт женщины поможет ему победить ее. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину.

Так ходил он с нею в темном круге ее представлений о жизни, зажигал пред нею все огни, какие мог зажечь, но — как слепая — она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему.

Однажды она сказала:

— Я понимаю иногда, что все, что ты говоришь,— возможно, но я думаю — это потому, что я люблю тебя! Я понимаю, но — не верю, не могу! И когда ты уходишь, все твое уходит с тобой.

Это продолжалось почти два года, и вот девушка заболела; он бросил работу, перестал заниматься делами организации, наделал долгов и, избегая встреч с товарищами, ходил около ее квартиры или сидел у постели ее, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днем все прозрачнее, и как все ярче пылает в глазах ее огонь болезни.

— Говори мне о будущем,— просила она его.

Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя все, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как темные, грязные, изношенные лохмотья.

Она слушала и, когда ей было нестерпимо больно,

останавливала речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему.

— Я — умираю?— спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у нее скоротечная чахотка и положение ее безнадежно.

Он не ответил ей, опустив глаза.

— Я знаю, что скоро умру,— сказала она.— Дай мне руку.

И, когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала:

— Прости меня, я виновата перед тобою, я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера — только страх перед тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей, я с ним рождена. У меня свой — или твой — ум, но чужое сердце, ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой...

Через несколько дней она умерла, а он поседел за время агонии ее,— поседел в двадцать семь лет.

Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице; это они идут на кладбище, к той — они каждое воскресенье ходят туда — положить цветы на могилу ее.

Он не верит в свою победу, убежден, что, говоря ему — «ты прав!» — она лгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же, оба они любовно чтят память о ней, и эта тяжелая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придает их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер».

...Льется под солнцем живая, празднично пестрая река людей, веселый шум сопровождает ее течение, дети кричат и смеются; не всем, конечно, легко и радостно, наверное, много сердец туго сжаты темной скорбью, много умов истерзаны противоречиями, но — все мы идем к свободе, к свободе!

И чем дружнее — все быстрей пойдем!

IX

Прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник все побеждающей жизни!

Здесь пойдет речь о железном Тимур-ленге, хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани — счастливом завоевателе, о

Тамерлане, как назвали его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона — муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек — он хотел отнять у нее все жертвы — да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир и народ Самарканда встретил победителя злых Джеттов одетый в черное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом,— с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре, где она поборола его,— тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся — так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания тридцать лет!

Прославим в мире женщину — Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как зто было.

Пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина,— в долине, которую поэты Самарканда назвали «Любовь цветов» и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они — как тюльпаны, и над каждой — сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в средине их — палатка Гуругана-Тимура,— как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копья в высоту, ее средина — на двенадцати золотых колоннах в толщину человека, на вершине ее голубой купол, вся она из черных, желтых, голубых полос шелка, пятьсот красных шнуров прикрепили ее к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам ее, а под куполом, в середине палатки, на возвышении,— пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета,

ее осыпают зерна жемчуга — не больше пяти тысяч крупных зерен, да! На его страшной седой голове — белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается — сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого — как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят все, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя — серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле, на коврах, каких больше нет,— триста золотых кувшинов с вином и все, что надо для пира царей; сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним — никого, у ног его — его кровные цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему — пьяный Кермани-поэт, тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

— Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали?— ответил сеятелю смерти и ужаса:

— Двадцать пять аскеров.

— Но это цена только моего пояса!— вскричал удивленный Тимур.

— Я ведь и думаю только о поясе,— ответил Кермани,— только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура.

Прославим поэтов, у которых один бог — красиво сказанное бесстрашное слово правды, вот кто бог для них — навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зеленый цвета, сделав этим одних — ужасными и смешными — других,— в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха перед ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса,— в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победите-

ля Баязета-султана долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук, знакомый и родственный его оскорбленной душе,— оскорбленной Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и требует — она требует!— видеть его, повелителя трех стран света.

— Приведите ее!— сказал царь.

И вот перед ним женщина — босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее — как бронза, а глаза — повелительны и темная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

— Это ты победил султана Баязета?— спросила она.

— Да, я. Я победил многих и его и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

— Слушай!— сказала она.— Что бы ты ни сделал, ты — только человек, а я — Мать! Ты служишь смерти, я — жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину,— мне говорили, что девиз твой —«сила — в справедливости»,— я не верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я — Мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их,— он сказал:

— Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села — как нашла удобным — в тесный круг царей, на ковер, и вот что рассказала она:

— Я — из-под Салерно, это далеко, в Италии, ты не знаешь, где! Мой отец — рыбак, мой муж — тоже, он был красив, как счастливый человек,— это я поила его счастьем! И еще был у меня сын — самый прекрасный мальчик на земле...

— Как мой Джигангир,— тихо сказал старый воин.

— Самый красивый и умный мальчик — это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарацины-пираты, они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты — победил Баязета и отнял у него все, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари — они всегда считают себя мудрыми!

— Она — безумна!— сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его, и все засмеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьезно, и с великим удивлением — Тамерлан.

— Она безумна, как Мать!— тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь — враг мира — сказал:

— Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди,— которые часто злее злейших зверей,— не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать все это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало понять тебя!

Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока Матери,— вот что насыщает нас любовью к жизни.

Сказала она Тимур-ленгу:

— Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое — дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы?— я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

— Гора становится долиной, когда любишь!

— Были леса по дороге, да, это — было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я — Мать, и уходили, вздыхая,— им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их, не хуже, чем люди?

— Так, женщина!— сказал Тимур.— И часто — я знаю — они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

— Люди,— продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать — сто раз дитя в душе своей,— люди — это всегда дети своих матерей,— сказала она,— ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик,— ты знаешь это — родила женщина, ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься и ты, старик!

— Так, женщина! — воскликнул Кермани, бесстрашный поэт.— Так,— от сборища быков — телят не будет, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери — нет нн поэта, ни героя!

И сказала женщина:

— Отдай мне моего ребенка, потому что я — Мать и люблю его!

Поклонимся женщине — она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми, но — как сказал Шерифэддин — он еще воскреснет и придет судить живых и мертвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих! Аристотель — сын Ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер — это все Ее дети, все они пили Ее молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана,— вся гордость мира — от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган, н долго молчал, а потом сказал ко всем:

— Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю, что следует! Вот — жил я, уже много лет земля стонет подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этою рукой,— для того уничтожаю, чтобы отмстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но — никто, никогда — за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я — кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как видно — пред богом ничто государства и люди, смотри — он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты — кривой, я — хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях и он не мог стоять под тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастии, и почувствовал жизнь горькую, как полынь, трава развалин!

— Я, раб божий Тимур, говорю, что следует! Вот — сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а — требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина,— она любит, н любовь помогла ей узнать, что ребенок ее — искра

жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми, и герои — слабыми? О Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе — суждено было согреть землю, засеять счастьем и — я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал наконец:

— Я, раб божий Тимур, говорю, что следует! Триста всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею; тот же, кто воротится с ребенком на седле своего коня, он будет счастлив — говорит Тимур! Так, женщина?

Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

— Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а веселый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью:

Что прекрасней песен о цветах и звездах?
Всякий тотчас скажет: песни о любви!
Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?
И влюбленный скажет: та, кого люблю!
Ах, прекрасны звезды в небе полуночи —
знаю!
И прекрасно солнце в ясный полдень лета —
знаю!
Очи моей милой всех цветов прекрасней —
знаю!
И ее улыбка ласковее солнца — знаю!
Но еще не спета песня всех прекрасней,
Песня о начале всех начал на свете,
Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, Матерью зовем!

И сказал Тимур-ленг своему поэту:

— Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтоб возвещать его мудрость!

— Э! Бог сам — хороший поэт! — молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья, военачальники и все другие дети, глядя на нее — Мать!

Все это — правда; все слова здесь — истина, об этом знают наши матери, спросите их, и они скажут:

— Да, все это вечная правда, мы — сильнее смерти, мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нем все, чем он славен!

X

Знойный день, тишина; жизнь застыла в светлом покое, небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком, солнце — огненный зрачок его.

Море гладко выковано из синего металла, пестрые лодки рыбаков неподвижны, точно впаяны в полукруг залива, яркий, как небо. Пролетит чайка, лениво махая крыльями,— вода покажет другую птицу, белее и красивее той, что в воздухе.

Мреет даль; там в тумане тихо плывет — или, раскален солнцем, тает — лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива.

Изрезанный уступами каменистый берег спускается к морю, весь он кудрявый и пышный в темной листве винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фиг, весь в тусклом серебре листвы олив. Сквозь поток зелени, круто падающий в море, приветливо улыбаются золотые, красные и белые цветы, а желтые и оранжевые плоды напоминают о звездах в безлунную жаркую ночь, когда небо темно, воздух влажен.

В небе, море и душе — тишина, хочется слышать, как все живое безмолвно поет молитву богу-Солнцу.

Между садов вьется тропа, и по ней, тихо спускаясь с камня на камень, идет к морю высокая женщина в черном платье, оно выгорело на солнце до бурых пятен, и даже издали видны его заплаты. Голова ее не покрыта — блестит серебро седых волос, мелкими кольцами они осыпают ее высокий лоб, виски и темную кожу щек; эти волосы, должно быть, невозможно причесать гладко.

Лицо у нее резкое, суровое, увидев однажды — его запомнишь навсегда: есть что-то глубоко древнее в этом сухом лице, а если встретишь прямой и темный взгляд ее глаз — невольно вспоминаются знойные пустыни востока, Дебора и Юдифь.

Наклонив голову, она вяжет что-то красное; сверкает сталь крючка, клубок шерсти спрятан где-то в одежде, но кажется, что красная нить исходит из груди этой женщины. Тропинка крута и капризна, слышно, как шуршат, осыпаясь, камни, но эта седая спускается так уверенно, как будто ноги ее видят путь.

Вот что рассказывают про этого человека: она вдова, муж ее, рыбак, вскоре после свадьбы уехал ловить рыбу

и не вернулся, оставив ее с ребенком под сердцем.

Когда ребенок родился, она стала прятать его от людей, не выходила с ним на улицу, на солнце, чтобы похвастаться сыном, как это делают все матери, держала его в темном углу своей хижины, кутая в тряпки, и долгое время никто из соседей не видел, как сложен новорожденный,— видели только его большую голову и огромные неподвижные глаза на желтом лице. Заметили также, что она, здоровая и ловкая, боролась раньше с нуждою неутомимо, весело, умея внушать бодрость духа и другим, а теперь стала молчаливой, всегда о чем-то думала, хмурясь и глядя на все, сквозь туман печали, странным взглядом, который как будто спрашивал о чем-то.

Немного понадобилось времени для того, чтобы все узнали ее горе: ребенок родился уродом, вот почему она прятала его, вот что угнетало ее.

Тогда соседи сказали ей, что, конечно, они понимают, как стыдно женщине быть матерью урода; никому, кроме мадонны, не известно, справедливо ли наказана она этой жестокой обидой, однако ребенок не виноват ни в чем и она напрасно лишает его солнца.

Она послушала людей и показала им сына — руки и ноги у него были короткие, как плавники рыбы, голова, раздутая в огромный шар, едва держалась на тонкой, дряблой шее, а лицо — точно у старика, все в морщинах и на нем пара мутных глаз и большой рот, растянутый в мертвую улыбку.

Женщины плакали, глядя на него, мужчины, брезгливо сморщив лица, угрюмо ушли; мать урода сидела на земле, то пряча голову, то поднимая ее и глядя на всех так, точно без слов спрашивала о чем-то, чего никто не понимал.

Соседи сделали для урода ящик — вроде гроба, набили его оческами шерсти и тряпьем, посадили уродца в это мягкое, жаркое гнездо и поставили ящик в тени на дворе, тайно надеясь, что под солнцем, которое ежедневно делает чудеса, совершится и еще одно чудо.

Но время шло, а он оставался все таким же: огромная голова, длинное туловище с четырьмя бессильными придатками; только улыбка его принимала все более определенное выражение ненасытной жадности, да рот наполнялся двумя рядами острых кривых зубов. Коротенькие лапы научились хватать куски хлеба и почти безошибочно тащили их в большой, горячий рот.

Он был нем, он когда где-нибудь близко от него ели и урод слышал запах пищи, он глухо мычал, открыв пасть и качая тяжелой головою, а мутные белки его глаз покрывались красной сеткой кровавых жилок.

Ел он много и чем дальше — все больше, мычание его становилось непрерывным; мать, не опуская рук, работала, но часто заработок ее был ничтожен, а иногда его и вовсе не было. Она не жаловалась и неохотно — всегда молча — принимала помощь соседей, но когда ее не было дома, соседи, раздраженные мычанием, забегали во двор и совали в ненасытный рот корки хлеба, овощи, фрукты — все, что можно было есть.

— Скоро он тебя всю обгложет! — говорили ей.— Почему ты не отдашь его куда-нибудь, в приют, в больницу!

Она угрюмо отвечала:

— Я — родила его, и я должна его кормить.

Была она красива, и не один мужчина искал ее любви, все — безуспешно, а одному, который нравился ей больше других, она сказала:

— Я не могу быть твоей женою, боюсь родить еще урода, это было бы стыдно тебе. Нет, уйди!

Человек уговаривал ее, напоминал ей о мадонне, которая справедлива к матерям и считает их сестрами своими,— мать урода ответила ему:

— Я не знаю, в чем виновата, но — вот, наказана жестоко.

Он умолял, плакал и бесился, тогда она сказала:

— Нельзя делать того, во что не веришь. Уйди!

Он ушел куда-то далеко, навсегда.

И так много лет набивала она бездонную, неустанно жевавшую пасть, он пожирал плоды ее трудов, ее кровь и жизнь, голова его росла и становилась все более страшной, похожая на шар, готовый оторваться от бессильной, тонкой шеи и улететь, задевая за углы домов, лениво покачиваясь с боку на бок.

Всякий, кто заглядывал во двор, невольно останавливался, пораженный, содрогаясь, не умея понять — что он видит? У стены, заросшей виноградом, на камнях, как на жертвеннике, стоял ящик, а из него поднималась эта голова, и, четко выступая на фоне зелени, притягивало к себе взгляд прохожего желтое, покрытое морщинами, скуластое лицо, таращились, вылезая из орбит и надолго вклеиваясь в память всякого, кто их видел, тупые

глаза, вздрагивал широкий, приплюснутый нос, двигались непомерно развитые скулы и челюсти, шевелились дряблые губы, открывая два ряда хищных зубов, и, как бы живя своей отдельной жизнью, торчали большие, чуткие, звериные уши — эту страшную маску прикрывала шапка черных волос, завитых в мелкие кольца, точно волосы негра.

Держа в руке, короткой и маленькой, как лапа ящерицы, кусок чего-нибудь съедобного, урод наклонял голову движениями клюющей птицы и, отрывая зубами пищу, громко чавкал, сопел. Сытый, глядя на людей, он всегда оскаливал зубы, а глаза его сдвигались к переносью, сливаясь в мутное бездонное пятно на этом полумертвом лице, движения которого напоминали агонию. Если же он был голоден, то вытягивал шею вперед и, открыв красную пасть, шевеля тонким змеиным языком, требовательно мычал.

Крестясь и творя молитвы, люди отходили прочь, вспоминая все дурное, что пережито ими, все несчастия, испытанные в жизни.

Старик кузнец, человек мрачного ума, не однажды говорил:

— Когда я вижу этот все пожирающий рот, я думаю, что мою силу пожрал кто-то, подобный ему, мне кажется, что все мы живем и умираем для паразитов.

У всех эта немая голова вызывала мысли печальные, чувства, пугающие сердце.

Мать урода молчала, прислушиваясь к словам людей, волосы ее быстро седели, морщины являлись на лице, она давно уже разучилась смеяться. Люди знали, что ночами она неподвижно стоит у двери, смотрит в небо и точно ждет кого-то; они говорили друг другу:

— Чего ей ждать?

— Посади его на площадь у старой церкви! — советовали ей соседи.— Там ходят иностранцы, они не откажутся бросить ему несколько медных монет каждый день.

Мать испуганно вздрогнула, говоря:

— Это будет ужасно, если его увидят люди иных стран,— что они подумают о нас?

Ей ответили:

— Бедность — везде, все знают об этом!

Она отрицательно покачала головою.

Но иностранцы, гонимые скукой, шатались повсюду, заглядывали во все дворы и, конечно, заглянули и

к ней: она была дома, она видела гримасы брезгливости и отвращения на сытых лицах этих праздных людей, слышала, как они говорили о ее сыне, кривя губы и прищурив глаза. Особенно ударили ее в сердце несколько слов, сказанных презрительно, враждебно, с явным торжеством.

Она запомнила эти звуки, много раз повторив про себя чужие слова, в которых ее сердце итальянки и матери чувствовало оскорбительный смысл: в тот же день она пошла к знакомому комиссионеру и спросила его — что значат эти слова?

— Смотря по тому, кто их сказал! — ответил он, нахмурясь.— Они значат: Италия вымирает впереди всех романских рас. Где ты слышала эту ложь?

Она, не ответив, ушла.

А на другой день ее сын объелся чем-то и умер в судорогах.

Она сидела на дворе около ящика, положив ладонь на мертвую голову своего сына, спокойно ожидая чего-то, вопросительно глядя в глаза каждого, кто приходил к ней, чтобы посмотреть на умершего.

Все молчали, никто ни о чем не спрашивал ее, хотя, быть может, многим хотелось поздравить ее,— она освободилась от рабства,— сказать ей утешительное слово — она потеряла сына, но — все молчали. Иногда люди понимают, что не обо всем можно говорить до конца.

После этого она еще долго смотрела в лица людей, словно спрашивая их о чем-то, а потом стала такою же простою, как все.

XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как все теснее сжималась петля врагов, как мелькают вкруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уве-

ренных в победе,— а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубили сады — город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались — не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов — все напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга:

— Это она?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали

печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших иадежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города — гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали это сердце с древиими камнями, из которых ее предки построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песиями и надеждами людей — теряло это сердце ближайшему ему человека и плакало: было оно как весы, но, взвешивая в нем любовь к сыну и городу, она не могла понять — что легче, что тяжелей?

Так ходила оиа ночами по улицам, и миогие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетвореиие смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидала другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точио кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а иа стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменика спросила:

— Муж?

— Нет.

— Брат?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот — сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

— Мадониа все видит, все знает, и я благодарю ее!

— За что?— спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меия страх: легкомысленный, он слишком любил веселую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

— Ты — человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

— Я — мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

— По чести — мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

— Да! — сказала она.— Это — страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили ее из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие,— матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась все меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подошли и спросили — кто она, куда идет?

— Ваш предводитель — мой сын,— сказала она, и ни один из солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась — ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца,— в шелке и бархате он

пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Все — так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя ее руки. — Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился, — напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жажде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком, — сказала она.

— Камни — немы, если человек не заставит их говорить, — пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила она.

— О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

— Нет! — возразил он. — Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает город. Посмотри — мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но — точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город...

— Который пережил все имена, — напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца, она все реже перебивала его безумные речи, и все ниже опускалась ее гордая голова.

Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении — значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям — ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шепота людей, ожидающих смерти,— она видела все и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обреченный смерти.

— Может быть, мы обрушимся на него еще ночью,— говорил ее сын,— если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при этом много неверных ударов,— говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

— А женщины?— спросила она, наклонясь над ним.

— Их — много, они быстро надоедают, как все слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

— И ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отмстить за них.

— Ты красив, но бесплоден, как молния,— сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

— Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок.

Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины все, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, еще теплый от крови его — ее крови,— она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце,— если оно болит, в него легко попасть.

XII

Звенят цикады.

Словно тысячи металлических струн протянуты в густой листве олив, ветер колеблет жесткие листья, они касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, опьяняющим звуком. Это — еще не музыка, но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф, и все время напряженно ждешь, что вот наступит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю.

Дует ветер, деревья качаются и точно идут с горы к морю, встряхивая вершинами. О прибрежные камни равномерно и глухо бьет волна; море — все в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину, все они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова являются и звенят чуть слышно. И, словно увлекая их за собою, на горизонте качаются, высоко подняв трехъярусные паруса, два судна, тоже подобные серым птицам; все это — напоминая давний, полузабытый сон — не похоже на жизнь.

— К ночи разыграется крепкий ветер!— говорит старый рыбак, сидя в тени камней, на маленьком пляже, усеянном звонкой галькой.

Прибой набросал на камни волокна пахучей морской травы — рыжей, золотистой и зеленой; трава вянет на солнце и горячих камнях, соленый воздух насыщен терпким запахом йода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны.

Старый рыбак похож на птицу — маленькое стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые в темных складках кожи, круглые, должно быть, очень зоркие глаза. Пальцы рук крючковаты, малоподвижны и сухи.

— Полсотни лет тому назад, синьор,— говорит старик, в тон шороху волн и звону цикад,— был однажды вот такой же веселый и звучный день, когда все смеется и поет. Моему отцу было сорок, мне — шестнадцать, и я был влюблен, это — неизбежно в шестнадцать лет и при хорошем солнце.

— «Поедем, Гвидо, за пеццони»,— сказал отец.— Пеццони, синьор, очень тонкая и вкусная рыба с розовыми плавниками, ее называют также коралловой рыбой, потому что она водится там, где есть кораллы, очень глубоко. Ее ловят, стоя на якоре, крючком с тяжелым грузилом. Красивая рыба.

— И мы поехали, ничего не ожидая, кроме хорошей удачи. Мой отец был сильный человек, опытный рыбак, но незадолго перед этим он хворал — болела грудь, и пальцы рук у него были испорчены ревматизмом — болезнь рыбаков.

— Это очень хитрый и злой ветер, вот этот, который так ласково дует на нас с берега, точно тихонько толкая в море,— там он подходит к вам незаметно и вдруг бросается на вас, точно вы оскорбили его. Барка тотчас сорвана и летит по ветру, иногда вверх килем, а вы — в воде. Это случается в одну минуту, вы не успеете выругаться или помянуть имя божие, как вас уже кружит, гонит вдаль. Разбойник честнее этого ветра. Впрочем — люди всегда честнее стихии.

— Да, так вот этот ветер и ударил нас в четырех километрах от берега — совсем близко, как видите, ударил неожиданно, как трус и подлец.

— «Гвидо!— сказал родитель, хватая весла изуродованными руками.— Держись, Гвидо! Живо — якорь!»

— Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь — вырвало весла из рук у него,— он свалился на дно без памяти. Мне некогда было помочь ему, каждую секунду нас могло опрокинуть. Сначала — все делается быстро: когда я сел на весла — мы уже неслись куда-то, окруженные водной пылью, ветер срывал верхушки волн и кропил нас, точно священник, только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи.

— «Это серьезно, сын мой!— сказал отец, придя в

себя и взглянув в сторону берега.— Это — надолго, дорогой мой».

— Если молод — не легко веришь в опасность, я пытался грести, делал все, что надо делать в воде в опасную минуту, когда этот ветер — дыхание злых дьяволов — любезно роет вам тысячи могил и бесплатно поет реквием.

— «Сиди смирно Гвидо,— сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы.— Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома».

— Бросают зеленые волны нашу маленькую лодку, как дети мяч, заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, ревут, трясут, мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты — а берег убегает от нас все дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне:

— «Ты, может быть, вернешься на землю, я — нет! Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе...»

— И он стал рассказывать мне все, что знал о привычках тех и других рыб,— где, когда и как успешнее ловить их.

— «Может быть, нам лучше помолиться, отец?» — предложил я, когда понял, что дела наши плохи: мы были точно пара кроликов в стае белых псов, отовсюду скаливших зубы на нас.

— «Бог видит все!— сказал он.— Ему известно, что вот люди, созданные для земли, погибают в море и что один из них, не надеясь на спасение, должен передать сыну то, что он знает. Работа нужна земле и людям — бог понимает это...»

— И, рассказав мне все, что знал о работе, отец стал говорить о том, как надо жить с людьми.

— «Время ли теперь учить меня?— сказал я.— На земле ты не делал этого!»

— «На земле я не чувствовал смерть так близко».

— Ветер выл, как зверь, и плескали волны — отцу приходилось кричать, чтобы я слышал, и он кричал:

— «Всегда держись так, как будто никого нет лучше тебя и нет никого хуже,— это будет верно! Дворянин и рыбак, священник и солдат — одно тело, и ты такой же необходимый член его, как все другие. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего,— думай, что хорошего больше в нем,— так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них».

— Это, конечно, было сказано не сразу, а так, знаете, точно команда: нас бросало с волны на волну, и то снизу, то сверху, сквозь брызги воды я слышал эти слова. Многое уносил ветер раньше, чем оно доходило до меня, многое я не мог понять — время ли учиться, синьор, когда каждая минута грозит смертью! Мне было страшно, я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нем. И я не могу сказать — тогда или после, вспоминая об этих часах, я испытал чувство, которое и по сей день живо в памяти моего сердца.

— Как теперь вижу родителя: он сидит на дне барки, раскинув больные руки, вцепившись в борта пальцами, шляпу смыло с него, волны кидаются на голову и на плечи ему то справа, то слева, бьют сзади и спереди, он встряхивает головою, фыркает и время от времени кричит мне. Мокрый он стал маленьким, а глаза у него огромные от страха, а может быть, от боли. Я думаю — от боли.

— «Слушай!— кричал мне.— Эй — слышишь?»

— Иногда я отвечал ему:

— «Слышу!»

— «Помни — все хорошее от человека».

— «Ладно!» — отвечаю я.

— Никогда он не говорил так со мною на земле. Был веселый, добрый, но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него еще ребенок. Иногда это обижало меня — юность самолюбива.

— Его крики укрощали мой страх, должно быть, поэтому я так хорошо помню все.

Старик рыбак помолчал, поглядел в белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув:

— Приглядевшись к людям, я знаю, синьор, помнить — это все равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего,— уж это так, поверьте!

— Да, так вот — помню я его милое мне мокрое лицо и огромные глаза — смотрели они на меня серьезно, с любовью, и так, что я знал тогда — мне суждено погибнуть не в этот день. Боялся, но знал, что не погибну.

— Нас, конечно, опрокинуло. Вот — мы оба в кипящей воде, в пене, которая ослепляет нас, волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы еще раньше привязали к банкам все, что можно было привязать, у нас в руках веревки, мы не оторвемся от нашей барки, пока

есть сила, но — держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на киль и тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кружится голова, глохнешь и слепнешь — глаза и уши залиты водой, и очень много глотаешь ее.

— Это тянулось долго — часов семь, потом ветер сразу переменился, густо хлынул к берегу, и нас понесло к земле. Тут я обрадовался, закричал:

— «Держись!»

— Отец тоже кричал что-то, я понял одно слово:

— «Разобьет...»

— Он думал о камнях, они были еще далеко, я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело,— мы неслись среди гор воды, присосавшись, точно улитки, к нашей кормилице, порядочно избитые об нее, уже обессиленные и онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны темные горы берега — все пошло с невыразимой быстротой. Качаясь, они подвигались к нам, наклонялись над водой, готовые опрокинуться на головы наши,— раз, раз — подкидывают белые волны наши тела, хрустит наша барка, точно орех под каблуком сапога, я оторван от нее, вижу изломанные черные ребра скал, острые, как ножи, вижу голову отца высоко надо мною, потом — над этими когтями дьяволов. Его поймали часа через два, с переломанной спиною и разбитым до мозга черепом. Рана на голове была огромная, часть мозга вымыло из нее, но я помню серые, с красными жилками, кусочки в ране, точно мрамор или пена с кровью. Изуродован был он ужасно, весь изломан, но лицо — чисто, спокойно, и глаза хорошо, плотно закрыты.

— Я? Да, я тоже был порядочно измят, на берег меня втащили без памяти. Нас принесло к материку, за Амальфи — чужое место, но, конечно, свои люди — тоже рыбаки, такие случаи их не удивляют, но делают добрыми: люди, которые ведут опасную жизнь, всегда добры!

— Я думаю, что не сумел рассказать про отца так, как чувствую, и то, что пятьдесят один год держу в сердце,— это требует особенных слов, даже, может быть, песни, но — мы люди простые, как рыбы, и не умеем говорить так красиво, как хотелось бы! Чувствуешь и знаешь всегда больше, чем можешь сказать.

— Тут все дело в том, что он, мой отец, в час смерти, зная, что ему не избежать ее, не испугался, не забыл обо мне, своем сыне, и нашел силу и время передать мне

все, что он считал важным. Шестьдесят семь лет прожил я и могу сказать, что все, что он внушил мне,— верно!

Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, теперь бурый, достал из него трубку и, наклонив голый, бронзовый череп, сильно сказал:

— Все верно, дорогой синьор! Люди таковы, какими вы хотите видеть их, смотрите на них добрыми глазами, и вам будет хорошо, им — тоже, от этого они станут еще лучше вы — тоже! Это просто!

Ветер становился все крепче, волны выше, острее и белей; выросли птицы на море, они все торопливее плывут вдаль, а два корабля с трехъярусными парусами уже исчезли за синей полосой горизонта.

Крутые берега острова в пене волн, буяня, плещет синяя вода, и неутомимо, страстно звенят цикады.

XIII

В день, когда это случилось, дул сирокко, влажный ветер из Африки — скверный ветер!— он раздражает нервы, приносит дурные настроения, вот почему два извозчика — Джузеппе Чиротта и Луиджи Мэта — поссорились. Ссора возникла незаметно, нельзя было понять, кто первый вызвал ее, люди видели только, как Луиджи бросился на грудь Джузеппе, пытаясь схватить его за горло, а тот, убрав голову в плечи, спрятал свою толстую красную шею и выставил черные крепкие кулаки.

Их тотчас розняли и спросили:

— В чем дело?

Синий от гнева, Луиджи крикнул:

— Пусть этот бык повторит при всех, что он сказал о моей жене!

Чиротта хотел уйти, он спрятал свои маленькие глаза в складках пренебрежительной гримасы и, качая круглой черной головой, отказывался повторить обиду, тогда Мэта громко сказал:

— Он говорит, что узнал сладость ласк моей жены!

— Эге!— сказали люди.— Это — не шутка, это требует серьезного внимания. Спокойствие, Луиджи! Ты здесь — чужой, твоя жена — наш человек, мы все тут знали ее ребенком, и если обижен ты — ее вина падает на всех нас,— будем правдивы!

Приступили к Чиротта.

— Ты сказал это?

— Ну, да,— сознался он.

— И это — правда?

— Кто когда-нибудь уличал меня во лжи?

Чиротта — порядочный человек, хороший семьянин,— дело принимало очень мрачный оборот — люди были смущены и задумались, а Луиджи пошел домой и сказал Кончетте:

— Я — уезжаю! Я не хочу знать тебя, если ты не докажешь, что слова этого негодяя — клевета.

Она, конечно, плакала, но — ведь слезы не оправдывают; Луиджи оттолкнул ее, и вот она осталась одна, с ребенком на руках, без денег и хлеба.

Вступились женщины — прежде всех Катарина, торговка овощами, умная лисица, эдакий, знаете, старый мешок, туго набитый мясом и костями и кое-где сильно сморщенный.

— Синьоры,— сказал она,— вы уже слышали, что это касается чести всех нас. Это — не шалость, внушенная лунной ночью, задета судьба двух матерей — так? Я беру Кончетту к себе, и она будет жить у меня, до дня, когда мы откроем правду.

Так и сделали, а потом Катарина и эта сухая ведьма Лючия, крикунья, чей голос слышно на три мили,— принялись за беднягу Джузеппе: призвали и давай щипать его душу, как старую тряпку:

— Ну, добряк, скажи — ты брал ее много раз, Кончетту?

Толстый Джузеппе надул щеки, подумал и сказал:

— Однажды.

— Это можно было сказать и не думая,— заметила Лючия вслух, но как бы сама себе.

— Случилось это вечером, ночью, утром?— спрашивала Катарина, совсем как судья.

Джузеппе, не подумав, выбрал вечер.

— Было еще светло?

— Да,— сказал дурачина.

— Так! Значит, ты видел ее тело?

— Ну, конечно!

— Так скажи нам, каково оно!

Тут он понял, к чему эти вопросы, и раскрыл рот, как воробей, подавившийся зерном ячменя, понял и забормотал, сердясь так, что его большие уши налились кровью и стали лиловыми.

— Что же,— говорит,— я могу сказать? Ведь я не рассматривал ее, как доктор!

— Ты ешь плоды, не любуясь ими?— спросила Лючия.— Но, может быть, ты все-таки заметил одну особенность Кончеттины?— спрашивает она дальше и подмигивает ему, змея.

— Все это случилось так быстро,— говорит Джузеппе,— право, я ничего не заметил.

— Значит — ты ее не имел!— сказала Катарина,— она добрая старуха, но, когда нужно, умеет быть строгой. Словом — они так запутали его в противоречиях, что малый наконец опустил дурную свою голову и сознался:

— Ничего не было, я сказал это со зла.

Старух не удивило это.

— Так мы и думали,— сказали они и, отпустив его с миром, передали дело на суд мужчин.

Через день собралось наше общество рабочих. Чиротта встал пред ними, обвиняемый в клевете на женщину, и старик Джакомо Фаска, кузнец, сказал весьма недурно:

— Граждане, товарищи, хорошие люди! Мы требуем справедливости к нам — мы должны быть справедливы друг ко другу, пусть все знают, что мы понимаем высокую цену того, что нам нужно, и что справедливость для нас не пустое слово, как для наших хозяев. Вот человек, который оклеветал женщину, оскорбил товарища, разрушил одну семью и внес горе в другую, заставив свою жену страдать от ревности и стыда. Мы должны отнестись к нему строго. Что вы предлагаете?

Шестьдесят семь языков сказали единодушно:

— Вон его из коммуны!

А пятнадцать нашли, что это слишком сурово, и завязался спор. Отчаянно кричали — дело шло о судьбе человека, и не одного: ведь он женат, имеет троих детей,— в чем виноваты жена и дети? У него — дом, виноградник, пара лошадей, четыре осла для иностранцев,— все это поднято его горбом и стоит немало труда. Бедняга Джузеппе торчал в углу один, мрачный, как черт среди детей; сидел на стуле согнувшись, опустив голову, и мял в руках свою шляпу, уже содрал с нее ленту и понемногу отрывал поля, а пальцы на руках у него танцевали, как у скрипача. И когда спросили у него — что он скажет?— он сказал, с трудом распрямив тело и встав на ноги:

— Я прошу снисхождения! Никто ведь не безгрешен. Прогнать меня с земли, на которой я жил больше тридцати лет, где работали мои предки,— это не будет справедливо!

Женщины тоже были против изгнания, и наконец Фаска предложил поступить так:

— Я думаю, друзья, он будет хорошо наказан, если мы возложим на него обязанность содержать жену Луиджи и его ребенка,— пусть он платит ей половину того, что зарабатывал Луиджино!

Еще много спорили, но в конце концов остановились на этом, и Джузеппе Чиротта был очень доволен, что отделался так дешево, да и всех удовлетворило это: дело не дошло ни до суда, ни до ножа, а решилось в своем кругу. Мы не любим, синьор, когда о наших делах пишут в газетах языком, в котором понятные слова торчат редко, как зубы во рту старика, или когда судьи, эти чужие нам люди, очень плохо понимающие жизнь, толкуют про нас таким тоном, точно мы дикари, а они — божии ангелы, которым незнаком вкус вина и рыбы и которые не прикасаются к женщине! Мы — простые люди и смотрим на жизнь просто.

Так и решили: Джузеппе Чиротта кормит жену Луиджи Мэта и ребенка их, но дело не кончилось этим: когда Луиджино узнал, что слова Чиротта лживы, а его синьора невинна, и узнал наш приговор, он вызвал ее к себе, написав кратко:

«Иди ко мне и будем жить снова хорошо. Не бери ни чентезима у этого человека, а если уже взяла — брось взятое в глаза ему! Я пред тобою тоже не виноват, разве я мог подумать, что человек лжет в таком деле, как любовь!»

А Чиротта он написал другое письмо:

«У меня три брата, и все четверо мы поклялись друг другу, что зарежем тебя, как барана, если ты сойдешь когда-нибудь с острова на землю в Соренто, Кастелламаре, Торре или где бы то ни было. Как только узнаем, то и зарежем, помни! Это такая же правда, как то, что люди твоей коммуны — хорошие, честные люди. Помощь твоя не нужна синьоре моей, даже и свинья моя отказалась бы от твоего хлеба. Живи, не сходя с острова, пока я не скажу тебе — можно!»

Говорят, будто бы Чиротта носил это письмо к судье

нашему и спрашивал — нельзя ли осудить Луиджи за угрозу его? И будто судья сказал:

— Можно, конечно, но ведь тогда братья его уж наверное зарежут вас; приедут сюда и зарежут. Я советую — подождите! Это — лучше. Гнев — не любовь, он недолговечен...

Судья мог сказать эдак: он у нас очень добрый, очень умный человек и сочиняет хорошие стихи, но — я не верю, чтобы Чиротта ходил к нему и показывал это письмо. Нет, Чиротта порядочный парень все-таки, он не сделал бы еще одну бестактность, ведь его за это осмеяли бы.

— Мы — простые, рабочие люди, синьор, у нас — своя жизнь, свои понятия и мнения, мы имеем право строить жизнь, как хотим и как лучше для нас.

Социалисты? О, друг мой, рабочий человек родится социалистом, как я думаю, и хотя мы не читаем книг, но правду слышим по запаху,— ведь правда крепко пахнет и всегда одинаково — трудовым потом!

XIV

У двери белой кантины, спрятанной среди толстых лоз старого виноградника, под тенью навеса из этих же лоз, переплетенных вьюнком и мелкой китайской розой, сидят у стола, за графином вина, Винченцо, маляр, и Джиованни, слесарь. Маляр — маленький, костлявый, черный: в его темных глазах светится задумчивая мягкая улыбка мечтателя; хотя его верхняя губа и щеки выбриты досиня — лицо, от этой улыбки, кажется детским и наивным. У него маленький, красивый рот, точно у девушки, кисти рук — длинные, он вертит в живых пальцах золотой цветок розы, и, прижимая его к пухлым губам, закрывает глаза.

— Может быть — я не знаю — может быть!— тихо говорит он, покачивая сжатой с висков головою, рыжеватые локоны осыпаются на его высокий лоб.

— Да, да! Чем дальше на север, тем настойчивее люди!— утверждает Джиованни, большеголовый, широкоплечий парень, в черных кудрях; лицо у него меднокрасное, нос обожжен солнцем и покрыт белой чешуей омертвевшей кожи; глаза — большие, добрые, как у вола, и на левой руке нет большого пальца. Его речь так же медленна, как движения рук, пропитанных маслом

и железной пылью. Сжимая стакан вина в темных пальцах, с обломанными ногтями, он продолжает басом:

— Милан, Турин — вот превосходные мастерские, где формируются новые люди, растет новый мозг! Подожди немного — земля станет честной и умной!

— Да!— сказал маленький маляр, подняв стакан, и, ловя вином солнечный луч, напевает:

О, как тепла земля на утре наших дней!
Но — возмужали мы,— и холодно на ней!

— Чем дальше на север, говорю я, тем лучше работа. Уже французы живут не так лениво, как мы, дальше — немцы, и, наконец, русские — вот люди!

— Да!

— Бесправные, под страхом лишиться свободы и жизни, они сделали грандиозное дело — ведь это благодаря им вспыхнул к жизни весь восток!

— Страна героев!— склоняя голову, сказал маляр.— Я бы хотел жить с ними...

— Ты?— воскликнул слесарь, ударив по своему колену ребром ладони.— Кусочком льда был бы ты там через неделю!

Оба добродушно засмеялись.

Синие и золотые цветы вокруг них, ленты солнечных лучей дрожат в воздухе, в прозрачном стекле графина и стаканов горит альмандиновое вино, издали доплывает шелковый шорох моря.

— Вот, добрый мой Винченцо,— говорит слесарь, широко улыбаясь,— расскажи стихами, как я стал социалистом,— ты знаешь это?

— Нет,— сказал маляр, наливая в стаканы вино и улыбаясь красной струе,— ты никогда не говорил об этом. Эта кожа так хорошо сидит на твоих костях, что я думал — ты родился в ней!

— Я родился голым и глупым, как ты и все люди; в юности я мечтал о богатой жене, в солдатах учился, чтобы сдать экзамен на офицерский чин, мне было двадцать три года, когда я почувствовал, что не все на свете хорошо и жить дураком — стыдно!

Маляр облокотился на стол, а голову вскинул вверх и стал смотреть на гору, где на самом обрыве стоят, качая ветвями, огромные сосны.

— Нас — мою роту — послали в Болонью; там волновались крестьяне, одни — требуя понижения арендной

платы, другие — кричали о необходимости повысить заработную плату, те и другие казались мне неправыми: понизить аренду на землю, поднять рабочую плату — что за глупости! — думал я, — ведь это разорит землевладельцев... Мне, жителю города, это казалось вздором и бессмыслицей. И я очень сердился, чему помогала жара, постоянные передвижения с места на место, караульная служба по ночам, — эти молодцы, видишь ли, ломали машины помещиков, а также им нравилось жечь хлеб и портить все, принадлежавшее не им.

Он выпил вино маленькими глотками и, оживляясь все более, продолжал:

— Они ходили по полям густыми толпами, точно овцы, но — молча, грозно, деловито, мы разгоняли их, показывая штыки, иногда — толкая прикладами, они, не пугаясь и не торопясь, разбегались, собирались снова. Это было скучно, как обедня, и тянулось изо дня в день, точно лихорадка. Луото, наш унтер, славный парень, абруцезен, тоже крестьянин, мучился: пожелтел, похудел и не однажды говорил нам:

— «Очень скверно, дети мои! Вероятно, придется стрелять, будь я проклят!»

— Его карканье еще больше расстраивало нас, а тут, знаешь, из-за каждого угла, холма и дерева торчат упрямые головы крестьян, щупают тебя их сердитые глаза — люди эти относились к нам, конечно, не очень приветливо.

— Пей! — сказал маленький Винченцо, ласково подвигая приятелю полный стакан.

— Благодарю и — да здравствуют стойкие люди! — воскликнул слесарь, выпил, вытер ладонью усы и продолжал:

— Однажды я стоял на небольшом холме, у рощи олив, охраняя деревья, потому что крестьяне портили их, а над холмом работали двое — стрик и юноша, рыли какую-то канаву. Жарко, солнце печет, как огнем, хочется быть рыбой, скучно, и, помню, я смотрел на этих людей очень сердито. В полдень они, бросив работу, достали хлеб, сыр, кувшин вина — черт бы вас побрал, думаю я. Вдруг старик, ни разу не взглянувший на меня до этой поры, что-то сказал юноше, тот отрицательно тряхнул головою, а старик крикнул:

— «Иди!» — Очень строго крикнул.

— Юноша идет ко мне с кувшином в руке, подошел и говорит так, знаешь, не очень охотно:

— «Отец мой думает, что вы хотите пить, и предлагает вам вина!»

— Было неловко, но — приятно, я отказался, кивнув старику головой и благодаря его, а он отвечает мне, поглядывая в небо:

— «Выпейте, синьор, выпейте! Мы предлагаем это человеку, а не солдату, мы не надеемся, что солдат будет добрее от нашего вина».

— «Не кусайся, черт тебя побери!» — подумал я и, выпив глотка три, поблагодарил, а они, там, внизу, начали есть; потом скоро я сменился — на мое место встал Уго, салертинец, и я сказал ему тихонько, что эти двое крестьян — добрые люди. В тот же день вечером, когда я стоял у дверей сарая, где хранились машины, с крыши, на голову мне, упала черепица — по голове ударило не сильно, но другая очень крепко — ребром по плечу, так, что левая рука у меня повисла.

Слесарь захохотал, широко открыв рот и прищурив глаза.

— Черепицы, камни, палки,— говорил он сквозь смех,— в те дни и в том месте действовали самостоятельно, и эта самостоятельность неодушевленных предметов сажала нам довольно крупные шишки на головы. Идет или стоит солдат — вдруг с земли прыгает на него палка, с небес падает камень. Мы сердились, конечно!

Глаза маленького маляра стали грустны, лицо побледнело, и он сказал тихонько:

— Всегда стыдно слушать о таких вещах...

— Что поделаешь! Люди медленно умнеют. Далее: я позвал на помощь, меня отвели в дом, где уже лежал один, раненный камнем в лицо, и, когда спросил его — как это случилось с ним, он сказал, невесело посмеиваясь:

— «Старуха, товарищ, старая седая ведьма ударила и предлагает — убить ее!».

— «Арестовали?»

— «Я сказал, что это сам я — упал и ударился. Командир не поверил, это было видно по его глазам. Но, согласись, неловко сознаться, что ранен старухой! Дьявол! Им туго приходится, и понятно, что они не любят нас».

— «Так!» — думаю я. Приходит доктор и две дамы — одна очень красивая, блондинка, очевидно — венецианка, другая — не помню ее. Осматривают мой ушиб, конечно — пустяки, положили мне компресс и ушли.

Слесарь нахмурился, замолчал и крепко потер руки; его товарищ снова налил вина в стаканы,— наливая, он высоко поднимал графин, и вино трепетало в воздухе красной живой струей.

— Мы оба сели у окна,— угрюмо продолжал слесарь,— сели так, чтобы нас не видело солнце, и вот слышим нежный голос блондинки этой — она с подругой и доктором идет по саду, за окном, и говорит на французском языке, который я хорошо понимаю.

— «Вы заметили, какие у него глаза?— говорит она.— Он, разумеется, тоже крестьянин и, может быть, сняв мундир, тоже будет социалистом, как все у нас. И вот, люди с такими глазами хотят завоевать весь мир, перестроить всю жизнь, изгнать нас, уничтожить, все для того, чтобы торжествовала какая-то слепая, скучная справедливость!»

— «Глупые ребята,— сказал доктор,— полудети, полузвери!»

— «Звери — да! Но — что в них детского?»

— «А эти мечты о всеобщем равенстве...»

— «Вы подумайте,— я равна этому парню, с глазами вола, и другому, с птичьим лицом, мы все — вы, я и она — мы равны им, этим людям дурной крови! Людям, которых можно приглашать для того, чтобы они били подобных им, таких же зверей, как они...»

— Она говорила очень много и горячо, а я слушал и думал: «Так, синьора!» Я видел ее не в первый раз, и ты, конечно, знаешь, что никто не мечтает о женщине горячее, чем солдат. Разумеется, я представлял ее себе доброй, умной, с хорошим сердцем, и в то время мне казалось, что дворяне — особенно умны.

— Спрашиваю товарища: «Ты понимаешь этот язык?» Нет, он не понимал. Тогда я передал ему речь блондинки — парень рассердился, как черт, и запрыгал по комнате, сверкая глазом,— один глаз у него был завязан.

— «Вот как!— бормочет он.— Вот как! Она пользуется мной и — не считает меня человеком! Я ради нее позволяю оскорблять мое достоинство, и она же отрицает его! Ради сохранности ее имущества я рискую погубить душу...»

— Он был неглупый малый и почувствовал себя глубоко оскорбленным, я — тоже. И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме громко, не стесняясь. Луото только мычал и советовал нам:

— «Осторожнее, дети мои! Не забывайте, что вы — солдаты и существует дисциплина!»

— Нет, мы это не забыли. Но очень многие — почти все, говоря правду,— стали глухи и слепы, а эти молодцы крестьяне весьма умело пользовались нашей глухотой и слепотой. Они — выиграли. Они очень хорошо относились к нам; блондинке можно бы многому поучиться у них, например — они прекрасно научили бы ее, как надо ценить честных людей. Когда мы уходили оттуда, куда пришли с намерением пролить кровь, многие из нас получили цветы. Когда мы шли по улицам деревни — в нас бросали уже не камнями и черепицей, а цветами, друг мой! Я думаю, что мы заслужили это. О дурной встрече можно забыть, получив хорошие проводы!

Он засмеялся, потом сказал:

— Вот это ты должен превратить в стихи, Винченцо...

Маляр, задумчиво улыбаясь, ответил:

— Да, это очень годится для поэмы! Я думаю, что сумею сделать ее. Когда человеку минет двадцать пять лет — он становится плохим лириком.

Он отбросил цветок, уже измятый, сорвал другой и оглянулся, тихо продолжая:

— Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью...

Слесарь молчал, колыхая вино в стакане. Мягко шумит море, там, внизу, за виноградниками, запах цветов плывет в жарком воздухе.

— Это солнце делает нас слишком ленивыми, слишком мягкими,— бормотал слесарь.

— Мне уже плохо удаются лирические стихи, я очень недоволен собою,— тихо говорит Винченцо, сдвигая тонкие брови.

— Ты сделал что-нибудь?

Маляр не сразу говорит:

— Да, вчера, на крыше отеля «Комо».

И читает вполголоса, задумчиво, певуче:

> На берег пустынный, на старые серые камни
> Осеннее солнце прощально и нежно упало,
> На темные камни бросаются жадные волны
> И солнце смывают в холодное синее море.
> И медные листья деревьев, оборваны ветром осенним,
> Мелькают сквозь пену прибоя, как пестрые
> мертвые птицы,
> А бледное небо — печально, и гневное море — угрюмо.
> Одно только солнце смеется, склоняясь покорно
> к закату.

Оба долго молчат: маляр, опустив голову, смотрит в землю, большой, тяжелый слесарь улыбается и наконец говорит:

— Обо всем можно сказать красиво, но лучше всего — слово о хорошем человеке, песня о хороших людях!

XV

На террасу отеля, сквозь темно-зеленый полог виноградных лоз, золотым дождем льется солнечный свет — золотые нити, протянутые в воздухе. На серых кафелях пола и белых скатертях столов лежат странные узоры теней, и кажется, что, если долго смотреть на них,— научишься читать их, как стихи, поймешь, о чем они говорят. Гроздья винограда играют на солнце, точно жемчуг или странный мутный камень оливин, а в графине воды на столе — голубые бриллианты.

В проходе между стволами лежит маленький кружевной платок. Конечно, его потеряла дама, и она божественно красива — иначе не может быть, иначе нельзя думать в этот тихий день, полный знойного лиризма, день, когда все будничное и скучное становится невидимым, точно исчезает от солнца, стыдясь само себя.

Тишина; только птицы щебечут в саду, гудят пчелы над цветами, да где-то на горе, среди виноградников, жарко вздыхает песня: поют двое — мужчина и женщина, каждый куплет отделен от другого минутою молчания — это дает песне особую выразительность, что-то молитвенное.

Вот и дама медленно всходит из сада по широким ступеням мраморной лестницы; это старуха, очень высокого роста, темное строгое лицо, сурово нахмуренные брови, тонкие губы упрямо сжаты, как будто она только что сказала: «Нет!»

На ее сухих плечах широкая и длинная — точно плащ — накидка золотистого шелка, обшитая кружевами, седые волосы маленькой, не по росту, головы прикрыты черным кружевом, в одной руке — красный зонт, с длинной ручкой, в другой — черная бархатная сумка, шитая серебром. Она идет сквозь паутину лучей прямо, твердо, как солдат, и стучит концом зонта по звонким кафлям пола. В профиль ее лицо еще строже: нос загнут, подбородок остр, и на нем большая серая бородавка,

выпуклый лоб тяжело навис над темными ямами, где в сетях морщин скрыты глаза. Они спрятаны так глубоко, что старуха кажется слепой.

За нею, переваливаясь с боку на бок, точно селезень, на ступенях лестницы бесшумно является квадратное тело горбуна, с большой, тяжело опущенной головою в серой мягкой шляпе. Он держит руки в карманах жилета, это делает его еще более широким и угловатым. На нем белый костюм и белые же ботинки с мягкими подошвами. Рот его болезненно приоткрыт, видны желтые, неровные зубы, на верхней губе неприятно топорщатся темные усы, редкие и жесткие, он дышит часто и напряженно, нос его вздрагивает, но усы не шевелятся. Идет он, уродливо выворачивая короткие ноги, его огромные глаза скучно смотрят в землю. На этом маленьком теле — много больших вещей: велик золотой перстень с камеей на безымянном пальце левой руки, велик золотой, с двумя рубинами, жетон на конце черной ленты, заменяющий цепочку часов, а в синем галстуке слишком крупен опал, несчастливый камень.

И еще третья фигура не спеша входит на террасу, тоже старуха, маленькая и круглая, с добрым красным лицом, с бойкими глазами, должно быть — веселая и болтливая.

Они проходят по террасе в дверь отеля, точно люди с картин Гогарта: некрасивые, печальные, смешные и чужие всему под этим солнцем, кажется,— что все меркнет и тускнеет при виде их.

Это — голландцы, брат и сестра, дети торговца бриллиантами и банкира, люди очень странной судьбы, если верить тому, что насмешливо рассказано о них.

Ребенком горбун был тих, незаметен, задумчив и не любил игрушек. Это ни в ком, кроме сестры, не возбуждало особенного внимания к нему — отец и мать нашли, что таков и должен быть неудавшийся человек, но у девочки, которая была старше брата на четыре года, его характер возбуждал тревожное чувство.

Почти все дни она проводила с ним, стараясь всячески возбудить в нем оживление, вызвать смех, подсовывала ему игрушки,— он складывал их, одну и другую, строя какие-то пирамиды, и лишь очень редко улыбался насильственной улыбкой, обычно же смотрел на сестру, как на все,— невеселым взглядом больших

глаз, как бы ослепленных чем-то; этот взгляд раздражал ее.

— Не смей так смотреть, ты вырастешь идиотом! — кричала она, топая ногами, щипала его, била, он хныкал, защищал голову, взбрасывая длинные руки вверх, но никогда не убегал от нее и не жаловался на побои.

Позднее, когда ей казалось, что он может понимать то, что для нее было уже ясно, она убеждала его:

— Если ты урод — ты должен быть умным, иначе всем будет стыдно за тебя, папе, маме, и всем! Даже люди станут стыдиться, что в таком богатом доме есть маленький уродец. В богатом доме все должно быть красиво или умно — понимаешь?

— Да, — серьезно говорил он, склоняя свою большую голову набок и глядя в лицо ей темным взглядом неживых глаз.

Отец и мать любовались отношением девочки к брату, хвалили при нем ее доброе сердце, и незаметно она стала признанной наперсницей горбуна — учила его пользоваться игрушками, помогала готовить уроки, читала ему истории о принцах и феях.

Но, как и раньше, он складывал игрушки высокими кучами, точно стараясь достичь чего-то, а учился невнимательно и плохо, только чудеса сказок заставляли его нерешительно улыбаться, и однажды он спросил сестру:

— Принцы бывают горбаты?

— Нет.

— А рыцари?

— Конечно — нет!

Мальчик устало вздохнул, а она, положив руку на его жесткие волосы, сказала:

— Но мудрые волшебники всегда горбаты.

— Значит — я буду волшебником, — покорно заметил горбун, а потом, подумав, прибавил:

— А феи — всегда красивы?

— Всегда.

— Как ты?

— Может быть! Я думаю — даже более красивые, — честно сказала она.

Ему минуло восемь лет, и сестра заметила, что каждый раз во время прогулок, когда они проходили или проезжали мимо строящихся домов, на лице мальчика является выражение удивления, он долго, пристально

смотрит, как люди работают, а потом обращает свои темные глаза на нее.

— Это интересно тебе?— спросила она.

Малоречивый, он ответил:

— Да.

— Почему?

— Я не знаю.

Но однажды объяснил:

— Такие маленькие люди и кирпичики — а потом огромные дома. Так сделан весь город?

— Да, разумеется.

— И наш дом?

— Конечно!

Взглянув на него, она решительно сказала:

— Ты будешь знаменитым архитектором, вот что!

Ему купили множество деревянных кубиков, и с этой поры в нем жарко вспыхнула страсть к строительству: целыми днями он, сидя на полу своей комнаты, молча возводил высокие башни, которые с грохотом падали. Он строил их снова, и это стало так необходимо для него, что даже за столом, во время обеда, он пытался построить что-то из ножей, вилок и салфеточных колец. Его глаза стали сосредоточеннее и глубже, а руки ожили и непрерывно двигались, ощупывая пальцами каждый предмет, который могли взять.

Теперь, во время прогулок по городу, он готов был целые часы стоять против строящегося дома, наблюдая, как из малого растет к небу огромное; ноздри его дрожали, внюхиваясь в пыль кирпича и запах кипящей извести, глаза становились сонными, покрывались пленкой напряженной вдумчивости, и, когда ему говорили, что неприлично стоять на улице, он не слышал.

— Идем!— будила его сестра, дергая за руку.

Он склонял голову и шел, все оглядываясь назад.

— Ты будешь архитектором, да?— внушала и спрашивала она.

— Да.

Однажды, после обеда, в гостиной, ожидая кофе, отец заговорил о том, что пора бросить игрушки и начать учиться серьезно, но сестра, тоном человека, чей ум признан и с кем нельзя не считаться,— спросила:

— Я надеюсь, папа, что вы не думаете отдать его в учебное заведение?

Большой, бритый, без усов, украшенный множест-

вом сверкающих камней, отец проговорил, закуривая сигару:

— А почему бы и нет?

— Вы знаете — почему!

Так как речь шла о нем, горбун тихонько удалился; он шел медленно и слышал, как сестра говорила:

— Но ведь все будут смеяться над ним!

— Ах, да, конечно! — сказала мать густым голосом, серым, точно осенний ветер.

— Таких, как он, надо прятать! — горячо говорила сестра.

— Ах, да, тут нечем гордиться! — сказала мать.— Сколько ума в этой головке, о!

— Пожалуй — вы правы,— согласился отец.

— Нет, сколько ума...

Горбун воротился, встал к двери и сказал:

— Я ведь тоже не глуп...

— Увидим,— молвил отец, а мать заметила:

— Никто не думает ничего подобного...

— Ты будешь учиться дома,— объявила сестра, усаживая его рядом с собою.— Ты будешь учиться всему, что надо архитектору,— это тебе нравится?

— Да. Ты увидишь.

— Что я увижу?

— Что мне нравится.

Она была немного выше его — на полголовы — но заслоняла собою все — и мать и отца. В ту пору ей было пятнадцать лет. Он был похож на краба, а она — тонкая, стройная и сильная — казалась ему феей, под властью которой жил весь дом и он, маленький горбун.

И вот к нему ходят вежливые, холодные люди, они что-то изъясняют, спрашивают, а он равнодушно сознается им, что не понимает наук, и холодно смотрит куда-то через учителей, думая о своем. Всем ясно, что его мысли направлены мимо обычного, он мало говорит, но иногда ставит странные вопросы:

— Что делается с теми, кто не хочет ничего делать?

Благовоспитанный учитель, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, одновременно похожий на священника и воина, ответил:

— С такими людьми совершается все дурное, что только можно представить себе! Так, например, многие из них становятся социалистами.

— Благодарю вас! — говорит горбун,— он держится

с учителями корректно и сухо, как взрослый.— А что такое — социалист?

— В лучшем случае — фантазер и лентяй, вообще же — нравственный урод, лишенный представления о боге, собственности и нации.

Учителя всегда отвечали кратко, их ответы ложились в памяти плотно, точно камни мостовой.

— Нравственным уродом может быть и старуха?

— О, конечно, среди них...

— И — девочка?

— Да. Это — врожденное свойство...

Учителя говорили о нем:

— У него слабые способности к математике, но большой интерес к вопросам морали...

— Ты много говоришь,— сказала ему сестра, узнав о его беседах с учителями.

— Они говорят больше.

— И ты мало молишься богу...

— Он не исправит мне горба...

— Ах, вот как ты начал думать!— с изумлением воскликнула она и заявила:

— Я прощаю тебе это, но — забудь все подобное,— слышишь?

— Да.

Она уже носила длинные платья, а ему исполнилось тринадцать лет.

С этого времени на нее обильно посыпались неприятности: почти каждый раз, когда она входила в рабочую комнату брата, к ногам ее падали какие-то брусья, доски, инструменты, задевая то плечо, то голову ее, отбивая ей пальцы,— горбун всегда предупреждал ее криком:

— Берегись!

Но — всегда опаздывал, и она испытывала боль.

Однажды, прихрамывая, она подскочила к нему, бледная, злая, крикнула в лицо ему:

— Ты нарочно делаешь это, урод!— и ударила его по щеке.

Ноги у него были слабые, он упал и, сидя на полу, тихо, без слез и без обиды сказал ей:

— Как ты можешь думать это? Ведь ты любишь меня — не правда ли? Ты меня любишь?

Она убежала, охая, потом пришла объясняться.

— Видишь ли,— раньше этого не было...

— И этого тоже,— спокойно заметил он, сделав длинной рукою широкий круг: в углах комнаты были нагромождены доски, ящики, все имело очень хаотичный вид, столярный и токарный станки у стен были завалены деревом.

— Зачем ты натаскал столько этой дряни? — спросила она, брезгливо и недоверчиво оглядываясь.

— Ты увидишь!

Он уже начал строить: сделал домик для кроликов и конуру для собаки, придумывал крысоловку,— сестра ревниво следила за его работами и за столом с гордостью рассказывала о них матери и отцу,— отец, одобрительно кивая головою, говорил:

— Все началось с мелочей, и всегда все так начинается!

А мать, обнимая ее, спрашивала сына:

— Ты понимаешь, как надо ценить ее заботы о тебе?

— Да,— отзывался горбун.

Когда он сделал крысоловку, то позвал сестру к себе и, показывая ей неуклюжее сооружение, сказал:

— Это уже не игрушка, и можно взять патент! Смотри — как просто и сильно, дотронься здесь.

Девушка дотронулась, что-то хлопнуло, и она дико закричала, а горбун, прыгая вокруг нее, бормотал:

— О, не та, не та...

Прибежала мать, явились слуги. Разломали аппарат для ловки крыс, освободили прищемленный, посиневший палец девушки и унесли ее в обмороке.

Вечером его позвали к сестре, и она спросила:

— Ты сделал это нарочно, ты ненавидишь меня,— за что?

Встряхивая горбом, он отвечал, тихо и спокойно:

— Просто ты дотронулась не тою рукой.

— Ты лжешь!

— Но — зачем я стану портить тебе руки? Ведь это даже не та рука, который ты ударила меня.

— Смотри, урод, ты не умнее меня!..

Он согласился:

— Я знаю.

Угловатое лицо его было, как всегда, спокойно, глаза смотрели сосредоточенно — не верилось, что он зол и может лгать.

После этого она стала не так часто заходить к нему. Ее посещали подруги — шумные девочки в разно-

цветиых платьях, они славно бегали по большнм, немиожко холодным и угрюмым комиатам,— картнны, статуи, цветы и позолота — все стаиовилось теплее прн инх. Иногда сестра прнходнла с ними в его комнату,— оин чопорио протягивали ему малеиькие пальчикн с розовымн ногтями, дотрагиваясь до его руки так осторожно, точно боялись сломать ее. Разговарнвали оин с ннм особенно кротко и ласково, с удивлеиием, но без интереса осматривая горбуна средн его инструментов, чертежей, кусков дерева н стружек. Он знал, что все девочки зовут его «изобретателем»,— это сестра виушила нм,— н что от него ждут в будущем чего-то, что должно прославить нмя его отца,— сестра говорила об этом уверенио.

— Ои, конечио, некрасив, но — очеиь умный,— часто напомииала она.

Ей было девятнадцать лет, и она уже имела жеииха, когда отец и мать погибли в море, во время прогулки на увеселительиой яхте, разбнтой и потоплеиной пьяным штурманом американского грузовика; она тоже должна была ехать на эту прогулку, но у нее неожидаиио заболели зубы.

Когда пришло известие о смертн отца и матери, она, забыв свою зубную боль, бегала по комиате н крнчала, воздевая руки:

— Нет, иет, этого не может быть!

Горбун стоял у двери, кутаясь портьерой, внимательно смотрел на нее и говорил, встряхивая горбом:

— Отец был такой круглый н пустой — я не поиимаю, как ои мог утонуть...

— Молчи, ты никого не любишь!— кричала сестра.

— Я просто не умею говорить ласковых слов,— сказал он.

Труп отца не нашлн, а мать была убита раньше, чем упала в воду,— ее вытащилн, и она лежала в гробу такая же сухая и ломкая, как мертвая ветвь старого дерева, какою была н прн жизни.

— Вот мы остались с тобою однн,— строго и печально сказала сестра брату после похорои матери, отодвигая его от себя острым взглядом серых глаз.— Нам будет трудно, мы ничего не знаем н можем много потерять. Так жаль, что я не могу сейчас же выйти замуж!

— О!— вosклнкнул горбун.

— Что такое — о?

Он, подумав, сказал:

— Мы — одни.

— Ты так говоришь это, точно тебя что-то радует!

— Я ничему не радуюсь.

— Это тоже очень жаль! Ты ужасно мало похож на живого человека.

Вечерами приходил ее жених — маленький, бойкий человечек, белобрысый, с пушистыми усами на загорелом, круглом лице; он не уставая смеялся целый вечер и, вероятно, мог бы смеяться целый день. Они уже были обручены, и для них строился новый дом в одной из лучших улиц города — самой чистой и тихой. Горбун никогда не был на этой стройке и не любил слушать, когда говорили о ней. Жених хлопал его по плечам маленькой, пухлой рукой, с кольцами на ней, и говорил, оскаливая множество мелких зубов:

— Тебе надо пойти посмотреть это, а? Как ты думаешь?

Он долго отказывался под разными предлогами, наконец уступил и пошел с ним и сестрой, а когда они двое взошли на верхний ярус лесов, то упали оттуда — жених прямо на землю, в творило с известью, а брат зацепился платьем за леса, повис в воздухе и был снят каменщиками. Он только вывихнул ногу и руку, разбил лицо, а жених переломил позвоночник и распорол бок.

Сестра билась в судорогах, руки ее царапали землю, поднимая белую пыль; она плакала долго, больше месяца, а потом стала похожа на мать — похудела, вытянулась и начала говорить сырым, холодным голосом:

— Ты — мое несчастие!

Он отмалчивался, опуская свои большие глаза в землю. Сестра оделась в черное, свела брови в одну линию и, встречая брата, стискивала зубы так, что скулы ее выдвигались острыми углами, а он старался не попадаться на глаза ей и все составлял какие-то чертежи, одинокий, молчаливый. Так он жил вплоть до совершеннолетия, а с этого дня между ними началась открытая борьба, которой они отдали всю жизнь,— борьба, связавшая их крепкими звеньями взаимных оскорблений и обид.

В день совершеннолетия он сказал ей тоном старшего:

— Нет ни мудрых волшебников, ни добрый фей, есть только люди, одни — злые, другие — глупые, а все, что

говорят о добре,— это сказка! Но я хочу, чтобы сказка была действительностью. Помнишь, ты сказала: в богатом доме все должно быть красиво или умно? В богатом городе тоже должно быть все красиво. Я покупаю землю за городом и буду строить там дом для себя и уродов, подобных мне, я выведу их из этого города, где им слишком тяжело жить, а таким, как ты, неприятно смотреть на них...

— Нет,— сказала она,— ты, конечно, не сделаешь этого! Это — безумная идея!

— Это — твоя идея.

Они поспорили, сдержанно и холодно, как спорят люди большой ненависти друг к другу, когда им нет надобности скрывать эту ненависть.

— Это решено!— сказал он.

— Не мною,— ответила сестра.

Он приподнял горб и ушел, а через некоторое время сестра узнала, что земля куплена, и, более того, землекопы уже роют рвы под фундамент, десятки телег свозят кирпич, камень, железо и дерево.

— Ты все еще чувствуешь себя мальчишкой?— спросила она.— Ты думаешь, это игра?

Он молчал.

Раз в неделю его сестра — сухая, стройная и гордая — отправлялась за город в маленькой коляске, сама правя белой лошадью, и, медленно проезжая мимо работ, холодно смотрела, как красное мясо кирпичей связывается сухожилиями железных балок, а желтое дерево ложится в тяжелую массу нервными нитями. Она видела издали фигуру брата, похожего на краба, он ползал по лесам, с тростью в руке, в измятой шляпе, пыльный, серый, точно паук; потом, дома, она пристально смотрела на его возбужденное лицо, в темные глаза — они стали мягче и яснее.

— Нет,— тихо говорил он,— я хорошо придумал — строить, и мне кажется, что я скоро буду считать себя счастливым человеком...

Она спросила, загадочно измеряя глазами его уродливое тело:

— Счастливым?

— Да! Знаешь,— люди, которые работают, совершенно не похожи на нас, они возбуждают особенные мысли. Как хорошо, должно быть, чувствует себя каменщик, проходя по улицам города, где он построил

десятки домов! Среди рабочих — много социалистов, они, прежде всего, трезвые люди, и, право, у них есть свое чувство достоинства... Иногда мне кажется, что мы плохо знаем свой народ...

— Странно ты говоришь,— заметила она.

Горбун оживал, становясь с каждым днем все разговорчивее.

— В сущности, все идет так, как хотелось тебе: вот я становлюсь мудрым волшебником, освобождая город от уродов, ты же могла бы, если б хотела, быть доброй феей! Почему ты не отвечаешь?

— Мы поговорим об этом после,— сказала она, играя золотой цепью часов.

Однажды он заговорил языком, совершенно незнакомым ей:

— Может быть, я виноват перед тобою больше, чем ты предо мною...

Она удивилась.

— Я — виновата? Пред тобою?

— Подожди! Честное слово — я не так виноват, как ты думаешь! Ведь я хожу плохо, быть может, я толкнул его тогда,— но тут не было злого намерения, нет, поверь! Я гораздо более виновен в том, что хотел испортить руку, которою ты ударила меня...

— Оставим это!— сказала она.

— Мне кажется — нужно быть добрее!— бормотал горбун.— Я думаю, что добро — не сказка, оно возможно...

Огромное здание за городом росло с великою быстротой, ширилось по жирной земле и поднималось в небо, всегда сырое, всегда грозившее дождем.

Однажды на работы явилась кучка официальных людей, они осмотрели построенное и, тихо поговорив между собою, запретили строить далее.

— Это сделала ты!— закричал горбун, бросаясь на сестру и схватив ее за горло длинными, сильными руками, но откуда-то явились чужие люди, оторвали его от нее, и сестра сказала им:

— Вы видите, господа, что он действительно ненормален и опека необходима! Это началось с ним тотчас после смерти отца, которого он страстно любил, спросите слуг — они все знают о его болезни. Они молчали до последнего времени — эти добрые люди, им дорога честь дома, где многие из них живут с детства. Я тоже

скрывала несчастие — ведь нельзя гордиться тем, что брат безумен...

У него посинело лицо и глаза выкатились из орбит, когда он слушал эту речь, он онемел и молча царапал ногтями руки людей, державших его, а она продолжала:

— Разорительная затея с этим домом, который я намерена отдать городу под психиатрическую лечебницу имени моего отца...

Он завизжал, лишился сознания, и его увезли.

Сестра продолжала и закончила постройку с тою же быстротою, с которой он вел ее, а когда дом был совершенно отстроен, первым пациентом вошел в него ее брат. Семь лет провел он там — время, вполне достаточное для того, чтобы превратиться в идиота; у него развилась меланхолия, а сестра его за это время постарела, лишилась надежд быть матерью и, когда наконец увидала, что враг ее убит и не воскреснет,— взяла его на свое попечение.

И вот они кружатся по земному шару туда и сюда, точно ослепленные птицы, бессмысленно и безрадостно смотрят на все и нигде ничего не видят, кроме самих себя.

XVI

Синяя вода кажется густою, как масло, винт парохода работает в ней мягко и почти бесшумно. Не вздрагивает палуба под ногами, только напряженно трясется мачта, устремленная в ясное небо; тихонько поют тросы, натянутые, точно струны, но — к этому трепету уже привык, не замечаешь его, и кажется, что пароход, белый и стройный, точно лебедь,— неподвижен на скользкой воде. Чтобы заметить движение, нужно взглянуть за борт: там от белых бортов отталкивается зеленоватая волна, морщится и широкими мягкими складками бежит прочь, изгибаясь, сверкая ртутью и сонно журча.

Утро, еще не совсем проснулось море, в небе не отцвели розовые краски восхода, но уже прошли остров Горгону — поросший лесом, суровый одинокий камень, с круглой башней на вершине и толпою белых домиков у заснувшей воды. Несколько маленьких лодок стремительно проскользнули мимо бортов парохода,— это люди с острова идут за сардинами. В памяти остается

мерный плеск длинных весел и тонкие фигуры рыбаков,— они гребут стоя и качаются, точно кланяясь солнцу.

За кормой парохода — широкая полоса зеленоватой пены, над нею лениво носятся чайки; иногда неизвестно откуда является питон, вытянувшись, как сигара, летит бесшумно над самою водой и вдруг вонзается в нее, точно стрела.

Вдали облачно встают из моря берега Лигурии — лиловые горы; еще два-три часа, и пароход войдет в тесную гавань мраморной Генуи.

Все выше поднимается солнце, обещая жаркий день.

На палубу выбежали двое лакеев; один молодой, тоненький и юркий, неаполитанец, с неуловимым выражением подвижного лица, другой — человек среднего возраста, седоусый, чернобровый, в серебряной щетине на круглом черепе; у него горбатый нос и серьезные умные глаза. Шутя и смеясь, они быстро накрыли стол для кофе и убежали, а на смену, гуськом, один за другим из кают медленно вылезли пассажиры: толстяк, с маленькой головой и оплывшим лицом, краснощекий, но грустный и устало распустивший пухлые, малиновые губы; человек в серых бакенбардах, высокий, весь какой-то выглаженный, с незаметными глазами и маленьким носом-пуговкой на желтом, плоском лице; за ними, споткнувшись о медь порога, выпрыгнул рыжий круглый мужчина с брюшком, воинственно закрученными усами, в костюме альпиниста и в шляпе с зеленым пером. Все трое встали к борту, толстый печально прищурил глаза и сказал:

— Вот как тихо, а?

Человек с бакенбардами сунул руки в карманы, расставил ноги и стал похож на открытые ножницы. Рыжий вынул золотые часы, большие, как маятник стенных часов, поглядел на них, в небо и вдоль палубы, потом начал свистать, раскачивая часы и притопывая ногою.

Явились две дамы — одна молодая, полная, с фарфоровым лицом и ласковыми, молочно-синими глазами, темные брови ее словно нарисованы и одна выше другой, другая — старше, остроносая, в пышной прическе выцветших волос, с большой черной родинкой на левой щеке, с двумя золотыми цепями на шее, лорнетом и множеством брелоков у пояса серого платья.

Подали кофе. Молодая молча села к столу и начала

разливать черную влагу, как-то особенно округляя обнаженные до локтей руки. Мужчины подошли к столу, молча сели, толстый взял чашку и вздохнул, сказав:

— День будет жаркий...

— Ты капаешь себе на колени,— заметила старшая дама.

Он наклонил голову — подбородок и щеки его расплылись, упираясь в грудь,— поставил чашку на стол, смахнул платком капли кофе с серых брюк и вытер потное лицо.

— Да!— неожиданно громко заговорил рыжий, шаркая короткими ногами.— Да, да! Если даже левые стали жаловаться на хулиганство, значит...

— Подожди трещать, Иван!— перебила старшая дама.— Лиза не выйдет?

— Ей нехорошо,— звучно ответила молодая.

— Но ведь море спокойно...

— Ах, когда женщина в таком положении.

Толстый улыбнулся и сладостно закрыл глаза.

За бортом, разрывая спокойную гладь моря, кувыркались дельфины,— человек с бакенбардами внимательно посмотрел на них и сказал:

— Дельфины похожи на свиней.

Рыжий отозвался:

— Здесь вообще много свинства.

— Отвратительно!

Бесцветная дама поднесла к носу чашку, понюхала кофе, брезгливо сморщилась.

— А молоко, а?— поддержал толстый, испуганно мигая.

Дама с фарфоровым лицом пропела:

— И все — грязно, грязно! И все ужасно похожи на жидов...

Рыжий, захлебываясь словами, все время говорил о чем-то на ухо человеку с бакенбардами, точно отвечал учителю, хорошо зная урок и гордясь этим. Его слушателю было щекотно и любопытно, он легонько качал головою из стороны в сторону, и на его плоском лице рот зиял, точно щель на рассохшейся доске. Иногда ему хотелось сказать что-то, он начинал странным, мохнатым голосом:

— У меня в губернии...

И, не продолжая, снова внимательно склонял голову к усам рыжего.

Толстый тяжко вздохнул, сказав:

— Как ты жужжишь, Иван...

— Ну — дайте мне кофе!

Он подвинулся к столу, со скрипом и треском, а собеседник его значительно проговорил:

— Иван имеет идеи.

— Ты не выспался,— сказала старшая дама, посмотрев в лорнет на бакенбардиста,— тот провел рукою по лицу, взглянул на ладонь.

— Мне кажется, что я напудрен, а тебе не кажется этого?

— Ах, дядя!— воскликнула молодая.— Это же особенность Италии! Здесь ужасно сохнет кожа!

Старшая дама спросила:

— Ты замечаешь, Лиди, какой у них скверный сахар?

На палубу вышел крупный человек, в шапке седых кудрявых волос, с большим носом, веселыми глазами и с сигарой в зубах,— лакеи, стоявшие у борта, почтительно поклонились ему.

— Добрый день, ребята, добрый день!— благосклонно кивая головою, сказал он громко, хриплым голосом.

Русские замолчали, искоса посматривая на него, усатый Иван вполголоса сообщил:

— Отставной военный, сразу видно...

Заметив, что на него смотрят, седой вынул сигару изо рта и вежливо поклонился русским,— старшая дама вздернула голову вверх и, приставив к носу лорнет, вызывающе оглядела его, усач почему-то сконфузился, быстро отвернувшись, выхватил из кармана часы и снова стал раскачивать их в воздухе. На поклон ответил только толстяк, прижав подбородок ко груди,— это смутило итальянца, он нервно сунул сигарету в угол рта и вполголоса спросил пожилого лакея:

— Русские?

— Да, сударь! Русский губернатор с его фамилией...

— Какие у них всегда добрые лица...

— Очень хороший народ...

— Лучшие из славян, конечно...

— Немножко небрежны, сказал бы я...

— Небрежны? Разве?

— Мне так кажется — небрежны к людям.

Толстый русский покраснел и, широко улыбаясь, сказал негромко:

— Про нас говорит...

— Что?— брезгливо сморщив лицо, спросила старшая.

— Лучше, говорит, славяне,— ответил толстяк, хихикнув.

— Они — льстивы,— заявила дама, а рыжий Иван спрятал часы и, закручивая усы обеими руками, пренебрежительно проговорил:

— Все они изумительно невежественны в отношении к нам...

— Тебя — хвалят,— сказал толстый,— а ты находишь, что это по невежеству...

— Глупости! Я не о том, я вообще.. Я сам знаю, что мы — лучшие.

Человек с бакенбардами, все время внимательно следивший, как играют дельфины, вздохнул и, покачивая головою, заметил:

— Какая глупая рыба!

К седому итальянцу подошли еще двое: старик, в черном сюртуке, в очках, и длинноволосый юноша, бледный, с высоким лбом, густыми бровями; они все трое встали к борту, шагах в пяти от русских, седой тихонько говорил:

— Когда я вижу русских — я вспоминаю Мессину...

— Помните, как мы встречали матросов в Неаполе?— спросил юноша.

— Да! Они не забудут этот день в своих лесах!

— Видели вы медаль в честь их?

— Мне не нравится работа.

— О Мессине говорят,— сообщил толстый своим.

— И — смеются!— воскликнула молодая дама.— Удивительно!

Чайки нагнали пароход, одна из них, сильно взмахивая кривыми крыльями, повисла над бортом, и молодая дама стала бросать ей бисквиты. Птицы, ловя куски, падали за борт и снова, жадно вскрикивая, поднимались в голубую пустоту над морем. Итальянцам принесли кофе, они тоже начали кормить птиц, бросая бисквиты вверх,— дама строго сдвинула брови и сказала:

— Вот обезьяны!

Толстый вслушался в живую беседу итальянцев и снова сообщил:

— Он не военный, а купец, говорит о торговле с нами хлебом и что они могли бы покупать у нас также керосин, лес и уголь.

— Я сразу видела, что не военный,— призналась старшая дама.

Рыжий опять начал говорить о чем-то в ухо бакенбардисту, тот слушал его и скептически растягивал рот, а юноша итальянец говорил, искоса поглядывая в сторону русских:

— Как жаль, что мы мало знаем эту страну больших людей с голубыми глазами!

Солнце уже высоко и сильно жжет, ослепительно блестит море, вдали, с правого борта, из воды растут горы и облака.

— Annette,— говорит бакенбардист, улыбаясь до ушей,— послушай, что выдумал этот забавный Жан,— какой способ уничтожить бунтовщиков в деревнях, это очень остроумно!

И, покачиваясь на стуле, медленно и скучно он рассказывал, как будто переводя с чужого языка:

— Нужно, говорит он, чтобы во дни ярмарок, а также сельских праздников, чтоб местный земский начальник заготовил, за счет казны, колья и камни, а потом он ставил бы мужикам — тоже за счет казны — десять, двадцать, пятьдесят — смотря по количеству людей — ведер водки,— больше ничего не нужно!

— Я не понимаю!— заявила старшая дама.— Это — шутка?

Рыжий быстро ответил:

— Нет, серьезно! Вы подумайте, ma tante...[1]

Молодая дама, широко открыв глаза, пожала плечами.

— Какой вздор! Поить водкой от казны, когда они и так...

— Нет, подожди, Лидия!— вскричал рыжий, подскакивая на стуле. Бакенбардист беззвучно смеялся, широко открыв рот и качаясь из стороны в сторону.

— Ты подумай — те хулиганы, которые не успеют спиться, перебьют друг друга кольями и камнями,— ясно?

— Почему — друг друга?— спросил толстяк.

— Это — шутка?— снова осведомилась старшая дама.

Рыжий, плавно разводя короткими руками, горячо доказывал:

— Когда их укрощают власти — левые кричат о жестокостях и зверстве, значит — нужно найти способ, чтобы они сами себя укротили,— так?

---

[1] Тетя... — *Ред.*

Пароход качнуло, полная дама испуганно схватилась за стол, задребезжала посуда, дама постарше, положив руку на плечо толстяка, строго спросила:

— Это что такое?

— Мы поворачиваем...

Все выше и отчетливее поднимаются из воды берега — холмы и горы, окутанные мглой, покрытые садами. Сизые камни смотрят из виноградников, в густых облаках зелени прячутся белые дома, сверкают на солнце стекла окон, и уже заметны глазу яркие пятна; на самом берегу приютился среди скал маленький дом, фасад его обращен к морю и весь завешен тяжелою массою ярко-лиловых цветов, а выше, с камней террасы, густыми ручьями льется красная герань. Краски веселы, берег кажется ласковым и гостеприимным, мягкие очертания гор зовут к себе, в тень садов.

— Как тут тесно все,— вздохнув, сказал толстый; старшая дама непримиримо посмотрела на него, потом — в лорнет — на берег и плотно поджала тонкие губы, вздернув голову вверх.

На палубе уже много смуглых людей в легких костюмах, они шумно беседуют, русские дамы смотрят на них пренебрежительно, точно королевы на подданных.

— Как они машут руками,— говорит молодая; толстяк, отдуваясь, поясняет:

— Это уж свойство языка, он — беден и требует жестов...

— Боже мой! Боже мой!— глубоко вздыхает старшая, потом, подумав, спрашивает:

— Что, в Генуе тоже много музеев?

— Кажется, только три,— ответил ей толстый.

— И это кладбище?— спросила молодая.

— Кампо Санто. И церкви, конечно.

— А извозчики — скверные, как в Неаполе?

Рыжий и бакенбардист встали, отошли к борту и там озабоченно беседуют, перебивая друг друга.

— Что говорит итальянец?— спрашивает дама, оправляя пышную прическу. Локти у нее острые, уши большие и желтые, точно увядшие листья. Толстый внимательно и покорно вслушивается в бойкий рассказ кудрявого итальянца.

— У них, синьоры, существует, должно быть, очень древний закон, воспрещающий евреям посещать Москву,— это, очевидно, пережиток деспотизма, знаете —

Иван Грозный! Даже в Англии есть много архаических законов, не отмененных и по сегодня. А может быть, этот еврей мистифицировал меня, одним словом, он почему-то не имел права посетить Москву — древний город царей, святынь...

— А у нас в Риме — мэр иудей,— в Риме, который древнее и священнее Москвы,— сказал юноша, усмехаясь.

— И ловко бьет папу-портного![1]— вставил старик в очках, громко хлопнув в ладоши.

— О чем кричит старик?— спросила дама, опуская руки.

— Ерунда какая-то. Они говорят на неаполитанском диалекте...

— Он приехал в Москву, нужно иметь кров, и вот этот еврей идет к проститутке, синьоры, больше некуда,— так говорил он...

— Басня!— решительно сказал старик и отмахнулся рукой от рассказчика.

— Говоря правду, я тоже думаю так.

— А что было далее?— спросил юноша.

— Она выдала его полиции, но сначала взяла с него деньги, как будто он пользовался ею...

— Гадость!— сказал старик.— Он человек грязного воображения, и только. Я знаю русских по университету — это добрые ребята...

Толстый русский, отирая платком потное лицо, сказал дамам, лениво и равнодушно:

— Он рассказывает еврейский анекдот.

— С таким жаром!— усмехнулась молодая дама, а другая заметила:

— В этих людях, с их жестами и шумом, есть всетаки что-то скучное...

На берегу растет город; поднимаются из-за холмов дома и, становясь все теснее друг ко другу, образуют сплошную стену зданий, точно вырезанных из слоновой кости и отражающих солнце.

— Похоже на Ялту,— определяет молодая дама, вставая.— Я пойду к Лизе.

Покачиваясь, она медленно понесла по палубе свое большое тело, окутанное голубоватой материей, а когда поравнялась с группою итальянцев, седой прервал свою речь и сказал тихонько:

[1] Фамилия папы — Сарто — портной.

— Какие прекрасные глаза!

— Да,— качнул головою старик в очках.— Вот такова, вероятно, была Базилида!

— Базилида — византиянка?

— Я вижу ее славянкой...

— Говорят о Лидии,— сказал толстый.

— Что?— спросила дама.— Конечно, пошлости?

— О ее глазах. Хвалят...

Дама сделала гримасу.

Сверкая медью, пароход ласково и быстро прижимался все ближе к берегу, стало видно черные стены мола, из-за них в небо поднимались сотни мачт, кое-где неподвижно висели яркие лоскутья флагов, черный дым таял в воздухе, доносился запах масла, угольной пыли, шум работ в гавани и сложный гул большого города.

Толстяк вдруг рассмеялся.

— Ты — что?— спросила дама, прищурив серые, полинявшие глаза.

— Разгромят их немцы, ей-богу, вот увидите!

— Чему же ты радуешься?

— Так...

Бакенбардист, глядя под ноги себе, спросил рыжего, громко и строго грамматически:

— Был ли бы ты доволен этим сюрпризом или нет?

Рыжий, свирепо закручивая усы, не ответил.

Пароход пошел тише. О белые борта плескалась и всхлипывала, точно жалуясь, мутно-зеленая вода; мраморные дома, высокие башни, ажурные террасы не отражались в ней. Раскрылась черная пасть порта, тесно набитая множеством судов.

XVII

...За железный столик у двери ресторана сел человек в светлом костюме, сухой и бритый, точно американец,— сел и лениво поет:

— Га-агсон-н...

Все вокруг густо усеяно цветами акации — белыми и точно золото: всюду блестят лучи солнца, на земле и в небе — тихое веселье весны. Посредине улицы, щелкая копытами, бегут маленькие ослики, с мохнатыми ушами, медленно шагают тяжелые лошади, не торопясь идут люди,— ясно видишь, что всему живому хочется как можно

дольше побыть на солнце, на воздухе, полном медового запаха цветов.

Мелькают дети — герольды весны, солнце раскрашивает их одежки в яркие цвета; покачиваясь, плывут пестро одетые женщины,— они так же необходимы в солнечный день, как звезды ночью.

Человек в светлом костюме имеет странный вид: кажется, что он был сильно грязен и только сегодня его вымыли, но так усердно, что уж навсегда стерли с него все яркое. Он смотрит вокруг полинявшими глазами, словно считая пятна солнца на стенах домов и на всем, что движется по темной дороге, по широким плитам бульвара. Его вялые губы сложены цветком, он тихо и тщательно высвистывает странный и печальный мотив, длинные пальцы белой руки барабанят по гулкому краю стола — тускло поблескивают ногти,— а в другой руке желтая перчатка, он отбивает ею на колене такт. У него лицо человека умного и решительного — так жаль, что оно стерто чем-то грубым, тяжелым.

Почтительно поклонясь, гарсон ставит перед ним чашку кофе, маленькую бутылочку зеленого ликера и бисквиты, а за столик рядом — садится широкогрудый человек с агатовыми глазами,— щеки, шея, руки его закопчены дымом, весь он — угловат, металлически крепок, точно часть какой-то большой машины.

Когда глаза чистого человека устало останавливаются на нем, он, чуть приподнявшись, дотронулся рукою до шляпы и сказал сквозь густые усы:

— Добрый день, господин инженер.

— Ба, снова вы, Трама!

— Да, это я, господин инженер...

— Нужно ждать событий, а?

— Как идет ваша работа?

Инженер сказал, с маленькой усмешкой на тонких губах:

— Мне кажется — нельзя беседовать одними вопросами, мой друг...

А его собеседник, сдвинув шляпу на ухо, открыто и громко смеется и сквозь смех говорит:

— О да! Но, честное слово, так хочется знать...

Пегий, шершавый ослик, запряженный в тележку с углем, остановился, вытянул шею и — прискорбно закричал, но, должно быть, ему не понравился свой голос в этот день,— сконфуженно оборвав крик на высокой ноте,

он встряхнул мохнатыми ушами и, опустив голову, побежал дальше, цокая копытами.

— Я жду вашу машину с таким же нетерпением, как ждал бы новую книгу, которая обещает сделать меня умней...

Инженер сказал, прихлебывая кофе:

— Не совсем понимаю сравнение...

— Разве вы не думаете, что машина так же освобождает физическую энергию человека, как хорошая книга его дух?

— А!— сказал инженер, дернув головою вверх.— Так! И спросил, ставя на стол пустую чашку:

— Вы, конечно, начнете агитацию?

— Я уже начал...

— Снова — стачки, беспорядки, да?

Тот пожал плечами, мягко улыбаясь.

— Если б можно было без этого...

Старуха в черном платье, суровая, точно монахиня, молча предложила инженеру букетик фиалок, он взял два и один протянул собеседнику, задумчиво говоря:

— У вас, Трама, такой хороший мозг, и, право, жаль, что вы — идеалист.

— Благодарю за цветы и комплимент. Вы сказали — жаль?

— Да! Вы, в сущности, поэт, и вам надо учиться, чтобы стать дельным инженером...

Трама, тихонько смеясь, обнажая белые зубы, говорил:

— О, это верно! Инженер — поэт, я убедился в этом, работая с вами...

— Вы — любезный человек...

— И я думал — отчего бы господину инженеру не сделаться социалистом? Социалисту тоже надо быть поэтом...

Они засмеялись оба, одинаково умно глядя друг на друга, удивительно разные, один — сухой, нервный, стертый, с выцветшими глазами, другой — точно вчера выкован и еще не отшлифован.

— Нет, Трама, я предпочел бы иметь свою мастерскую и десятка три вот таких молодцов, как вы. Ого, тут мы сделали бы кое-что...

Он тихонько ударил пальцами по столу и вздохнул, вдевая в петлицу цветы.

— Черт возьми,— возбуждаясь, вскричал Трама,— какие пустяки мешают жить и работать...

— Это вы историю человечества называете пустяками, мастер Трама?— тонко улыбаясь, спросил инженер; рабочий сдернул шляпу, взмахнул ею и заговорил, горячо и живо:

— Э, что такое история моих предков?

— Ваших предков?— переспросил инженер, подчеркнув первое слово еще более острой улыбкой.

— Да, моих! Это — дерзость? Пусть будет дерзость! Но — почему Джордано Бруно, Вико и Мадзини не предки мои — разве я живу не в их мире, разве я не пользуюсь тем, что посеяли вокруг меня их великие умы?

— А, в этом смысле!

— Все, что дано миру отошедшими из него,— дано мне!

— Конечно,— сказал инженер, серьезно сдвинув брови.

— И все, что сделано до меня — до нас — руда, которую мы должны сделать сталью,— не правда ли?

— Почему — нет? Это — ясно!

— Ведь и вы, ученые, как мы, рабочие,— вы живете за счет работы умов прошлого.

— Я не спорю,— сказал инженер, склоняя голову; около него стоял мальчик в серых лохмотьях, маленький, точно мяч, разбитый игрою; держа в грязных лапах букетик крокусов, он настойчиво говорил:

— Возьмите у меня цветов, синьор...

— Я уже имею...

— Цветов никогда не бывает достаточно...

— Браво, малыш!— сказал Трама.— Браво, и мне дай два...

А когда мальчишка дал ему цветы, он, приподняв шляпу, предложил инженеру:

— Угодно?

— Благодарю.

— Чудесный день, не правда ли?

— Это чувствуешь даже в мои пятьдесят лет...

Он задумчиво оглянулся, прищурив глаза, потом — вздохнул.

— Вы, я думаю, должны особенно сильно чувствовать игру весеннего солнца в жилах, это не потому только, что вы молоды, но — как я вижу,— весь мир для вас — иной, чем для меня, да?

— Не знаю,— сказал тот, усмехаясь,— но жизнь — прекрасна!

— Своими обещаниями? — скептически спросил инжеиер, н этот вопрос как бы задел собеседника, — надев шляпу, он быстро сказал:

— Жизнь прекрасна всем, что мне нравится в ней! Черт побери, дорогой мой инженер, для меня слова не только звукн и буквы, — когда я читаю книгу, вижу картину, любуясь прекрасным, — я чувствую себя так, как будто сам сделал все это!

Оба засмеялись, однн — громко и открыто, точно хвастаясь своим уменьем хохотать, откинув голову назад, выпятив широкую грудь, другой — почти беззвучно, всхлипывающнм смехом, обнажая зубы, в которых завязло золото, словно он недавно жевал его н забыл почнстить зеленоватые костн зубов.

— Вы — бравый парень, Трама, вас всегда приятно видеть, — сказал нnженер н, подмигнув, добавнл: — Еслн только вы не бунтуете...

— О, я всегда бунтую...

И, скорчив серьезную мину, прищурив бездонные черные глаза, он спросил:

— Надеюсь — мы тогда велн себя вполне корректно?

Пожав плечами, инженер встал.

— О да. Да! Эта история — вы знаете? — стоила предпрнятию тридцать семь тысяч лир...

— Было бы благоразумнее включить нх в заработную плату...

— Гм! Вы — плохо считаете. Благоразумие? Оно свое у каждого зверя.

Он протянул сухую желтую руку и, когда рабочий пожимал ее, сказал:

— Я все-таки повторяю, что вам следует учнться и учиться...

— Каждую минуту я учусь...

— Из вас выработался бы инженер с доброй фантазией.

— Э, фантазия не мешает мне жить н теперь...

— До свиданья, упрямец...

Инженер пошел под акациями, сквозь сеть солнечных лучей, шагая медленно длинными, сухими ногами, тщательно натягивая перчатку на тонкие пальцы правой рукн, — маленький, досиня черный гарсон отошел от двери ресторана, где он слушал эту беседу, и сказал рабочему, который рылся в кошельке, доставая медные монеты:

— Сильно стареет наш знаменитый...

— Он еще постоит за себя! — уверенно воскликнул рабочий.— У него много огня под черепом...

— Где будете вы говорить в следующий раз?

— Там же, на бирже труда. Вы слышали меня?

— Трижды, товарищ...

Крепко пожав друг другу руки, они с улыбкой расстались; один пошел в сторону, противоположную той, куда скрылся инженер, другой — задумчиво напевая, стал убирать посуду со столов.

Группа школьников в белых передниках — мальчики и девочки — марширует посредине дороги, от них искрами разлетается шум и смех, передние двое громко трубят в трубы, свернутые из бумаги, акации тихо осыпают их снегом белых лепестков. Всегда — а весною особенно жадно — смотришь на детей и хочется кричать вслед им, весело и громко:

— Эй вы, люди! Да здравствует ваше будущее!

XVIII

Если жизнь стала такова, что человек уже не находит куска хлеба на земле, удобренной костями его предков,— не находит и, гонимый нуждою, уезжает скрепя сердце на юг Америки, за тридцать дней пути от родины своей,— если жизнь такова, что вы хотите от человека?

Кто бы он ни был — все равно! Он — как дитя, оторванное от груди матери, вино чужбины горько ему и не радует сердца, но отравляет его тоскою, делает рыхлым, как губка, и, точно губка воду, это сердце, вырванное из груди родины,— жадно поглощает всякое зло, родит темные чувства.

У нас, в Калабрии, молодые люди перед тем, как уехать за океан, женятся,— может быть, для того, чтоб любовью к женщине еще более углубить любовь к родине,— ведь женщина так же влечет к себе, как родина, и ничто не охраняет человека на чужбине лучше, чем любовь, зовущая его назад, на лоно своей земли, на грудь возлюбленной.

Но эти свадьбы обреченных нуждою на изгнание почти всегда бывают прологами к страшным драмам рока, мести и крови, и — вот что случилось недавно в Сенеркии, коммуне, лежащей у отрогов Апеннин.

Эту историю, простую и страшную, точно она взята со страниц Библии, надобно начать издали, за пять лет до наших дней и до ее конца: пять лет тому назад в горах, в маленькой деревне Сарачена жила красавица Эмилия Бракко, муж ее уехал в Америку, и она находилась в доме свекра. Здоровая, ловкая работница, она обладала прекрасным голосом и веселым характером — любила смеяться, шутить и, немножко кокетничая своей красотой, сильно возбуждала горячие желания деревенских парней и лесников с гор.

Играя словами, она умела беречь свою честь замужней женщины, ее смех будил много сладких мечтаний, но никто не мог похвалиться победою над ней.

Вы знаете, что больше всех в мире страдают завистью дьявол и старуха: около Эмилии была свекровь, а дьявол всегда там, где можно сделать зло.

— Ты слишком весела без мужа, моя милая,— говорила старуха,— я, пожалуй, напишу ему об этом. Смотри, я слежу за каждым шагом твоим, помни,— твоя честь — наша честь...

Сначала Эмилия миролюбиво убеждала свекровь, что она любит ее сына, ей не в чем упрекнуть себя. А та все чаще и сильней оскорбляла ее подозрениями и, возбуждаемая дьяволом, принялась болтать направо и налево о том, что невестка потеряла стыд.

Услышав это, Эмилия испугалась и стала умолять ведьму, чтоб она не губила ее своими россказнями, клялась, что она ни в чем не виновна перед мужем, даже в мечтах не испытывает искушения изменить ему, а старуха — не верила ей.

— Знаю я,— говорила она,— ведь я тоже была молода, знаю я цену этим клятвам! Нет, я уж написала сыну, чтоб он возвращался скорее отомстить за свою честь!

— Ты написала?— тихо спросила Эмилия.

— Да.

— Хорошо...

Наши мужчины ревнивы, как арабы,— Эмилия понимала, чем грозит ей возвращение мужа.

На другой день свекровь пошла в лес собирать сухие сучья, а Эмилия — за нею, спрятав под юбкой топор. Красавица сама пришла к карабинерам сказать, что свекровь убита ею.

— Лучше быть убийцей, чем слыть за бесстыдную, когда честна,— сказала она.

Суд над нею был триумфом ее: почти все население Сенеркии пошло в свидетели за нее, и многие со слезами говорили судьям:

— Она невинна, она погублена напрасно!

Только один преподобный архиепископ Коцци решился поднять голос против несчастной: он не хотел верить в ее чистоту, говорил о необходимости поддерживать в народе старинные традиции, предупреждал людей, чтобы они не впадали в ошибку, допущенную греками, которые оправдали Фрину, увлеченные красотою женщины дурного поведения, говорил все, что обязан был сказать, и, может быть, благодаря ему Эмилию присудили к четырем годам простого заключения в тюрьме.

Так же, как и муж Эмилии, ее односельчанин Донато Гварначья жил за океаном, оставив на родине молодую жену заниматься невеселою работой Пенелопы — плести мечты о жизни и не жить.

И вот, три года тому назад, Донато получил письмо от своей матери; мать извещала, что его жена, Тереза, отдалась его отцу — ее мужу — и живет с ним. Вы видите: опять старуха и дьявол — вместе!

Гварначья-сын взял билет на первый же пароход в Неаполь и — точно с облака упал — явился домой.

Жена и отец притворились удивленными, а он, суровый и недоверчивый молодец, первое время держал себя спокойно, желая убедиться в справедливости доноса,— он слышал историю Эмилии Бракко; он хорошо приласкал жену, и некоторое время оба они как бы снова переживали медовый месяц любви, жаркий пир молодости.

Мать попыталась налить ему в уши яду, но он остановил ее:

— Довольно! Я хочу сам убедиться в правде твоих слов, не мешай мне.

Он знал, что оскорбленному нельзя верить, пусть это даже родная мать.

Почти половина лета прошла тихо и мирно, может быть, так прошла бы и вся жизнь, но во время кратких отлучек сына из дому его отец снова начал приставать к снохе; она противилась назойливости распущенного старика, и это разозлило его — слишком внезапно было

прервано его наслаждение молодым телом, и вот он решил отомстить женщине.

— Ты погибнешь,— пригрозил он ей.

— Ты — тоже,— ответила она.

У нас говорят мало.

Через день отец сказал сыну:

— А знаешь ли ты, что твоя жена была неверна тебе?

Тот, бледный, глядя прямо в глаза ему, спросил:

— Есть у вас доказательства?

— Да. Те, кто пользовался ее ласками, говорили мне, что у нее внизу живота большая родинка,— ведь это верно?

— Хорошо,— сказал Донато.— Так как вы, мой отец, говорите мне, что она виновна — она умрет!

Отец бесстыдно кивнул головою.

— Ну да! Распутных женщин надо убивать.

— И мужчин,— сказал Донато, уходя.

Он пошел к жене, положил свои тяжелые руки на плечи ей...

— Слушай, я знаю, ты изменяла мне. Ради любви, которая жила с нами и в нас до и после измены твоей, скажи — с кем?

— Ага!— вскричала она,— ты мог узнать это только от твоего проклятого отца, только он один...

— Он?— спросил крестьянин, и глаза его налились кровью.

— Он взял меня силой, угрозами, но — пусть будет сказана вся правда до конца...

Она задохнулась — муж встряхнул ее.

— Говори!

— Ах да, да, да,— прошептала женщина в отчаянии,— мы жили, я и он, как муж с женою, раз тридцать, сорок...

Донато бросился в дом, схватил ружье и побежал в поле, куда ушел отец, там он сказал ему все, что может сказать мужчина мужчине в такую минуту, и двумя выстрелами покончил с ним, а потом плюнул на труп и разбил прикладом череп его. Говорили, что он долго издевался над мертвым — будто бы вспрыгнул на спину ему и танцевал на ней свой танец мести.

Потом он пошел к жене и сказал ей, заряжая ружье:

— Отойди на четыре шага и читай молитву...

Она заплакала, прося его оставить ей жизнь...

— Нет,— сказал он,— я поступаю так, как требует

справедливость и как ты должна бы поступить со мною, если б виновен был я...

Он застрелил ее, точно птицу, а потом пошел отдать себя в руки властей, и когда он проходил улицею деревни, народ расступался пред ним, и многие говорили:

— Ты поступил как честный мужчина, Донато...

На суде он защищался с мрачной энергией, с грубым красноречием примитивной души.

— Я беру женщину, чтоб иметь от ее и моей любви ребенка, в котором должны жить мы оба, она и я! Когда любишь — нет отца, нет матери, есть только любовь,— да живет она вечно! А те, кто грязнит ее, женщины и мужчины, да будут прокляты проклятием бесплодия, болезней страшных и мучительной смерти...

Защита требовала от присяжных, чтобы они признали убийство в запальчивости и раздражении, но присяжные оправдали Донато, под бурные рукоплескания публики,— и Донато воротился в Сенеркию в ореоле героя, его приветствовали как человека, строго следовавшего старым народным традициям кровавой мести за оскорбленную честь.

Немного позднее оправдания Донато была освобождена из тюрьмы и его землячка Эмилия Бракко; в ту пору стояло грустное зимнее время, приближался праздник рождества Младенца, в эти дни у людей особенно сильно желание быть среди своих, под теплым кровом родного дома, а Эмилия и Донато одиноки — ведь их слава не была той славою, которая вызывает уважение людей,— убийца все-таки убийца, он может удивить, но и только, его можно оправдать, но — как полюбить? У обоих руки в крови и разбиты сердца, оба пережили тяжелую драму суда над ними — никому в Сенеркии не показалось странным, что эти люди, отмеченные роком, подружились и решили украсить друг другу изломанную жизнь; оба они были молоды, им хотелось ласки.

— Что нам делать здесь, среди печальных воспоминаний о прошлом?— говорил Донато Эмилии после первых поцелуев.

— Если вернется мой муж, он убьет меня, ибо теперь ведь я действительно в мыслях изменила ему,— говорила Эмилия.

Они решили уехать за океан, как только накопят достаточно денег на дорогу, и, может быть, им удалось бы найти в мире немножко счастья и тихий угол для себя, но вокруг них нашлись люди, которые думали так:

«Мы можем простить убийство по страсти, мы рукоплескали преступлению в защиту чести, но — разве теперь эти люди не идут против тех традиций, в защиту которых они пролили столько крови?»

Эти строгие и мрачные суждения, отголоски суровой древности, раздавались все громче и наконец дошли до ушей матери Эмилии — Серафины Амато, женщины гордой, сильной и, несмотря на свои пятьдесят лет, до сего дня сохранившей красоту уроженки гор.

Сначала она не поверила слухам, оскорбившим ее.

— Это — клевета,— сказала она людям,— вы забыли, как моя дочь страдала за охрану своей чести!

— Нет, не мы, а она забыла это,— ответили люди.

Тогда Серафина, жившая в другой деревне, пришла к дочери и сказала ей:

— Я не могу, чтобы про тебя говорили так, как начали говорить. То, что ты сделала в прошлом,— чистое и честное дело, несмотря на кровь, таким оно и должно остаться в поучение людям!

Дочь заплакала, говоря:

— Весь мир для людей, но для чего же люди, если они не сами для себя?..

— Спроси об этом священника, если так глупа, что не знаешь этого,— ответила ей мать.

Потом пришла к Донато и тоже, со всей энергией, предупредила его:

— Оставь мою дочь в покое, а то худо будет тебе!

— Послушай,— стал умолять ее молодой человек,— ведь я навсегда полюбил эту женщину, несчастную столько же, как я сам! Позволь мне увезти ее под другое небо, и все будет хорошо!

Он только подлил масла в огонь этими словами.

— Вы хотите бежать?— с яростью и отчаянием вскричала Серафина.— Нет, этого не будет!

Они расстались, рыча, как звери, и глядя друг на друга огненными глазами непримиримых врагов.

С этого дня Серафина стала следить за влюбленными, как умная собака за дичью, что, однако, не мешало им видеться украдкой, ночами — ведь любовь хитра и ловка тоже, как зверь.

Но однажды Серафине удалось подслушать, как ее дочь и Гварначья обсуждали план своего бегства,— в эту злую минуту она решилась на страшное дело.

В воскресенье народ собрался в церковь слушать мессу; впереди стояли женщины в ярких праздничных юбках и платках, сзади них, на коленях, мужчины; пришли и влюбленные помолиться мадонне о своей судьбе.

Серафина Амато явилась в церковь позднее всех, тоже одетая по-праздничному, в широком, вышитом цветными шерстями переднике поверх юбки, а под передником — топор.

Медленно, с молитвою на устах, она подошла к изображению архангела Михаила, патрона Сенеркии, преклонила колена пред ним, коснулась рукою его руки, а потом своих губ и, незаметно пробравшись к соблазнителю дочери, стоявшему на коленях, дважды ударила его по голове, вырубив на ней римское пять или букву V, что значит — вендетта, месть.

Вихрь ужаса охватил людей, с криком и воплями все бросились к выходу, многие упали без чувств на кафли пола, многие плакали, как дети, а Серафина стояла с топором в руке над беднягой Донато и бесчувственной дочерью своей, как Немезида деревни, богиня правосудия людей с прямою душой.

Так стояла она много минут, а когда люди, придя в себя, схватили ее, она стала громко молиться, подняв к небу глаза, пылающие дикой радостью:

— Святой Михаил — благодарю тебя! Это ты дал мне нужную силу, чтоб отомстить за поруганную честь женщины, моей дочери!

Когда же она узнала, что Гварначья жив и его отнесли на стуле в аптеку, чтобы перевязать страшные раны, ее охватил трепет, и, вращая безумными, полными страха глазами, она сказала:

— Нет, нет, я верю в бога, он умрет, этот человек! Ведь я нанесла очень тяжкие раны, это чувствовали руки мои, и — бог справедлив — этот человек должен умереть!..

Скоро эту женщину будут судить и, конечно, осудят тяжко, но — чему может научить удар того человека, который сам себя считает вправе наносить удары и раны? Ведь железо не становится мягче, когда его куют.

Суд людей говорит человеку:

— Ты — виновен!

Человек отвечает «да» или «нет», и все остается так, как было раньше.

А в конце концов, дорогие синьоры, надо сказать, что человек должен расти, плодиться там, где его посеял господь, где его любит земля и женщина...

XIX

Старик Джиованни Туба еще в ранней молодости изменил земле ради моря — эта синяя гладь, то ласковая и тихая, точно взгляд девушки, то бурная, как сердце женщины, охваченное страстью, эта пустыня, поглощающая солнце, не нужное рыбам, ничего не родя от совокупления с живым золотом лучей, кроме красоты и ослепительного блеска,— коварное море, вечно поющее о чем-то, возбуждая необоримое желание плыть в его даль,— многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует так много влаги у небес, так жадно хочет плодотворного труда людей и мало дает радости — мало!

Еще мальчишкой Туба, работая на винограднике, брошенном уступами по склону горы, укрепленном стенками серого камня, среди лапчатых фиг и олив, с их выкованными листьями, в темной зелени апельсинов и запутанных ветвях гранат, на ярком солнце, на горячей земле, в запахе цветов,— еще тогда он смотрел, раздувая ноздри, в синее око моря взглядом человека, под ногами которого земля не тверда — качается, тает и плывет,— смотрел, вдыхая соленый воздух, и пьянел, становясь рассеянным, ленивым, непослушным, как всегда бывает с тем, кого море очаровало и зовет, с тем, кто влюбился душою в море...

А по праздникам, рано, когда солнце едва поднималось из-за гор над Сорренто, а небо было розовое, точно соткано из цветов абрикоса,— Туба, лохматый, как овчарка, катился под гору, с удочками на плече, прыгая с камня на камень, точно ком упругих мускулов совсем без костей,— бежал к морю, улыбаясь ему широким, рыжим от веснушек лицом, а встречу, в свежем воздухе утра, заглушая сладкое дыхание проснувшихся цветов, плыл острый аромат, тихий говор волн,— они цеплялись о камни там, внизу, и манили к себе, точно девушки,— волны...

Вот он висит на краю розовато-серой скалы, спустив бронзовые ноги; черные, большие, как сливы, глаза его утонули в прозрачной, зеленоватой воде; сквозь ее жидкое стекло они видят удивительный мир, лучший, чем все сказки: видят золотисто-рыжие водоросли на дне морском, среди камней, покрытых коврами; из леса водорослей выплывают разноцветные «виолы» — живые цветы моря,— точно пьяный, выходит «перкия», с тупыми глазами, разрисованным носом и голубым пятном на животе, мелькает золотая «сарпа», полосатые, дерзкие «каньи»; снуют, как веселые черти, черные «гваррачины»; как серебряные блюда, блестят «спаральони», «окьяты» и другие красавицы рыбы — им нет числа!— все они хитрые и, прежде чем схватить червяка на крючке глубоко в круглый рот, ловко ощипывают его маленькими зубами,— умные рыбы!..

Точно птицы в воздухе, плавают в этой светлой, ласковой воде усатые креветки, ползают по камню раки-отшельники, таская за собой свой узорный дом-раковину; тихо двигаются алые, точно кровь, звезды, безмолвно качаются колокола лиловых медуз, иногда из-под камня высунется злая голова мурены с острыми зубами, изовьется пестрое змеиное тело, все в красных пятнах,— она точно ведьма в сказке, но еще страшней и безобразнее ее; вдруг распластается в воде, точно грязная тряпка, серый осьминог и стремительно бросится куда-то хищной птицей; а вот не торопясь двигается лангуст; шевеля длиннейшими, как бамбуковые удилища, усами; и еще множество разных чудес живет в прозрачной воде, под небом, таким же ясным, но более пустынным, чем море.

А море — дышит, мерно поднимается голубая его грудь; на скалу, к ногам Туба, всплескивают волны, зеленые в белом, играют, бьются о камень, звенят, им хочется подпрыгнуть до ног парня,— иногда это удается, вот он, вздрогнув, улыбнулся — волны рады, смеются, бегут назад от камней, будто бы испугались, и снова бросаются на скалу; солнечный луч уходит глубоко в воду, образуя воронку яркого света, ласково пронзая груди волн,— спит сладким сном душа, не думая ни о чем, ничего не желая понять, молча и радостно насыщаясь тем, что видит в ней, тоже ходят неслышно светлые волны, и, всеобъемлющая, она безгранично свободна, как море.

Так проводил он праздники, потом это стало звать его и в будни — ведь когда человека схватит за сердце море, он сам становится частью его, как сердце — только часть живого человека; и вот, бросив землю на руки брата, Туба ушел с компанией таких же, как сам он, влюбленных в простор,— к берегам Сицилии ловить кораллы; трудная, а славная работа, можно утонуть десять раз в день, но зато — сколько видишь удивительного, когда из синих вод тяжело поднимается сеть — полукруг с железными зубцами по краю, и в ней — точно мысли в черепе — движется живое, разнообразных форм и цветов, а среди него — розовые ветви драгоценных кораллов — подарок моря.

Так и заснул навсегда для земли человек, плененный морем, он и женщин любил, точно сквозь сон, недолго и молча, умея говорить с ними лишь о том, что знал,— о рыбе и кораллах, об игре волн, капризах ветра и больших кораблях, которые уходят в неведомые моря; был он кроток на земле; ходил по ней осторожно, недоверчиво и молчал с людьми, как рыба, поглядывая во все глаза зорким взглядом человека, привыкшего смотреть в изменчивые глубины и не верить им, а в море он становился тихо весел, внимателен к товарищам и ловок, точно дельфин.

Но как бы хорошо человек ни выбрал жизнь для себя — ее хватает лишь на несколько десятков лет,— когда просоленному морской водою Туба минуло восемьдесят — его руки, изувеченные ревматизмом, отказались работать — достаточно!— искривленные ноги едва держали согнутый стан, и, овеянный всеми ветрами старик, он с грустью вышел на остров, поднялся на гору, в хижину брата, к детям его и внукам,— это были люди слишком бедные для того, чтоб быть добрыми, и теперь старый Туба не мог — как делал раньше — приносить им много вкусных рыб.

Старику стало тяжело среди этих людей, они слишком внимательно смотрели за кусками хлеба, которые он совал кривою, темной лапой в свой беззубый рот; вскоре он понял, что лишний среди них; потемнела у него душа, сердце сжалось печалью, еще глубже легли морщины на коже, высушенной солнцем, и заныли кости незнакомою болью; целые дни, с утра до вечера, он сидел на камнях у двери хижины, старыми глазами глядя на светлое море, где растаяла его жизнь,

на это синее, в блеске солнца, море, прекрасное, как сон.

Далеко оно было от него, и трудно старику достичь берега, но он решился, и однажды, тихим вечером, пополз с горы, как раздавленная ящерица по острым камням, и когда достиг волн — они встретили его знакомым говором, более ласковым, чем голоса людей, звонким плеском о мертвые камни земли; тогда — как после догадывались люди — встал на колени старик, посмотрел в небо и вдаль, помолился немного и молча за всех людей, одинаково чужих ему, снял с костей своих лохмотья, положил на камни эту старую шкуру свою — и все-таки чужую,— вошел в воду, встряхивая седой головой, лег на спину и, глядя в небо,— поплыл вдаль, где темно-синяя завеса небес касается краем своим черного бархата морских волн, а звезды так близки морю, что кажется, их можно достать рукой.

Тихими ночами лета море спокойно, как душа ребенка, утомленного играми дня, дремлет оно, чуть вздыхая, и, должно быть, видит какие-то яркие сны,— если плыть ночью по его густой и теплой воде, синие искры горят под руками, синее пламя разливается вокруг, и душа человека тихо тает в этом огне, ласковом, точно сказка матери.

XX

В священной тишине восходит солнце, и от камней острова поднимается в небо сизый туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов дрока.

Остров, среди темной равнины сонных вод, под бледным куполом неба, подобен жертвеннику пред лицом бога — Солнца.

Только что погасли звезды, но еще блестит белая Венера, одиноко утопая в холодной высоте мутного неба, над прозрачною грядою перистых облаков; облака чуть окрашены в розоватые краски и тихо сгорают в огне первого луча, а на спокойном лоне моря их отражения — точно перламутр, всплывший из синей глубины вод.

Выпрямляются встречу солнцу стебли трав и лепестки цветов, отягченные серебром росы, ее светлые капли висят на концах стеблей, полнеют и, срываясь, падают

на землю, вспотевшую в жарком сне. Хочется слышать тихий звон их падения,— грустно, что не слышишь его.

Проснулись птицы, перепархивают в листве олив, поют, а снизу вздымаются в гору густые вздохи моря, пробужденного солнцем.

А все-таки — тихо, люди еше спят. В свежести утра запах цветов и трав яснее, чем звуки.

Из двери белого домика, захлестнутого виноградниками, точно лодка зелеными волнами моря, выходит навстречу солнцу древний старец Этторе Чекко, одинокий человечек, нелюдим, с длинными руками обезьяны, с голым черепом мудреца, с лицом, так измятым временем, что в его дряблых морщинах почти не видно глаз.

Медленно приподняв ко лбу черную, волосатую руку, он долго смотрит в розовеющее небо, потом — вокруг себя; пред ним, по серовато-лиловому камню острова, переливается широкая гамма изумрудного и золотого, горят розовые, желтые и красные цветы; темное лицо старика дрожит в добродушной усмешке, он утвердительно кивает круглой, тяжелой головой.

Он стоит, точно поддерживая тяжесть, чуть согнув спину, широко расставив ноги, а вокруг него все веселей играет юный день, ярче блестит зелень виноградников, громче щебечут вьюрки и чижи; в зарослях ежевики, ломоноса, в кустах молочая — бьют перепела, где-то свистит черный дрозд, щеголеватый и беззаботный, как неаполитанец.

Старый Чекко поднимает длинные усталые руки над головою, потягивается, точно собираясь лететь вниз, к морю, спокойному, как вино в чаше.

А расправив старые кости, он опустился на камень у двери, вынул из кармана куртки открытое письмо, отвел руку с ним подальше от глаз, прищурился и смотрит, беззвучно шевеля губами. На большом, давно не бритом и точно посеребренном лице его — новая улыбка: в ней странно соединены любовь, печаль и гордость.

Пред ним на куске картона изображены синей краской двое широкоплечих парней, они сидят плечо с плечом и весело улыбаются, кудрявые, большеголовые, как сам старик Чекко, а над головами их крупно и четко напечатано:

«АРТУРО И ЭНРИКО ЧЕККО»

два благородных борца за интересы своего класса. Они оргаиизовали 25 000 текстильных рабочих, заработок которых составлял 6 долларов в неделю, а за это они посажеиы в тюрьму.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ
БОРЦЫ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Старик Чекко неграмотен, и надпись сделана на чужом языке, но он знает, что написано именно так, каждое слово знакомо ему и кричит, поет, как медная труба.

Эта синяя открытка принесла старику много тревоги и хлопот: он получил ее месяца два тому назад и тотчас же, инстинктом отца, почувствовал, что дело неладио: ведь портреты бедных людей печатаются лишь тогда, когда эти люди нарушают законы.

Чекко спрятал в карман этот кусок бумаги, но он лег ему на сердце камнем и с каждым днем все становился тяжелей. Не однажды он хотел показать письмо священнику, ио долгий опыт жизии убедил его, что люди справедливо говорят: «Может быть, поп и говорит богу правду про людей, но людям правду — никогда».

Первый, у кого он спросил о таинственном значении открытки, был рыжий художник, иностранец — длинный и худой парень, который очень часто приходил к дому Чекко и, удобно поставив мольберт, ложился спать около него, пряча голову в квадратную теиь начатой картины.

— Сииьор,— спросил он художника,— что сделали эти люди?

Художник посмотрел на веселые рожи детей старика и сказал:

— Должно быть, что-то смешиое...

— А что иапечатаио про них?

— Это — по-английски. Кроме англичан, их язык понимает только бог, да еще моя жена, если оиа говорит правду в этом случае. Во всех других случаях оиа не говорит правды...

Художник был болтлив, как чиж, он, видимо, ни о чем не мог говорить серьезно. Старик угрюмо отошел прочь от него, а на другой день явился к жене художника, толстой синьоре,— он застал ее в саду, где она, одетая в широкое и прозрачное белое платье, таяла от жары, лежа в гамаке и сердито глядя синими глазами в синее небо.

— Эти люди посажены в тюрьму,— сказала оиа ломаным языком.

У него дрогнули ноги, как будто весь остров пошатнулся от удара, но он все-таки нашел силы спросить:

— Украли или убили?

— О нет. Просто, они — социалисты.

— Что такое — социалисты?

— Это — политика,— сказала синьора голосом умирающей и закрыла глаза.

Чекко знал, что иностранцы — самые бестолковые люди, они глупее калабрийцев, но ему хотелось знать правду о детях, и он долго стоял около синьоры, ожидая, когда она откроет свои большие ленивые глаза. А когда наконец это случилось, он спросил, ткнув пальцем в карточку:

— Это — честно?

— Я не знаю,— ответила она с досадой.— Я сказала — это политика, понимаешь?

Нет, он не понимал: политику делают в Риме министры и богатые люди для того, чтобы увеличить налоги на бедных людей. А его дети — рабочие, они живут в Америке и были славными парнями — зачем им делать политику?

Всю ночь он просидел с портретом детей в руках — при луне он казался черным и возбуждал еще более мрачные мысли. Утром решил спросить священника,— черный человек в сутане кратко и строго сказал:

— Социалисты — это люди, которые отрицают волю бога,— достаточно, если ты будешь знать это.

И добавил еще строже, вслед старику:

— Стыдно в твои годы интересоваться такими вещами!..

«Хорошо, что я не показал ему портрета»,— подумал Чекко.

Прошло еще дня три, он пошел к парикмахеру, щеголю и вертопраху. Про этого парня, здорового, как молодой осел, говорили, что он за деньги любит старых американок, которые приезжают будто бы наслаждаться красотою моря, а на самом деле ищут приключений с бедными парнями.

— Боже!— воскликнул этот дурной человек, прочитав надпись, и щеки его радостно вспыхнули.— Это Артуро и Энрико, мои товарищи! О, я от души поздравляю вас, отец Этторе, вас и себя! Вот у меня и еще двое знаменитых земляков — можно ли не гордиться этим?

— Не болтай лишнего,— предупредил его старик.

Но тот кричал, размахивая руками:

— Это хорошо!

— Что напечатано про них?

— Я не могу прочитать, но я уверен, что напечатали правду. Бедняки должны быть великими героями для того, чтобы о них сказали правду наконец!

— Молчи, прошу тебя,— сказал Чекко и ушел, яростно стуча деревянными башмаками по камням.

Он пошел к русскому синьору, о котором говорили, что это добрый и честный человек. Пришел, сел у койки, на которой тот медленно умирал, и спросил его:

— Что сказано об этих людях?

Прищурив глаза, обесцвеченные болезнью и печальные, русский слабым голосом прочитал надпись на открытке и хорошо улыбнулся старику, а тот сказал ему:

— Синьор, вы видите — я очень стар и уже скоро пойду к моему богу. Когда мадонна спросит меня — что я сделал с моими детьми, я должен буду рассказать ей это правдиво и подробно. Это мои дети здесь на карточке, но я не понимаю, что они сделали и почему в тюрьме?

Тогда русский очень серьезно и просто посоветовал ему:

— Скажите мадонне, что ваши дети хорошо поняли главную заповедь ее сына: они любят ближних живой любовью...

Ложь нельзя сказать просто: она требует громких слов и многих украшений,— старик поверил русскому и крепко пожал его маленькую и не знавшую труда руку.

— Значит, это не позорно для них — тюрьма?

— Нет,— сказал русский.— Ведь вы знаете, что богатых сажают в тюрьму лишь тогда, если они сделают слишком много зла и не сумеют скрыть это, бедные же попадают в тюрьмы, чуть только захотят немножко добра. Вы — счастливый отец, вот что я вам скажу!

И слабеньким своим голосом он долго говорил Чекко о том, как они хотят победить нищету, глупость и все то, страшное и злое, что рождается глупостью и нищетой...

Солнце горит в небе, как огненный цветок, и сеет золотую пыль своих лучей на серые груди скал, а из каждой морщины камня, встречу солнцу, жадно тянется живое — изумрудные травы, голубые, как небо, цветы. Золотые искры солнечного света вспыхивают и гаснут в полных каплях хрустальной росы.

Старик следит, как все вокруг него дышит светом, поглощая его живую силу, как хлопочут птицы и, строя гнезда, поют; он думает о своих детях: парни за океаном, в тюрьме большого города,— это плохо для их здоровья, плоховато, да...

Но — они в тюрьме за то, что выросли честными ребятами, каким был всю жизнь их отец,— это хорошо для них и для его души.

И бронзовое лицо старика точно тает в гордой улыбке.

— Земля — богата, люди — бедны, солнце — доброе, человек — зол. Всю жизнь я думал об этом, и хотя не говорил им, а они поняли думы отца. Шесть долларов в неделю — это сорок лир, ого! Но они нашли, что этого мало, и двадцать пять тысяч таких же, как они, согласились с ними — этого мало для человека, который хочет хорошо жить...

Он уверен, что в его детях развились и выросли скрытые мысли его сердца, он очень гордится этим, но, зная, как мало люди верят сказкам, которые создают сами же они каждый день, он молчит.

Лишь иногда старое емкое сердце переполняется думами о будущем детей, и тогда старый Чекко, выпрямив натруженную спину, выгибает грудь и, собрав последние силы, хрипло кричит в море, вдаль, туда, к детям:

— Вальо-о!..[1]

И солнце смеется, восходя все выше над густой и мягкой водою моря, а люди с виноградников отвечают старику:

— Ой-и!

XXI

Скоро полночь.

В синем небе над маленькой площадью Капри низко плывут облака, мелькают светлые узоры звезд, вспыхивает и гаснет голубой Сириус, а из дверей церкви густо льется важное пение органа, и все это — бег облаков, трепет звезд, движение теней по стенам зданий и камню площади — тоже как тихая музыка.

Под ее торжественный ритм вся площадь, похожая на оперную декорацию, колеблется, становясь то тесной и темной, то — просторной и призрачно светлой.

---

[1] Здесь: будьте сильными! — *Ред.*

Над Монте-Соляро раскинулось великолепное созвездие Ориона, вершина горы пышно увенчана белым облаком, а обрыв ее, отвесный, как стена, изрезанный трещинами,— точно чье-то темное, древнее лицо, измученное великими думами о мире и людях.

Там, на высоте шестисот метров, накрыт облаком заброшенный маленький монастырь и — кладбище, тоже маленькое, могилы на нем подобны цветочным грядам, их немного, и в них, под цветами,— все монахи этого монастыря. Иногда его серые стены выглядывают из облака, точно прислушиваясь к тому, что творится внизу.

По площади шумно бегают дети, разбрасывая шутихи; по камням, с треском рассыпая красные искры, прыгают огненные змеи, иногда смелая рука бросает зажженную шутиху высоко вверх, она шипит и мечется в воздухе, как испуганная летучая мышь, ловкие темные фигурки бегут во все стороны со смехом и криками — раздается гулкий взрыв, на секунду освещая ребятишек, прижавшихся в углах,— десятки бойких глаз весело вспыхивают во тьме.

Взрывы раздаются почти непрерывно, заглушая хохот, возгласы испуга и четкий стук деревянных башмаков по гулкой лаве; вздрагивают тени, взмывая вверх, на облаках пылают красные отражения, а старые стены домов точно улыбаются — они помнят стариков детьми и не одну сотню раз видели это шумное и немножко опасное веселье детей в ночь на рождество Христа.

Но чуть только выделится секунда тишины — снова слышен серьезный, молитвенный гул органа, а снизу ему отвечает море глухими ударами волн о прибрежные камни и шелковым шорохом гальки.

Залив — точно чаша, полная темным, пенным вином, а по краям ее сверкает живая нить самоцветных камней, это огни городов — золотое ожерелье залива.

Над Неаполем — опаловое зарево, оно колышется, точно северное сияние, десятки ракет и фугасов врываются в него, расцветают букетами ярких огней и, на миг остановясь в трепетном облаке света, гаснут,— доносится тяжкий гул.

По всему полукругу залива идет неустанно красивая беседа огня: холодно горит белый маяк неаполитанского порта и сверкает красное око Капо ди Мизена, а огни на Прочиде и у подножия Искии — как ряды крупных бриллиантов, нашитые на мягкий бархат тьмы.

По заливу ходят стада белых волн, сквозь их певучий плеск издали доносятся смягченные вздохи взрывов ракет; все еще гудит орган и смеются дети, но — вот неожиданно и торжественно колокол башенных часов бьет четыре и двенадцать раз.

Кончилась месса, из дверей церкви на широкие ступени лестницы пестрой лавою течет толпа — встречу ей, извиваясь, прыгают красные змеи. Пугливо вскрикивают женщины, радостно хохочут мальчишки,— это их праздник, и никто не смеет запретить им играть красивым огнем.

Немножко испугать солидного, празднично одетого взрослого человека, заставить его, деспота, попрыгать по площади от шутихи, которая гонится за ним, шипя и обрызгивая искрами сапоги его,— это такое высокое удовольствие! И его испытываешь только один раз в год...

Чувствуя себя в ночь рождения Младенца, любившего их, королями и хозяевами жизни,— дети не скупятся воздать взрослым за год их скучной власти минутами своего веселого могущества: взрослые дяденьки тяжело подпрыгивают, увертываясь от огня, и добродушно просят о пощаде:

— Баста! Эй, разбойники,— баста!

Спешно идут дзампоньяры — пастухи из Абруццы, горцы в синих, коротких плащах и широких шляпах. Их стройные ноги, в чулках из белой шерсти, опутаны крестнакрест темными ремнями, у двоих под плащами волынки, четверо держат в руках деревянные, высокого тона рожки.

Эти люди являются на остров ежегодно и целый месяц живут здесь, каждый день славословя Христа и богоматерь своей странной, красивой музыкой.

Трогательно видеть их на рассвете, когда они, бросив шляпы к ногам своим, стоят пред статуей мадонны, вдохновенно глядя в доброе лицо Матери и играя в честь ее невыразимо волнующую мелодию, которая однажды метко названа была «физическим ощущением бога».

Теперь пастухи идут к яслям Младенца, он лежит в доме старика столяра Паолино, и его надобно перенести в церковь св. Терезы.

Дети бросаются вслед за ними, узкая улица проглатывает их темные фигурки, и несколько минут — площадь почти пуста, только около храма на лестнице тесно стоит толпа людей, ожидая процессию, да тени обла-

ков тепло и безмолвио скользят по стеиам зданий н по головам людей, словно лаская их.

Вздыхает море. Во тьме, иад перешейком острова, рисуется пиния, как огромиая ваза иа тонкой ножке. Ослепительно сверкает Сириус, туча с Монте-Соляро сползла, ясно виден сиротливый маленький монастырь над обрывом горы и одинокое дерево перед ним, как на страже.

Из арки улицы, как из трубы, светлымн ручьями радостно льются песни пастухов; без шляп, горбоносые и в своих плащах похожие на огромных птиц, они идут играя, окружеиные толпою детей с фонарямн на высоких древках, десятки огней качаются в воздухе, освещая маленькую, круглую фигурку старика Паолиио, его серебряную голову, ясли в его руках и в яслях, полных цветами,— розовое тело Младенца, с улыбкою поднявшего вверх благословляющие ручки.

Старик смотрит на эту куколку из терракоты с таким умилением, как будто оиа для него — живая, дышит и обещает с восходом солнца утвердить «на земле мир и в человецех благоволенне».

Со всех сторон к яслям наклоняются седые обнаженные головы, суровые лица, всюду блестят ласковые глаза. Вспухли бенгальские огии, все темное исчезло с площади — как будто иеожиданно наступил рассвет. Дети поют, кричат, смеются, на лнцах взрослых — милые улыбки, можно думать, что онн тоже хотели бы прыгать и шуметь, но — боятся потерять в глазах детей свое зиачеиие людей серьезных.

Над толпою золотыми мотыльками трепещут желтые огни свеч, выше, в темно-синем небе разиоцветно горят звезды; из другой улицы выливается еще процессия — это девочка со статуей мадонны, и — еще музыка, огни, веселые крики, детский смех,— всей душою чувствуешь рождение праздника.

Младенца несут в старую церковь, в ней — по ветхости ее — давно не служат, и целый год она стоит пустая, но сегодня ее древние стены украшены цветами, листьямн пальм, золотом лимонов, мандарин, и вся она занята искусио сделанной картиной рождества Христова.

Из больших кусков пробки построены горы, пещеры, Вифлеем н причудливые замки на вершннах гор; змеею вьется дорога по склонам; на полянах — стада овец и

коэ; сверкают водопады из стекла; группы пастухов смотрят в небо, где пылает золотая звезда, летят ангелы, указывая одною рукой на путеводную звезду, а другой — в пещеру, где приютились богоматерь, Иосиф и лежит Младенец, подняв руки в небеса. Идет пестрый, нарядный караван волхвов и царей, над ним, на серебряных нитях, качаются ангелы с ветвями пальм и розами в руках. Длиннобородые маги на верблюдах, одетые в яркие шелка, белокурые короли, верхом на лошадях, в роскошных локонах и в парче, кудрявые нумидийцы, арабы и евреи и еще какие-то яркие, фантастически одетые фигурки из терракоты — их сотни в этой картине.

А вокруг яслей — арабы в белых бурнусах уже успели открыть лавочки и продают оружие, шелк, сласти, сделанные из воска, тут же какие-то неизвестной нации люди торгуют вином, женщины, с кувшинами на плечах, идут к источнику за водою, крестьянин ведет осла, нагруженного хворостом, вокруг Младенца — толпа коленопреклоненных людей, и всюду играют дети.

Все это сделано, одето, раскрашено и размещено умело и искусно, и кажется, что все живет и шумит.

Дети стоят перед картиной, уже виденной ими в прошлом году, внимательно осматривают ее, и зоркие, памятливые глазенки тотчас же ловят то новое, что добавлено на этот раз. Делятся открытиями, спорят, смеются, кричат, а в углу стоят те, кто сделал эту красивую вещь, и — не без удовольствия прислушиваются к похвалам юных ценителей.

Конечно, они — взрослые, отцы семейств и слишком серьезны для того, чтобы увлекаться игрушками, они держатся так, как будто все это нимало не касается их, но дети очень часто умнее взрослых и всегда искреннее, они знают, что похвала и старику приятна, и — не скупятся на похвалы мастерам, заставляя их поглаживать усы и бороды, чтобы скрыть улыбки удовлетворения и удовольствия.

Кое-где ребятишки собираются группами, озабоченно совещаясь, — составляют «банды», под Новый год они будут ходить по острову с елкой и звездою большими компаниями, вооружаясь какими-то старинными инструментами, которые оглушительно гремят, стучат и гукают. Под эти смешные звуки хоры детских голосов запоют

веселые языческие песенки — их ежегодно к этому дню создают местные поэты.

Доброго иачала Нового года
Синьору и синьоре!
Выслушайте весело
Эти пожелаиия ваших маленьких друзей!

Откройте уши и сердца
И кладовую вашу:
Ныие — день радости,
Веселый, божий день!

Родился наш мессия
И голеньким и бедным —
Быки его согрели
Дыханием своим.

От всех-то наших горестей
Хотел освободить он нас,
Всю жизнь свою для этого
Он отдал беднякам.

И вот, чтоб помянуть Христа
Достойно его имени,
Давайте проведем сей день
Как можно веселей!..

И в это время, как одна «банда» детей поет, приплясывая, этот языческий гимн, другая — заглушает ее пение еще более веселой песенкой:

Вспомните, как пастухи
И цари с волхвами вместе
Опустились на колени
Пред яслями Младенца!

— Бум, бум,— глухо отбивает такт барабан, а какая-то тонкая дудочка не может поспеть за голосами детей и смешно свистит как-то сбоку их, точно обиженная...

А король-разбойник Ирод
Жалко струсил пред Младенцем
И велел, злодей, мальчишек
В своем царстве перерезать!

Но давно прошло то время,
Ирод — помер, мы все — живы.
Ныие режут в честь Иисуса
Только кур да каплунов!

Бойкий темп песни возбуждает и взрослых, вот к толпе детей тяжело подвалился плотный извозчик Карло Бамбола и, надувшись докрасна, орет, заглушая голоса детей:

Пусть исчезнут все заботы,
Пропадет навеки горе,
Чтоб весь год не знать болезней,
Не открыть нам рта для жалоб!

Видишь, как горит на небе
Лучезарное светило?
Пусть вот так же разгорится
Наша жизнь тепло и ярко!..

Мечтательно лучатся темные глаза женщин, следя за детьми; все ярче веселье и веселее взгляды; празднично одетые девушки лукаво улыбаются парням; а в небе тают звезды. И откуда-то сверху — с крыши или из окна — звонко льется невидимый тенор:

Будьте веселы, здоровы,
Остальное все — придет!

В старом храме все живее звенит детский смех — лучшая музыка земли. Небо над островом уже бледнеет, близится рассвет, звезды уходят все выше в голубую глубину небес.

В темной зелени садов острова разгораются золотые шары апельсин, желтые лимоны смотрят из сумрака, точно глаза огромных сов. Вершины апельсиновых деревьев освещены молодыми побегами желтовато-зеленой листвы, тускло серебрится лист оливы, колеблются сети голых лоз винограда.

Красно улыбаются встречу заре яркие цветы гвоздики и малиновые метелки шалфея, густой запах нарцисса плывет в свежем воздухе утра, смешиваясь с соленым дыханием моря.

Плеск волн — звучнее, они стали прозрачны, и пена их белеет, точно снег.

XXII

Квартал святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккачио, и который не однаж-

ды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томазо Аниелло — Мазаниелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб,— Мазаниелло родился тоже в нашем квартале.

Вообще — в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей,— в старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней, а ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других, да и душа туго растет, когда ее пеленают газетной бумагой.

До лета прошлого года другою гордостью квартала была Нунча, торговка овощами,— самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла,— над ним солнце стоит всегда немножко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался доныне таким, как был всегда; все более желтея от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотою,— мраморные дети не стареют и не устают в играх.

А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца,— редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом стоит рассказать.

Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтобы спокойно жить с мужем; муж ее долго не понимал этого — кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок, но полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину; перемена воздуха очень помогает сердитым людям.

Нунча в двадцать три года осталась вдовою с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой,— веселому человеку немного нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много; когда же у нее не хватало денег, чтоб заплатить за труд,— она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег.

Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все, но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами,— она говорила:

— Кто разлюбил женщину — значит, он не умеет любить...

Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу

к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело,— Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды:

— Ты, кажется, думаешь, что любовь — наука такая же трудная, как богословие?

Она ответила:

— Наук я не знаю, но твои песни — все.

И пропела ему, толстому, как бочка:

Это уж так водится:
Тогда весна была —
Сама богородица
Весною зачала.

Он, разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек.

Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех, даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека — в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина — не бог, а только богу нельзя изменить...

Лет десять сияла Нунча звездою, всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала, и, будь она девушкой,— ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех.

Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине,— это всегда смешило ее до упада.

— На каком языке будет говорить со мною этот сто раз выстиранный синьор?

— На языке золотых монет, дурочка,— убеждали ее солидные люди, но она отвечала:

— Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров...

Были случаи, когда люди, искренне желавшие ей добра, говорили с нею очень настойчиво:

— Какой-нибудь месяц, Нунча, и — ты богата! Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь...

— Нет,— возражала она,— я люблю мое тело и не могу оскорблять его! Я знаю — стоит только один раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе...

— Но — ведь ты не отказываешь другим!

— Своим, и — когда хочу...

— Э, что такое — свои?

Она знала это:

— Люди, среди которых выросла моя душа и которые понимают ее...

Но все-таки у нее была история с одним форестьером из Англии,— очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица — шрам, лицо — разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он — игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат,— Нунча не привезла с собою ни денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих,— как всегда веселая, доступная всем радостям.

Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно:

— Смотрите-ка,— Нина становится совсем точно мать!

Это была правда, как майский день: дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездою, такою же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, но — очень рослая, пышноволосая, с гордыми глазами — она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной.

Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней:

— Святая мадонна! Неужели ты, Нина, хочешь быть красивей меня?

Девушка, улыбаясь, ответила:

— Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно...

И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидали тень грусти, а вечером она сказала подругам:

— Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука...

Разумеется, сначала не заметно было и тени соперничества между матерью и Ниной,— дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и пред мужчинами неохотно открывала рот; а глаза матери горели все жадней, и все призывней звучал ее голос.

Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца, и это верно: для многих Нунча была первым лучом дня любви, многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своею тележкой, стройная, точно мачта, и го-



лос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед яркоразноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены,— ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти, она и умерла в трех шагах от него. Стоит и — точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи.

Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла: чем прозрачнее стекло — тем лучше оно показывает душу вина, цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтоб дать душе немножко крови солнца. Вино, о господи! Мир со всем его шумом и суетою не стоил бы ослиного копыта, не имей человек сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни... Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце,— вино расскажет вам такие сказки...

Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание нравиться ей,— пред красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего.

Да, а около матери все чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить.

Идет время, все ускоряя свой торопливый, мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца, мелькают во времени люди. Нунча все чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты...

Проходит год, два — дочь все ближе к матери и — дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей — на ту или эту. А подруги,— друзья и подруги любят укусить там, где чешется,— подруги спрашивают:

— Что, Нунча, гасит тебя дочь?

Женщина, смеясь, отвечала:

— Большие звезды и при луне видны...

Как мать — она гордилась красотой дочери, как женщина — Нунча не могла не завидовать юности; Нина встала между нею и солнцем,— матери обидно было жить в тени.

Лано сочинил новую песенку, в первом куплете ее говорилось:

Будь я мужчиной,— я тогда
Заставила бы дочь мою
Родить земле красавицу,
Как я в ее года...

Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче:

— Мы могли бы жить лучше, если б ты была более благоразумна.

И настал день, когда дочь сказала матери:

— Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое! Ты жила много и весело, не пришло ли и для меня время жить?

— В чем дело?— спросила мать, виновато опустив глаза,— знала она, в чем дело.

Воротился из Австралии Энрико Борбоне, он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие деньги, он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живется свободней. Было ему тридцать шесть лет,— бородатый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах; все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь — за правду.

— Я вижу, что нравлюсь Энрико,— говорила Нина,— а ты с ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне.

— Понимаю,— сказала Нунча.— Хорошо, ты не станешь жаловаться мадонне на твою мать...

И эта женщина честно отошла прочь от человека, который — все видели — был приятен ей больше многих других.

Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя — дело совсем плохо!

Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживала Нунча; и вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тарантеллу,— дочь заметила ей при всех:

— Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце...

Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а Нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока:

— Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо! Но — посмотрим, чье сердце сильнее!

И, подумав, предложила:

— Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно...

Многим показалась смешной эта гонка женщин, были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая Нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери.

Выбрали судей, назначили предельную скорость бега,— все, как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренне желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу.

И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы,— мать в красном платке на голове, дочь — в голубом.

Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери и в легкости и силе,— Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка,— люди стали бросать из окон и с тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, одобряя ее криками; в два конца она опередила дочь на четыре минуты с лишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти,— не могла уже бежать третий раз.

Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими:

— Дитя,— говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой,— дитя, надо

знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви,— сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать... дитя, не огорчайся!..

И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу:

— Кто хочет?

Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею.

Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое, темное вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея,— глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело.

Плясала она долго, со многими, мужчины уставали, а она все не могла насытиться, и уже было за полночь, когда она, крикнув:

— Ну, еще раз, Энри, последний!— снова медленно начала танец с ним — глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много,— но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени.

Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно...

XXIII

Остров спит — окутан строгой тишиной, море также спит, точно. умерло,— кто-то сильною рукой бросил с неба этот черный, странной формы камень в грудь моря и убил в ней жизнь.

Если смотреть на остров из дали морской, оттуда, где золотая дуга Млечного Пути коснулась черной воды,— остров кажется лобастым зверем: выгнув мохнатую спину, он прильнул к морю огромной пастью и молча пьет воду, застывшую, как масло.

В декабре очень часты эти мертвенно тихие черные ночи, до того странно тихие, что неловко и не нужно говорить иначе, как шепотом или вполголоса,— все кажется, что громкий звук может помешать чему-то, что тайно зреет в каменном молчании под синим бархатом ночного неба.

Так и говорят — вполголоса — двое людей, сидя в хаосе камня на берегу острова; один — таможенный солдат в черной куртке с желтыми кантами и коротким ружьем за спиною,— он следит, чтобы крестьяне и рыбаки не собирали соль, отложившуюся в щелях камней; другой — старый рыбак, обритый, точно испанец, темнолицый, в серебряных баках от ушей к носу,— нос у него большой и загнут, точно у попугая.

Камни как будто окованы серебром, но море окислило белый металл.

Солдат молод и, конечно, говорит о том, что внушают ему года, старик возражает, неохотно и, порою, сердито:

— Кто же любит в декабре? В это время уже родятся дети...

— Н-но! Если люди молоды — они не ждут...

— Нужно ждать...

— Ты ждал?

— Я, друг мой, не был солдатом, я работал, и все, что человек должен испытать,— мною испытано в свои сроки...

— Не понимаю...

— Потом — поймешь...

Недалеко от берега в воде отражается голубой Сириус; если долго присматриваться к этому тусклому пятну на воде — рядом с ним становится виден пробковый буек, круглый, точно голова человека, и совершенно неподвижный.

— Отчего ты не спишь?

Старик распахнул потертый плащ, рыжий от старости, и ответил, покашливая:

— У нас поставлена сеть, видишь буй?

— А...

— Три дня тому назад сеть одной компании была сорвана и спутана...

— Дельфины?

— Зимой? Нет, конечно. Может быть, акула, тонна... кто знает?

Под ногою какого-то зверя маленький камень сорвался с горы, побежал, шелестя сухою травой, к морю и звонко разбил воду. Этот краткий шум хорошо принят молчаливой ночью и любовно выделен ею из своих глубин, точно она хотела надолго запомнить его.

Солдат тихонько напевает насмешливую песенку:

— Отчего старики плохо спят?
Догадайся, Умберто, подумай!

— Оттого, что слишком много
Пили в юности вина...

— Это не про меня сказано,— ворчливо отозвался старик.

— А еще отчего плохо спят старики?
Что ты скажешь, Бергито умный?
— Оттого, что в свое время
Не любили сколько нужно...

— Хорошая песня, дядя Пашкале?

— Ты сам узнаешь это, когда тебе минет шестьдесят... Зачем спрашивать?

Долго оба молчали согласно с миром, онемевшим в ночи, потом старик, вынув трубку, постучал ею о камень, прислушался к сухим коротким звукам и сказал:

— Вы, мальчики, смеетесь хорошо, но не знаю, так ли хорошо вы умеете любить, как любили в старину...

— Ба! Знакомая песня... Любят всегда одинаково, я думаю...

— Ты думаешь! Надо знать. Вон, за горою, живет семья Сенцамане,— спроси у них историю деда Карло — это будет полезно для твоей жены.

— Что мне спрашивать незнакомых людей, если ты сам можешь рассказать эту историю...

Где-то невидимо летит ночная птица,— в воздухе трепещет особенный и странный звук — точно чем-то шерстяным торопливо отирают сухие камни.

Тьма на земле становится гуще, сырее, теплее, небо уходит выше, и все ярче сверкают звезды в серебряном тумане Млечного Пути.

— В старину женщины ценились дороже...

— Будто? Не слыхал.

— Люди часто воевали...

— Вдов оставалось много...

— Постоянно — пираты, солдаты, и почти каждые пять лет в Неаполе новые правители,— женщин надо было держать под замком.

— Это и теперь не плохо...

— Их воровали, точно кур...

— Хотя они больше похожи на лисиц...

Старик замолчал, зажег трубку,— в неподвижном воздухе повисло белое облако сладкого дыма. Вспыхивает огонь, освещая кривой, темный нос и коротко остриженные усы под ним.

— Ну, что же далее?— сонно спросил солдат.

— Слушать надо молча...

В трепете Сириуса такое напряжение, точно гордая звезда хочет затмить блеск всех светил. Море осеяно золотой пылью, и это почти незаметное отражение небес немного оживляет черную, немую пустыню, сообщая ей переливчатый, призрачный блеск. Как будто из глубин морских смотрят в небо тысячи фосфорически сияющих глаз...

— Я слушаю,— нетерпеливо нарушил солдат обиженное, рыбье молчание рыбака, и не спеша, негромко, старик начал сплетать повествование о том, что все и всегда будут слушать внимательно.

— Лет сто тому назад, вон там на горе, где густые сосны, жили греки Экеллани, горбатый старик, колдун и контрабандист, а у него — сын Аристидо, охотник,— тогда на острове еще водились козы. В ту пору здесь самой богатой семьей были Гальярди,— теперь они носят прозвище деда — Сенцамане,— половина виноградников была в их руках, восемь подвалов имели они и более тысячи бочек. Тогда наше белое вино ценилось даже во Франции, где, как я слышал, ничего не умеют ценить, кроме вина. Эти французы все игроки и пьяницы, они проиграли в карты сатане даже голову короля своего...

Солдат тихонько засмеялся, и, отвечая его смеху, где-то близко тихонько всплеснула вода; оба молча насторожились, вытянув шеи к морю, а от берега кольцами уходила тихая рябь.

— Это — черния пробует наживу на крючках...

— Продолжай...

— Да... Гальярди. Их было трое братьев,— история говорит о среднем, Карлоне, как его назвали за огромный рот и потрясающий голос. Он выбрал себе для сердца бедную девушку Джулию, дочь кузнеца, очень умную девушку,— силачи ведь не бывают умными. Что-то мешало им жениться, и они томились, ожидая дня своей свадьбы, а сын грека — не дремал, ему тоже нравилась Джулия. Он долго старался о том, чтоб она полюбила его, но не имел успеха и решил опозорить девушку, рассчитав, что Карлоне Гальярди откажется от порочной и тогда ему легко будет взять ее. В то время было строже, чем теперь...

— Н-ну, и теперь...

— Распутство — веселье богатых, а мы здесь все бедные,— сурово сказал старик и продолжал, точно себе самому напоминая прошлое:

— Однажды, когда девушка собирала срезанные ветки лоз,— сын грека, как будто оступившись, свалился с тропы над стеною ее виноградника и упал прямо к ногам ее, а она, как хорошая христианка, наклонилась над ним, чтоб узнать, нет ли ран? Стоная от боли, он просил ее:

— «Джулия, не зови людей на помощь, прошу тебя! Я боюсь,— если ревнивый жених твой увидит меня рядом с тобою — он меня убьет... Дай мне отдохнуть, я уйду...»

— Положив голову на колени ей, он притворился потерявшим сознание; а она, испуганная, закричала о помощи, но, когда прибежали люди,— он вдруг вскочил на ноги, здоровешенек, но будто бы очень смущенный, и начал кричать о своей любви, о своих честных намерениях, клялся, что прикроет позор девушки браком,— поставил дело так, словно он, утомленный ласками Джулии, заснул на коленях ее. Простодушные люди поверили ему, несмотря на гнев девушки, забыв о том, что ведь она сама звала на помощь,— никто не знал, что характер грека зовется хитростью. Греков крестил черт для того, чтобы лучше запутать все дела христиан. Девушка клянется, что грек — лжет, а он убеждает людей, что Джулии стыдно признать правду, что она боится тяжелой руки Карлоне; он одолел, а девушка стала как безумная, и все пошли в город, связав ее, потому что она кидалась на людей с камнем в руке. А Карлоне уже услыхал ее крики, бросился встречу ей, но когда ему сказали, что случилось, он упал на колени среди толпы, потом вскочил и ударил невесту свою левой рукою по лицу, а правой стал душить грека,— народ едва успел отнять его.

— Глупый был парень,— проворчал солдат.

— Ум честного человека — в сердце! Я сказал, что эта история была зимою, перед праздником рождения младенца Иисуса. Всего за несколько дней. В этот праздник у нас люди дарят друг другу от избытков своих вино, фрукты, рыбу и птиц,— все дарят и, конечно, больше всех получают наиболее бедные. Я не помню, как узнал Карлоне правду, но он ее узнал, и вот в первый день праздника отец и мать Джулии, не выходив-

шие даже и в церковь,— получили только один подарок: небольшую корзину сосновых веток, а среди них — отрубленную кисть левой руки Карлоне Гальярди,— кисть той руки, которой он ударил Джулию. Они — вместе с нею — в ужасе бросились к нему. Карлоне встретил их, стоя на коленях у двери его дома, его рука была обмотана кровавой тряпкой, и он плакал, точно ребенок.

— «Что ты сделал с собою?» — спросили его.

— Он ответил:

— «Я сделал то, что следовало: человек, оскорбивший мою любовь, не может жить,— я его убил... Рука, ударившая безвинно мою возлюбленную,— оскорбила меня, я ее отсек... Я хочу теперь, чтоб ты, Джулия, простила меня, ты и все твои...»

— Они-то, конечно, простили его, но есть закон и для защиты негодяев — два года сидел Гальярди в тюрьме за грека, и очень дорого стоило братьям вытащить из нее Карлоне...

Потом он женился на Джулии и хорошо жил с нею до старости, создав на острове новую фамилию — Безруких — Сенцамане...

Старик замолчал, усиленно раскуривая трубку.

— Не нравится мне эта история,— тихо сказал солдат.— Этот твой Карлоне — дикарь... И глупо все...

— Твоя жизнь через сто лет тоже покажется глупостью,— внушительно проговорил старик и, выпустив большой клуб белого во тьме дыма, прибавил:

— Если только кто-нибудь вспомнит, что ты жил на земле...

Снова в тишине раздался плеск воды, теперь сильный и торопливый; старик сбросил плащ, быстро встал на ноги и скрылся, точно упал в черную воду, оживленную у берега светлыми точками ряби, синеватой, как серебро рыбьей чешуи.

XXIV

С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах, город встречает ее золотыми огнями; две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь; вслед им мягко стелется шум жизни, утомленной трудами дня.

Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древ-

ней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима; в теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины:

— Не будь суров с людьми...

— Разве ты, мама, замечала за мной это? — вдумчиво спрашивает юноша.

— Ты слишком горячо споришь...

— Горячо люблю мою правду...

С левой руки юноши идет девушка, щелкая по камню деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо,— там горит большая вечерняя звезда, а ниже ее — красноватая полоса зари и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы.

— Социалистов часто сажают в тюрьму,— вздохнув, говорит мать.

Сын спокойно отвечает:

— Перестанут. Это ведь бесполезно...

— Да, но пока...

— Нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира...

— Это — слова для песни, сынок...

— Миллионы голосов поют эту песню, и все более внимательно слушает ее вся жизнь... Вспомни-ка: разве ты прежде так терпеливо и ласково слушала меня или Паоло, как слушаешь теперь?

— Да! Да... но вот стачка принудила тебя уйти из родного города...

— Он мал для двоих, пусть остается Паоло! А стачку мы выиграли...

— Выиграли,— звучно откликнулась девушка.— Ты и Паоло...

Не кончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли, темный холм,— развалины какого-то здания,— над ним задумчиво опустил тонкие ветви ароматный эвкалипт, и, когда они трое поравнялись с деревом, ветви его как будто тихо вздрогнули.

— Вот — Паоло,— говорит девушка.

Черная, высокая фигура отделилась от развалин и стоит среди дороги.

— Сердцем увидала? — спросил юноша, смеясь.

Впереди звучит эхом:

— Идешь?

— Да. Вот тебе — мои. Не провожайте меня даль-

ше, не нужно! У меня всего пять часов пути до Рима, и я ведь намеренно пошел пешком, чтоб собраться в дороге с мыслями...

Остановились... Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом:

— Ты можешь быть спокоен за мать и сестру,— все будет хорошо!

— Я знаю. До свидания, мама!

Она всхлипывает, стонет тихонько; потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос:

— Иди домой и спокойно отдыхай, поволновалась ты за эти буйные дни! Иди, все будет хорошо! Паоло такой же сын тебе, как я! Ну, сестренка...

Снова поцелуи и сухой шорох ног по камням,— чуткая ночная тишина отражает все звуки, как зеркало.

Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго не могут разъединиться. Потом молча разорвались: трое тихонько поплыли к огням города, один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла и в синем небе разгорелось много ярких звезд.

— Прощай!— тихо и печально раздается в ночи.

Издали откликнулся бодрый голос:

— Прощай! Не грусти, скоро увидимся...

Сухо стучат деревянные башмаки девушки, сиповатый голос говорит утешающие слова:

— Он не пропадет, донна Филомена, можете верить в это, как в милость вашей мадонны. У него — хороший ум, крепкое сердце, он сам умеет любить и легко заставляет других любить его... А любовь к людям — это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего...

Город все обильней сеет во тьму свои скромные, бледные огни; слова высокого человека тоже сверкают, как искры.

— Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его,— везде!

У городской стены прижался к ней, присел на землю низенький, белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным оком освещенной двери. Около нее, за тремя столиками шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины.

Когда трое поравнялись с дверью, музыка замолкла, голоса стали тише, несколько фигур поднялось...

— Добрый вечер, товарищи!— сказал высокий.

И десяток голосов ответил радостно, дружески:

— Добрый вечер, Паоло, товарищ! К нам? Стакан вина?

— Нет... Благодарю!

Мать, вздохнув, сказала:

— И тебя очень любят все наши...

— Наши, донна Филомена?

— Э, не смейся... Не чужая своему народу говорит с тобой... Все любят вас: тебя и его...

Высокий взял девушку под руку, говоря:

— Все и — еще одна... Так?

— Да,— тихо сказала девушка.— Конечно...

Тогда мать рассмеялась негромко:

— Ах, дети!.. Слушаешь вас, смотришь и — веришь: да, вы станете жить лучше, чем жили мы...

И все трое рядом скрылись в улице города, узкой и растрепанной, как рукав старой, изношенной одежды...

XXV

С утра шумно и обильно лился дождь, но к полудню тучи иссякли, их темная ткань истончилась, и, разорванную на множество дымных кусков, ветер угнал ее в море, а там она вновь плотно свилась в синевато-сизую массу, положив густую тень на море, успокоенное дождем.

На востоке небо темно, в темноте рыщут молнии, а над островом ослепительно пылает великолепное солнце.

Если смотреть на остров издали, с моря, он должен казаться подобным богатому храму в праздничный день: весь чисто вымыт, щедро убран яркими цветами, всюду сверкают крупные капли дождя — топазами на желтоватом молодом листе винограда, аметистами на гроздьях глициний, рубинами на кумаче герани, и точно изумруды всюду на траве, в густой зелени кустарника, на листве деревьев.

Тихо, как всегда бывает тотчас после дождя; чуть слышен тонкий звон ручья, невидимого среди камней, под корнями молочая, ежевики и пахучего, запутанного ломоноса. Внизу мягко звучит море.

Золотые стрелы дрока поднялись в небо и качаются тихонько, отягченные влагой, бесшумно стряхивая ее с причудливых своих цветов.

На сочном фоне зелени горит яркий спор светло-лиловых глициний с кровавой геранью и розами, рыжевато-желтая парча цветов молочая смешана с темным бархатом ирисов и левкоев — все так ярко и светло, что кажется, будто цветы поют, как скрипки, флейты и страстные виолончели.

Влажный воздух душист и хмелен, как старое, крепкое вино.

Под серой скалою, расколотой, изорванной взрывами, покрытой в трещинах жирными окисями железа, среди желтых и серых камней, от которых льется кисловатый запах динамита, сидят, обедая, четверо каменоломов,— крепкие мужики в мокрых лохмотьях, в кожаных лаптях.

Не спеша, они вкусно едят из большой плошки крепкое мясо спрута, зажаренного с картофелем и помидорами в оливковом масле, и пьют поочередно красное вино из горлышка бутылки.

Двое из них — бритые и похожие друг на друга, как братья,— кажется даже, что они близнецы; один — маленький, кривой и колченогий, напоминает суетливыми движениями сухого тела старую ощипанную птицу; четвертый — широкоплечий, бородатый и горбоносый человек средних лет, сильно седой.

Отламывая большие куски хлеба, он расправляет ими усы, мокрые от вина, и, вложив кусок в темный рот, говорит, мерно двигая волосатыми челюстями:

— Это — сказки, это — ложь! Ничего страшного я не сделал...

Его карие глаза смотрят из-под густых бровей невесело, насмешливо; голос у него тяжелый, сиплый, речь медленна и неохотна. Шляпа, волосатое разбойничье лицо, большие руки и весь костюм синего сукна обрызганы белой каменной мукою,— очевидно, это он сверлит в скале скважины для зарядов.

Трое товарищей слушают его внимательно, не перебивая, но поочередно заглядывают в глаза ему, как бы говоря:

«Продолжай...»

Он рассказывает, двигая седыми бровями:

— Этот человек — его звали Андреа Грассо — пришел к нам в деревню ночью, как вор; он был одет ни-

щим, шляпа одного цвета с сапогами и такая же рваная. Он был жаден, бесстыден и жесток. Через семь лет старики наши первые снимали перед ним шляпы, а он им едва кивал головою. И все, на сорок миль вокруг, были в долгах у него.

— Такие люди есть,— сказал колченогий, вздохнув и качая головой.

Рассказчик взглянул на него, насмешливо спросив:

— Встречал?

Старик молча махнул рукою, бритые усмехнулись оба, как один, горбоносый выпил вина и продолжал, следя за полетом сокола в синем небе:

— Мне было тринадцать лет, когда он нанял меня, вместе с другими, носить камень на постройку его дома. Он обращался с нами более безжалостно, чем с животными, и когда мой товарищ, Лукино, сказал ему это, он ответил ему: «Осел — мой, ты — чужой мне, почему я должен жалеть тебя?» Эти слова ударили меня в сердце, я стал смотреть на него более внимательно. Он со всеми обращался нагло и цинично — старик, женщина, ему все равно, вижу я. А когда почтенные люди говорили ему, что это плохо, он возражал, смеясь в глаза им: «Когда я был беден, меня тоже не жалели». Он водил дружбу с попами, с карабинерами, полицией; остальные люди видели его только в дни горькой своей нужды, когда он мог делать с ними все, что хотел.

— Такие люди есть,— повторил колченогий тихонько, и все трое сочувственно взглянули на него: один бритый молча протянул ему бутылку вина, старик взял ее, посмотрел на свет и сказал, перед тем как выпить:

— Пью за святое сердце мадонны!

— Он часто говаривал: «Всегда бедняки работали на богатых и глупые на умных, так и должно быть всегда».

Рассказчик усмехнулся, протянул руку к бутылке,— она была пуста. Он небрежно отбросил ее на камни, где валялись молотки, кирки и темной змеей вытянулся кусок бикфордова шнура.

— Мне, молодому тогда, и товарищам моим было особенно обидно слышать эти слова: они убивали наши надежды, наше желание лучшей жизни. Вот однажды я и Лукино, друг мой, встретив его вечером в поле, когда он не спеша ехал куда-то верхом, сказали ему вежливо, но внушительно: «Мы просим вас быть добрее к людям»

Бритые расхохотались, тихонько усмехнулся и кривой, а рассказчик шумно вздохнул.

— Да, конечно, глупо! Но молодость честна. Молодость верит в силу слова. Я скажу: молодость — это совесть всей жизни...

— Что ж он? — спросил старик.

— Он закричал нам довольно храбро: «Пустите лошадь, разбойники!» И, вынув пистолет, показывал то одному, то другому. Мы сказали: «Вам, Грассо, нечего бояться нас, не на что сердиться, мы советуем вам, и только!»

— Это хорошо! — сказал один бритый, другой согласно наклонил голову; колченогий, плотно поджав губы, стал рассматривать камень, щупая его кривыми пальцами.

Они кончили есть. Один сбивал тонким прутом стеклянные капли воды со стеблей трав, другой, следя за ним, чистил зубы сухой былинкой. Становится все более сухо и жарко. Быстро тают короткие тени полудня. Тихо плещет море, медленно течет серьезный рассказ:

— Эта встреча плохо отозвалась на судьбе Лукино, — его отец и дядя были должниками Грассо. Бедняга Лукино похудел, сжал зубы, и глаза у него не те, что нравились девушкам. «Эх, — сказал он мне однажды, — плохо сделали мы с тобой. Слова ничего не стоят, когда говоришь их волку!» Я подумал: «Лукино может убить». Было жалко парня и его добрую семью. А я — одинокий, бедный человек. Тогда только что померла моя мать.

Горбоносый камнелом расправил усы и бороду белыми, в известке, руками, — на указательном пальце его левой руки светлый серебряный перстень, очень тяжелый, должно быть.

— Мой поступок мог быть полезен людям, если б я сумел довести дело до конца, но у меня мягкое сердце. Однажды я, встретив Грассо на улице, пошел рядом с ним, говоря, как мог, кротко: «Вы человек жадный и злой, людям трудно жить с вами, вы можете толкнуть кого-нибудь под руку, и эта рука схватит нож. Я говорю вам: уходите от нас прочь, уезжайте». — «Ты глуп, малый!» — сказал он, но я стоял на своем. Он спросил, смеясь: «Сколько тебе дать, чтоб ты оставил меня в покое, — лиру, довольно?» Это было обидно, но я сдержался. «Уходите, говорю вам!» Я шел плечо в плечо с

ним, с правой стороны. Он, незаметно, достал нож и ткнул меня им. Левой рукою немного сделаешь, он и проткнул мне грудь на дюйм. Конечно, я бросил его на землю и ударил ногой, как бьют свиней. «Итак, ты уйдешь!» — сказал я ему, когда он ползал по земле.

Оба бритые взглянули на рассказчика недоверчиво и опустили глаза. Колченогий, согнувшись, перевязывал кожаные ремни обуви.

— Утром, когда я еще спал, пришли карабинеры и отвели меня к маршалу, куму Грассо. «Ты честный человек, Чиро,— сказал он,— ты ведь не станешь отрицать, что в эту ночь хотел убить Грассо». Я говорил, что это еще неправда, но у них свой взгляд на такие дела. Два месяца я сидел в тюрьме до суда, а потом меня приговорили на год и восемь. «Хорошо,— сказал я судьям,— но я не считаю дело конченным!»

Он достал из камней непочатую бутылку и, сунув горло ее в усы себе, долго тянул вино; его волосатый кадык жадно двигался, борода ощетинилась. Три пары глаз молча и строго следили за ним.

— Скучно говорить об этом,— сказал он, передавая бутылку товарищам и разглаживая обрызганную бороду.

— Когда я вернулся в деревню, было ясно, что мне нет места в ней: все меня боялись. Лукино рассказал, что жить стало еще хуже за этот год. Он был скучен, как головня, бедняга. «Так»,— подумал я и пошел к этому Грассо; он очень испугался, увидав меня. «Ну, я вернулся,— сказал я,— теперь уходи ты!» Он схватил ружье, выстрелил, но оно было заряжено на птицу дробью, а стрелял он мне в ноги. Я даже не упал. «Если б ты меня и убил, я пришел бы к тебе из могилы, я дал клятву мадонне, что выживу тебя отсюда. Ты упрям, я — тоже». Мы схватились, и тут я, нечаянно, сломал ему руку. Я этого не хотел, он первый бросился на меня. Прибежал народ, меня взяли. На этот раз я сидел в тюрьме три года девять месяцев, а когда кончился срок, мой смотритель, человек, который знал всю эту историю и любил меня, очень уговаривал не возвращаться домой, а идти в работники, к его зятю, в Апулию,— там у зятя много земли и виноградник. Но, конечно, я уже не мог отказаться от начатого. Я шел домой с твердым намерением не болтать больше лишних слов, я уже понял тогда, что из десяти — лишних девять. У меня в сердце было одно: «Уходи!» Я пришел в деревню как раз в

воскресенье, прямо к мессе, в церковь. Грассо был там, он сразу увидал меня, вскочил на ноги и стал кричать на всю церковь: «Этот человек явился убить меня, граждане, его прислал дьявол по душу мою!» Меня окружили раньше, чем я дотронулся до него, раньше, чем успел сказать ему, что надо. Но — все равно, он свалился на плиты пола,— его разбил паралич так, что отнялась вся правая сторона и язык. Умер он через семь недель после этого... Вот и все. А люди создали про меня какую-то сказку... Очень страшно, но — все неправда.

Он усмехнулся, взглянул на солнце и сказал:

— Пора начинать...

Трое людей, молча и не спеша, поднялись на ноги, горбоносый уставился глазами в рыжие, жирные щели скалы и повторил:

— Будем работать...

Солнце в зените, и все тени сожжены им.

Облака на горизонте опустились в море, вода его стала еще спокойнее и синей.

XXVI

Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная от солнца и грязи.

Он похож на сухую былинку,— дует ветер с моря и носит ее, играя ею,— Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко:

Италия прекрасная,
Италия моя...

Его все занимает: цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с расковырянным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка.

— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутого важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят.— Вот лицо, не меньше моего живота!

Пепе не любит немцев, он живет идеями и настроениями улицы, площади и темных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.

— Нам,— говорят они,— нам, бедным южанам, ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки.

Все чаще говорят это простые люди юга, а Пепе все слышит и все помнит.

Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает англичанин. Пепе впереди него и напевает что-то из заупокойной мессы или печальную песенку:

Мой друг недавно умер,
Грустит моя жена...
А я не понимаю,
Отчего она так грустна?

Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестьер посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.

Множество интересных историй можно рассказать о Пепе.

Однажды какая-то синьора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада.

— Заработаешь сольдо! — сказала она.— Это ведь не вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел, а воротился за сольдо лишь вечером.

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.

— Но все-таки я устал, дорогая синьора! — вздохнув, ответил Пепе.— Ведь их было более десятка!

— В полной до верха корзине? Десяток яблок?

— Мальчишек, синьора.

— Но — яблоки?

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечи, встряхнула.

— Отвечай, ты отнес яблоки?

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вел себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки,— пусть, думаю, они сравнивают меня с ослом, я все стерплю из уважения к синьоре,— к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью,— ага, подумал я, ну, это вам не пройдет даром. Тут я поставил корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как ловко и метко попадал я в этих разбойников,— вы бы очень смеялись!

— Они растащили мои плоды?!— закричала женщина.

Пепе, грустно вздохнув, сказал:

— О нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пепе все проклятия, известные ей,— он слушал ее внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда, с тихим одобрением, восклицая:

— О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей:

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников,— ах, если б вы видели это!— вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя,— она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу богатого американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливаться здоровым соком, как груша в августе.

Брат спросил ее однажды:

— Ты ешь каждый день?

— Два и три раза, если хочу,— с гордостью ответила она.

— Пожалела бы зубы!— посоветовал ей Пепе и задумался, а потом спросил снова:

— Очень богат твой хозяин?

— Он? Я думаю — богаче короля!

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина?

— Это трудно сказать.

— Десять?

— Может быть, больше...

— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые,— сказал Пепе.

— Зачем?

— Ты видишь — какие у меня?

Видеть это было трудно,— от штанов Пепе на ногах его оставалось совсем немного.

— Да,— согласилась сестра,— тебе необходимо одеться! Но он ведь может подумать, что мы украли?

Пепе внушительно сказал ей:

— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка!

— Ведь это песня!— не соглашалась сестра, но Пепе быстро уговорил ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светло-серого цвета и они оказались несколько длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно сделать.

— Дай-ка нож!— сказал он.

Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика: вышел несколько широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах веревочкой, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы.

Они устроили бы еще лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова на всех языках одинаково плохо, как это принято американцами.

Пепе ничем не мог остановить ее красноречие, он морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до поры, пока не явился ее муж.

— В чем дело?— спросил он.

И тогда Пепе сказал:

— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки и вы не можете купить других...

Американец, спокойно выслушав его, заметил:

— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.

— Да-а?— очень удивился Пепе.— Зачем?

— Чтобы тебя отвели в тюрьму...

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством:

— Если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары даже; хотя три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий день...

Американец расхохотался; ведь иногда и богатому бывает весело.

Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк. Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:

— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая!

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто читая по ним темную историю жизни камня. В эти минуты живые его глаза расширены, подернуты красивой пленкой, тонкие руки за спиною и голова, немножко склоненная, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько,— он всегда поет.

Хорош он также, когда смотрит на цветы,— лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шелковых лепестков под дыханием морского ветра.

Смотрит и поет:

— Фиорино-о... фиорино-о...

Издали, как удары огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами,— Пепе поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле.

— Чо!— кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу.

А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в прозрачную воду; там, среди рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки, боком ползет краб. И в тишине, над

голубою водой, тихонько течет звонкий, задумчивый голос мальчика:

— О море... море...

Взрослые люди говорят о мальчике:

— Этот будет анархистом!

А кто подобрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу,— те говорят иначе:

— Пепе будет нашим поэтом...

Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалино говорит свое:

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему.

ПРИМЕЧАНИЯ

Дело Артамоновых

О замысле будущего романа «Дело Артамоновых» М. Горький рассказывал еще в начале 900-х годов Л. Н. Толстому. Позднее он делился зтим замыслом со многими (см. воспоминания И. П. Ладыжникова, А. Н. Тихонова, Дм. Семсновского и др.). Особенное аначение имела его беседа на зту тему с В. И. Лениным, о чем М. Горький писал в 1930 году Н. К. Крупской: «Беседуя со мной на Капри о литературе тех лет, замечательно метко характеризуя писателей моего поколения, беспощадно и легко обвяжая их сущность, он указал и мне на некоторые существенные недостатки моих рассказов, а затем упрекнул: «Напрасно дробите опыт ваш на мелкие рассказы, вам пора уложить его в одну книгу, в какой-нибудь большой роман». Я сказал, что есть у меня мечта написать историю одной семьи на протяжении ста лет, с 1813 г., с момснта, когда отстраивалась Москва, и до наших дней. Родоначальник семьи — крестьянин, бурмистр, отпущенный на волю помещиком за его партизанские подвиги в 12-м году, из зтой семьи выходят: чиновники, попы, фабриканты, петрашевцы, нечаевцы, семи- и восьмидесятники. Он очень анимательно слушал, выспрашивал, потом сказал: «Отличнвя тема, конечно — трудная, потребует массу времени, я думаю, что Вы с нсй сладили, но — нс вижу: чем Вы ее кончите? Конца-то действительность не двет. Нет, это надо писать после революции, а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы. «Конца книги я, разумеется, и сам не видел».

Это письмо свидетельстаует о том, что со времени, когда М. Горький рассказывал Л. Н. Толстому об истории трех поколений купеческой семьи, до 1908 или 1910 года, когда состоялась его беседа с В. И. Лениным яа Капри,— звмысел романв сильно расширился. Однако, приступив к непосредственной работе над романом, М. Горький отказался от такого расширения: события начинаются яе с 1813 года, а с шестидесятых годов и захаатывают более узкий круг лиц.

В журнале «Летопись», который редактировался М. Горьким, в

последнях двух номерах за 1916 год и четырех первых номерах 1917 года было помещено объявление: «В течение 1917 года в «Летописи» будет напечатана повесть М. Горького «Артамаиовы». По-видимому, к этому времеии относятся дошедшие до нас страницы первой редакции романа (в ней Артамоновы еще назывались Артамановыми, Вялов — Перегудовым, город Дремов — городом Мямлииым). Неизвестно, насколько далеко продвинулась работа М. Горького над первой редакцией, ио она была прервана до второй половииы 1924 года и начала 1925 года, когда писатель за сравнительно короткий срок создал одну за другой еще три рукописные редакции «Дела Артамоновых». (Творческая история ромвиа описана в статье: Ф. Иоффе, Чериовые редакции романа «Дело Артамоновых».— Горьковские чтения. 1964—1965. М. 1966. Здесь же впервые напечатаи конец романа во второй редакции).

15 марта 1925 год М. Горький сообщал в письме к Стефану Цвейгу: «Я написал книгу — большую повесть — и хотел бы посвятить ее Роллану. Но я не знаю, доставит ли это ему удовольствие. Что Вы об этом думаете?» Цвейг ответил: «Посвящая Ромену Роллану Вашу кяигу, Вы доставите ему огромную радость» (Архив А. М. Горького, т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами, М. 1960, с. 19).

Ромаи впервые вышел отдельиой книгой в 1925 году в издательстве «Книга». Уже в следующие несколько лет он был издан в Италии, Веигрии, Англии, США, Германии, Франции, Японии и других странах.

На дне

В самом начале нашего века писатель, которому было суждеио стать основоположником нового иаправления мировой литературы — социалистического реализма, создал пьесу, замечательную не только по экзотически яркому житейскому колориту, виртуозной отточенности и «крылатости» языка, ио и по сложности, даже известной загадочности идейного содержания.

В пьесе «На дне» авторская мысль как бы спряталась в глубины подтекста, да и вряд ли она геометрическн ясно откристаллизовалась в сознании тогда еще очень молодого Горького, что-то, наверное, было просто угадано, продиктовано стихийным вдохновением, мощным стихийным потоком жизненных впечатлений. Сложность состоит и в том, что перед нами разыгрывается сразу несколько драм, и в том, что среди участников этих драм нет, кажется, ни одного человека, которому можно было бы дать однолинейную, однозначную характеристику.

Пьеса была создана накануне первой русской революции.

Идейно-художественный эффект пьесы заключался прежде всего в

саоеобразной, отяюдь не прямолииейиой и потому особеяно действенной критике изжившего себя социальиого устройствв. Но к этому осиовному пафосу присоединялсн и пафос революциониой народной самокритики, который иельзя игнорировать при оценке пьесы, дв и всего творчества Горького.

Писатель обнвжил противоестествеиность и бесчеловечность социальяых отношеиий, делающих иеизбежным аоаникновеиие «дна». В то же аремя он выяаил в концеитрированной, заостреиной почти до гротеска форме и те слабости и иллюзии, пассивиость и безволие, а также рвииодушие, холодиый скептицизм иеаежестаа, которые еще были саойстаенны какой-то части народа и мешали ему выйти иа простор самостоятельного исторического деяния. Но едаа ли не самое замечательное в пьесе Горького — ато луч надежды и бодрости, спервв приглушеиный, почти иезаметный, а потом асе более упрямо и ярко пробиааающийся сквозь мрак изображениого подвального бытия...

Социальиая критика основанв здесь иа очень саоеобразном, как будто бы не типичиом жизнениом материале, но от зтого оиа не становится менее убедительиой н едкой, скорее иаоборот. Перед нами не просто трущобиая зкзотика. Дом Костылевых с его хозяеввми и его подвальными жителями — своеобразяан социвльнан структура, отрвжающан чрезвычайно аыразительио, иаглядно, без вснких прикрвс и мистических покровов, структуру всего общества, осноааиного на чвстной собственности. Это своего рода чертеж, разрез старого мира: вся «механика» буржуазного обществ выступает в обнажеином виде.

Пьеса Горького дает иам иеобычайяо яркое представление яе только о классовых аитагоиизмах и социальиых нзаах старого общества, но н о тех сложиых процессах умствеиного брожеиин, которым были охвачеиы двже свмые отсталые, выбитые из колеи, неприканнные слои народа. Он дает представленне о той искорке, в которой, еслн воспользоаатьсн словами Лескова, было много и «ограничеиной народиой наивности», и «бесконечных стремлений жнвого духв»,— об искорке, которан иикогда не умирала в иароде и все сильиее разгоралась по мере приближення пераой русской реаолюцин, разгоралась даже среди обнтателей «дна».

Сказки об Италии

«Сказки об Италии» были создаиы М. Горьким в 1910—1913 годах, а эпоху нового реаолюционного подъема. Они продолжили традиции революциоииого романтизма и, подобно «Песне о соколе» и «Песне о буревестнике», ааали иа борьбу аа жизнь, достойную человека. Недаром В. И. Леиин иазвал их революциоными прокламвциями.

Бодрый тон, героическая тема и социалистический гуманизм «Сказок» коренным образом отличали их от литературы эпохи реакции. Они практически выполняли задачу пролетарской литературы — войти в самую гущу жизни и с подлинной страстью бороться за социалистические идеалы.

В «Сказках об Италии» Горький показал, как формируется новое сознание людей, как «идеи социализма просачиваются в быт» и преобразуют его. «Побольше фактов, картин, характеров — это лучше запоминается, глубже действует»,— говорил он. Писатель знал, что эти яркие картины пробудят интерес к жизни, приведут к глубокому раздумью и революционным выводам.

Как представитель новой литературы, устремленной в будущее, Горький требовал от писателя — друга людей — умения найти новое и хорошее в жизни и показывать его, не боясь даже некоторого преувеличения.

Изображение героического подвига, революционной целеустремленности, высоких моральных качеств человека должно было оказать живую помощь трудящимся в их борьбе.

В предисловии к неосуществленному изданию «Сказок об Италии» в 1919—1920 годах Горький писал:

«Кроме огромных недостатков в людях живут маленькие достоинства, и вот именно эти достоинства, выработанные человеком в себе самом очень медленно, с великими страданиями,— эти достоинства необходимо — иногда — прикрасить, преувеличить, чтобы тем поднять их значение, расцветить красоту ростков добра, которые — будем верить!— со временем разрастутся пышно и ярко.

Мы любовно ухаживаем за цветами, мы пламенно любим множество других прекрасных бесполезностей, таких же, как цветы, а вот за душой человека, за сердцем его,— не умеем так ласково ухаживать, как следовало бы».

С благородной целью воспитать нового человека-борца, верного идеям социализма, возбудить в нем стремление к яркой, красивой, духовно богатой жизни и борьбе за нее и были созданы «Сказки об Италии».

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 962

Максим Горький

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

НА ДНЕ

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

Редактор Г. С. Коряковцева
Художннк М. Ю. Шаньков
Художественный редактор Е. В. Альбокринов
Техиический редактор З. К. Яшина
Корректоры Э. И. Щербакова, Л. И. Березина

Сдано в набор 28.12.85. Подписано в печать 12.08.86.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура обыкновенная новая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 25,96. Тираж 200 000 экз.
(1-й завод–100000). Заказ № 21. Цена 2 р. 30 к.

Куйбышевское книжное издательство,
г. Куйбышев, ул. Спортивная, 5/27.
Ордена Трудового Красного Знамени типография
издательства Куйбышевского обкома КПСС,
г. Куйбышев, пр. Карла Маркса, 201.

М. Горький.

Дело Артамоновых. На дне. Сказки об Италии: Повесть, пьеса, сказки.— Куйбышев: Кн. изд-во, 1987.— 464 с.

Печатается по изданиям:
М. Горький. Дело Артамоновых.— М., Сов. Россия, 1979.
М. Горький. На дне.— М., Детская литература, 1981.
М. Горький. Песня о Соколе. Песия о Буревестнике. Сказки об Италии.— Северо-западиое княжиое издательство, 1973.

Дорогой читатель!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:
г. Куйбышев, 30,
ул. Спортивная, 5/27.
Книжное издательство.

2 р. 30 к.

Куйбышевское
книжное
издательство
1987